

Схр (05)  
618  
301658



БАЙКАЛ 1967 5



INFORM

# БАЙКАЛ

Литературно-художественный  
и общественно-политический журнал  
Орган Союза писателей Бурятской АССР

Выходит один раз в 2 месяца  
Год издания тринадцатый

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПОЭЗИЯ

С. АНГАБАЕВ. Из цикла «Родина». А. БАДА  
ЕВ. К солнцу. А. СМЕРДОВ. Быль о золотой  
рыбке. К. ИЛЫН. Два месяца со Светловым.  
Черное море. Сабля. 3

### 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ

В. КОПОВАЛОВ. Шушенские поединки. 10  
П. АСТРАХАНЦЕВ. Перед грозой. 20  
О. ПАТУШНСКИЙ. Каландарнивили перед  
иарским судом. 28  
З. ТАГАРОВ. Новые страницы из биографии  
Ранжурова. 33  
С. БУХАТЕЕВ. Их было семеро. 35

### НОВЫЕ ИМЕНА

Н. ЗАКУСНИА. Нарисованное. Музыка за сте-  
ной. Мне подарили слово «Облоконь». Стихи. 37  
Ю. ШЕСТАЛОВ. Идол. 40

### В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

В. ЗАЙЦЕВ. Боги приходят из космоса. 46

### ПРОЗА

Ж. БАЛДАНЖАБОН. Последняя табиса. По-  
весть, окончание. 55  
Н. КОРОЛЕВ. Секунданты, за ринг! Повесть,  
окончание. 107

### ЗАРУБЕЖНАЯ НОВЕЛЛА

Б. РИЧЧЕЛ. Богиня Тара. 134  
С. МОЭМ. Зимнее плавание. 139

### НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Р. ШЕРХУНАЕВ. Рабочий-гэсэргчин. 149

Выездное заседание секретариата Союза  
писателей РСФСР в Улан-Удэ 153

БУРЯТСКОЕ ГАЗЕТНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

1967

# Дорогие друзья!

В этом году в истории нашего журнала произошло знаменательное событие: журнал «Байкал» удостоился высокой чести быть представленным на Всемирной выставке в Монреале. В СССР издается более 180 журналов. 16 из них получили право предложить свои номера в качестве сувениров посетителям ЭКСПО-67. В это число попал и наш «Байкал».

Ныне впервые «Байкал» стал выходить в обложке на мелованой бумаге. Это позволило значительно улучшить внешний вид журнала, систематически печатать цветные репродукции работ лучших художников Бурятии, а также работы известных фотолюбителей Сибири.

В 1968 году мы публикуем стихи бурятских поэтов Солбона Ангабаева, Цырен-Базара Бадмаева, Николая Дамдинова, Дамбы Жалсараева, Дондока Улзугуева и других; рассказы, повести и романы Константина Селых, Даширабдана Батожабая, Исаю Калашникова, Геннадия Машкина, Григория Мельчакова, Владимира Митыпова, Валентина Распутина и других.

В первых номерах 1968 году будет опубликована приключенческая повесть польской писательницы Хелены Секулы «Девочка ниоткуда», романы Пьера Буля «Мост через реку Квай», по которому снят известный одноименный фильм, Эрнха Ремарка «Искра жизни».

Любители поэзии прочтут новые стихи лауреата премии Ленинского комсомола Ларисы Васильевой, Риммы Казаковой, Романа Солнцева. Евгений Евтушенко представит нам страницы из своего поэтического дневника, который он вел во время путешествия по Лене на карбасе «Микешкин».

1968 год — это год 50-летия Советской Армии. «Байкал» ознакомит читателя со статьей Маршала Советского Союза К. РОКОССОВСКОГО, с новыми материалами о Герое Советского Союза В. Б. Борсоеве, с воспоминаниями воинов Бурятской кавалерийской бригады — участников известных боев на КВЖД.

В разделе «В мире интересного» будет опубликована статья известного советского историка-писателя Александра Горбовского «Мир в 2000 году».

Журнал «Байкал» готовит для любителей фантастики большой сюрприз. Редколлегия объявляет конкурс на лучший фантастический рассказ. Быть почетным членом жюри дал согласие Герой Советского Союза, летчик-космонавт АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. Главным призом победителю конкурса, кроме денежной премии, будет серия репродукций с картин А. Леонова с автографом прославленного героя. Лучшие рассказы, присланные на конкурс, будут публиковаться в «Байкале» в течение 1968 года.

Фантастика будет также представлена повестями братьев СТРУГАЦКИХ (СССР), АЛЕКСАНДРА ЛОММА (Чехословакия), РЭЯ БРЕДБЕРИ (США).

Подписка на журнал «Байкал» принимается повсеместно отделениями «Союзпечати». Журнал выходит раз в два месяца на бурятском и русском языках. Подписная цена 3 руб. 60 к.— на 1 год, 1 руб. 80 коп.— на полгода. Надеемся, что вы заблаговременно оформите подписку, которая проводится до 25 ноября.

Главный редактор А. А. Бальбуров.

Редколлегия: В. В. Бараев (заместитель главного редактора), Ц. Дугарнимаев, Ц. Жамбалов, В. Р. Каржаубаева (ответственный секретарь), И. К. Калашников, Б. М. Мунгонов (зав. отделом прозы), В. К. Петонов (зав. отделом критики и поэзии), К. Ф. Селых, М. Н. Степанов, Ц. Б. Цыдендамбаев, Г. Г. Чимитов (ответственный секретарь).

Солбон АНГАБАЕВ

## Из цикла „Родина“

Я сегодня, как Есенин,  
как береза, весь свечусь.  
На земле своей весенней  
говорю с тобою, Русь.

Эти пашни. Эти реки.  
Эта даль. И эта близь.  
И судьба моя навеки  
крепко-накрепко сплелась.

Ветром губ моих касаясь,  
говорит земля в ответ:  
где-то ходит смерть косая,  
ты храни меня, поэт.

Я сегодня, как Есенин.  
И признаться не боюсь,  
что похож на цвет весенний  
я в глаза целую Русь!

*Перевод с бурятского В. Кузнецова.*

Я учился петь, как птицы,  
о тебе, Россия.  
Мне мелодию синицы  
в клювах приносили.

Мне твой воздух в Забайкалье  
приносили зори.  
Табуны коней скакали  
по ковыльным взгорьям.

Слышал в цокоте табунов  
и твои напевы.  
Игибали брови куньи  
на печёрках девы.

Песни, что в твоих просторах  
родились когда-то,  
озаряясь, пели хором  
парни и девчата.

Я учился петь, Россия,  
о тебе, державной.  
Если б смерть меня скосила  
вдруг косою ржавой,

ты б склонилась надо мною,  
очи б оросила.  
Я твоей звенел струною  
не жалея силы.

*Перевод с бурятского С. Поликарпова.*

## Слова

Слова — цветы в руках девчат:  
брызгают в небо голубое!  
Они в устье дыма горчат,  
они в глоток весной кричат,  
слова, обречённые мною.

Слова — цветы, они везде  
растут размышистой весною.  
Они солодушки в гнезде,  
они, как зерна в борозде,  
слова, обречённые мною.

Слова—цветы, лови, лови.  
Они, как птицы, над землею.  
Они — глаза моей любви,  
они — печальницы твои,  
слова, оброненные мною

Слова—цветы бегут к лугам  
Стоят над светлою рекою.  
Они—ковёр моим лесам,  
они восходят к небесам,  
слова, оброненные мною.

*Перевод с бурятского В. Кузнецова.*

Алексей БАДАЕВ

## К солнцу

Опять восходит солнце над землею,  
румяное,  
огромное, как мир,  
оно как будто говорит со мною,  
трепет высокий оседлав на миг.

Я по природе тяготею к свету,  
когда мечте большой простор открыт,  
и мысль моя стремительной ракетой  
навстречу солнцу радостно летит.

Оно всегда зовет в свои объятья  
и делится со мной теплом своим.  
Оно мне круглой кажется печатью,  
галактика—конвертом голубым.

Что в том конверте?

Тайна мирозданья?  
Бессмертное начало всех начал?

И ту печаль, быть может,  
нам, земляне,  
великий век сломать предначертал?

Влечет к себе веселое Светило,  
и улыбаюсь дружески ему:  
оно меня в дорогу выводило,  
без усталости сияло и светило,  
неумолимо разгоняя тьму.

Вот почему в потоке животворном,  
в прозрачной, бесконечной вышине  
я, облученный,  
мчусь к нему упорно,  
чтобы сгореть в немеркнущем огне.

Прибор сверхмощный  
вспышки этой пламени  
отметит в тонких записях едва ль...  
Но люди сразу ощутят сердцами,  
что чуть светлее распахнулась даль.

И чуть теплее во Вселенной станет,  
и чья-то жизнь начнется на земле...  
А может,

просто я открою тайну,  
еще сегодня скрытую во мгле!

*Перевод с бурятского И. Дружинина.*



Предо мною на солнце долина  
развернула свой пестрый узор,  
словно копия старой картины  
в раме чутко-внимательных гор.  
Отчего эти горы крутые  
так внимательно, чутко молчат,  
словно мудрые старцы седые,  
что на корточках молча сидят  
вкруг сказителя улигершина?  
И отары овец да ягнят,  
как застывшего снега лавина  
неподвижно на склонах стоят?  
В безмятежно сияющем небе  
повисая, то там, то тут,  
отчего — колокольчики степи —  
эти жаворонки не поют?

Все в долине моей, как прежде:  
прежних жаворонков полет,  
горы те же,  
отары те же,  
да чабан, поглядишь, не тот.  
Увлеченно, привстав с мотоцикла,  
он читает стихи нараспев:  
красота его слова проникла  
в землю,  
в небо,  
во все и во всех.  
Птица в небе — и та понимает  
мысль и душу земного певца.  
Вся долина поэту внимает,  
и глаза закрывает овца.

*Перевод с бурятского Н. Матвеевой.*

Александр СМЕРДОВ

## Быль о золотой рыбке

Вуалехвостая, глазастая,  
пурпурно-золотая,  
в края сибирские,  
под кров семейный свой,—  
тебя,  
десяток лет тому,  
привез я из Китая.  
как дружбы дар,  
как сувенир живой.  
На подоконнике,  
в игрушечном бассейне  
совсем обвыкла  
ужилась вполне  
и с вьюгою  
черемухи весенней,  
и с росписью  
пороза на окне.  
Накал настольной  
Стосвечовой лампы  
бессоницу рабочую  
в углу моем,  
буранной полночью  
велили по полам мы,  
встречали  
утро летнее вдвоем.  
Возмолвной ты  
шпарницей была мне  
в исканьях,  
в откровениях моих,  
и исполняла  
главное мое желанье—  
в большие странствия  
шлегла мечту и стих.  
Лыжало, переглянемся —  
и ветерок воспоминаний,  
распахивая  
стены комнаты моей,  
переносил меня  
под пальмы голубой Юньнани.  
шнырял волной  
тропических морей.  
И доносилась песня,  
то гремя, то затихая,  
из чужеземном,  
но понятном языке,  
из кантонских улиц,  
из портов Шанхая.

с крылатых джонок на Янцзы-реке,  
с хайнаньских каучуковых плантаций  
и сычуаньских рисовых террас,—  
Летела песня,  
ею изъясняться и брататься  
мне доводилось много-много раз...  
«Москва—Пекин»...  
Была она готова  
как под Мукденом, в смертные бои.  
на вахты жаркие в цехах Уханя, Баотоу  
вставали с нею мы, товарищи мои!  
Мои дружки — трепанголовы, чаеводы.  
поэты сплошь, резьбы чудесной мастера,—  
как породнила нас та песнь — душа народов.  
исполненная света, мира и добра!..  
Я с нею землю братскую покинул,  
чтоб возвратиться в край родимый свой...  
И вот...  
ночной эфир доносит из Пекина  
уже не песню — злобный визг и вой.  
День ото дня мутнее волны налетают.  
уже вражды, наветов черных не тая..  
Уже давно тревожны  
наши ночи, золотая  
молчунья-китайночка моя..  
Заложница,  
ни в чем не виноватая, немая —  
привязанности,  
рвущейся за нитью нить,—  
о чем теперь,  
еще себе не веря,

многого не зная,  
 с тобой мы будем  
 вспоминать и говорить?  
 Там, где восходы  
 нам рождали день грядущий,  
 Китайскою стеной  
 легла былая мгла,—  
 будь ты, как в сказках,  
 вещей, всемогущей,—  
 сама бы сквозь нее  
 проникнуть не смогла...  
 ...Как вихри желтые  
 из раскаленной Гобь,  
 как шалые разливы  
 Хуанхэ или Янцзы,  
 нахлынули и тешатся  
 в веселой, дикой злобе  
 в Пекине  
 очумевшие юнцы.  
 Нестребимо мириадной  
 стаяй воробьиной,  
 в хутунах тесных,  
 возле вечных стен,  
 разноголосо гомонят,  
 роятся хунвэйбины,  
 столицу Поднебесной  
 забирая в плен  
 Некстово воля «Ваньсуй!»  
 тому, кто ныне  
 затмил собою  
 сонмы сонных будд,  
 пред Храмом Неба,  
 на саященной Тянь-ди-мины,  
 творят  
 над тысячелетиями суд.  
 Как в пору  
 канувших в небытие династий,  
 междоусобной распри  
 и кровавых смут,  
 все неуютное  
 земному самовластью  
 на дыбу  
 хунвэйбины волокут.  
 В повязках красных,  
 в униформе синей  
 и с азиатской яростью  
 в глазах,  
 они и золоченных будд,  
 и Сунь Ят-сена, и Пу-Синя  
 готовы заодно  
 развеять прах.  
 Готовы  
 с бесшабашным гоготом и криком  
 громить века,  
 ликуя и глумясь...  
 И корчится в огне  
 пергамент манускриптов,  
 и рвется  
 иероглифов тысячелетних вязь...  
 Осколками и пеплом  
 вековых творений

резца волшебного,  
 и бронза и нефрит,—  
 народа-чудодея  
 работающий гений  
 на свалках гибнет,  
 на кострах горит..  
 И кажется,  
 что в мире вновь запахло  
 угарным сирадом  
 той чумной поры.  
 когда молодчики,  
 в коричневых рубашках,  
 перед рейхстагом  
 распаляли так костры..  
 И ордам чингисхановым  
 и гуннам  
 сравы хунвэйбинов  
 кажутся сродни  
 Что было бы с тобой,  
 питомица прудов Гугуна,  
 когда бы там  
 жила ты в эти дни?!  
 Ведь кроне  
 едва ль не императорских фамилий  
 под чешуей золотой течет,—  
 каким тебя позором  
 хунвэйбины заклемили б,  
 какой бы пред грядущим  
 предъявили счет?!  
 Но нет, не верю,  
 чтобы беззаконны  
 благословленных  
 «буддую живущим» стай.  
 повергли  
 в огненную пасть драконью  
 семьсот миллионов  
 душ твоих, Китай!  
 Чтоб снигло над тобой  
 великой правды знамя  
 и песни нашей  
 смолк могучий гуд,—  
 то знамя, песню ту  
 в пылающем Вьетнаме  
 дороже жизни  
 братья берегут!  
 И не забыты  
 братские могилы на Хингане  
 и дружбы нашей  
 вечно цвеств садам!  
 Нет, злая,  
 я тебя суду и поруганью,  
 как память сердца,  
 не отдам и не предам.  
 И писем дружбы  
 на китайских знаках и наречье,  
 и памятных даров  
 я не предаю огню,—  
 как узы братства,  
 верность человеческую  
 навеки,  
 для потомков  
 сохраню!

## ДВА МЕСЯЦА СО СВЕТЛОВЫМ

Разумеется, мир заново не открою, если скажу, что в жизни каждого человека бывают незабываемые встречи, оставляющие в душе удивительный след. Для меня эта встреча явилась первой встречей с миром прекрасного, поэзией.

...В ту пору я носил за спиной ранец из телячьей шкуры. Мы, янгутские мальчишки, идя из школы, во весь голос пели «Каховку», еще нам следует не вникая в содержание, так как мы не знали русского языка.

С тех пор много раз слышал слова нежной и грозной, задумчивой и боевой, всегда молодой и задорной «Каховки». Но одно ее исполнение связано со всей моей поэтической судьбой, оно словно вновь открыло дверь в чудесный храм Поэзии, в то же время возвращая в пору далекого детства... Звучала медь оркестра, ему, будто аккомпанируя, гремели внизу волны Черного моря, а в середине небольшого круга друзей сидел чуть смущенный автор этой песни. Сам Михаил Аркадьевич Светлов. Мы отмечали в тот вечер день рождения Михаила Аркадьевича — его 57-летие. Это было в июне 1960 г. в Алушке, в санатории «Горный орел».

Считаю, что мне в жизни очень повезло: встретился с одним из зачинателей советской поэзии Михаилом Светловым и не только встретился, но и прожил бок о бок вместе почти два месяца.

Михаил Аркадьевич был тогда уже тяжело болен, однако, мало кто знал об этом, даже мы, сидящие с ним за одним столом. Светловым светлоречие (именно так хочется выразиться), блестящий юмор помогали ему отражать атаки тяжелого недуга.

Я тогда еще раз глубоко поверил в то, что поэзия (а светловские неспроста искрились настоящей поэзией) может не только поднимать целые народы «на труд и на бой». Светлов не мог жить без стихов, а стихи для него были постоянной работой. А надо сказать, что М. Светлов буквально жил поэзией высокой и олицетворенной. Михаил Аркадьевич щедро делился своими мыслями, одаривая своих друзей неповторимым, светловским, светлым юмором. Узнав, что я поэт, попросил у меня подстрочники моих стихов. Когда он передал



написанный от руки лист с переводом моего стихотворения «Сабля». На обороте я увидел короткие записи. Часть из них хочу привести здесь: «Было утро. Стрижи летали, как пули из неумелого ружья. Овраги пытались скрыть свою беззубую улыбку. Пейзаж — не человек. Чем более он банален, тем он лучше».

Михаил Аркадьевич много читал стихов своих друзей по комсомольской юности, особенно Александра Жарова, Эдуарда Багрицкого. с юмором рассказывал, как, впервые увидев Маяковского, растерялся. Он умел так говорить, что всегда получалось вроде небольшого и в то же время очень интересного семинара по истории и теории литературы. Во время таких бесед он неизменно и как-то незаметно расспрашивал о наших собственных делах, а меня — о бурятской литературе. К моему удивлению, он стал подробно расспрашивать об аллитерации и других компонентах, инструментовке в бурятской поэзии, а потом «Саблю» он перевел, придерживаясь чисто бурятской техники стихосложения.

Когда вышел посмертный сборник стихов Михаила Аркадьевича, я получил из Москвы пакет. Прислал его близкий друг Светлова писатель Николай Иванович Громов, тоже находившийся в то время в Крыму. Он прислал очень ценный для меня подарок — фотографию, на которой рядом с поэтом увидел я и себя. И я еще раз с благодарностью вспомнил его доброту и отзывчивость, отеческое отношение к молодым авторам. История фотографии такова: я был представлен поэтом редактору «Курортной газеты», и нас взял «в плен» фотокорреспондент.

Все любители поэзии, литературы, читатели нашей страны с большой радостью встретили известие о присуждении Ленинской премии Михаилу Аркадьевичу Светлову посмертно. Что же, это явление закономерное. Выдающийся советский поэт был солдатом Революции на всех этапах большого пути ее. Он всю жизнь верно служил ей. Поэзия Светлова учит нас быть добрыми, сердечными и мужественными.

Два стихотворения К. Ильина в переводе Михаила Светлова.

## Черное море

О моря простор! Ты, как молодость наша, в серебряных волнах проносятся шлюпки, — огромная, полная нежности, чаша. я Черное море увидел в Алушке.

И марево знойное над гоблю, как одеяло, лежит голубое.

Кругом кипарисы спускаются с гор — они охраняют твой сонный простор. И теплый алупинский ветерок целует и небо, и зыбь, и цветок.

Но вдруг пробуждается море от сна, кокетливой девушкой встала волна, и вот уже громко песню поет огромный заливыстый волн хоровод.

Небо, то синее, то голубое, сверкает над белой папайей прибоя,

О нет, не повсюду на нашей планете увидишь ты дали роскошные эти! вот Черное море грохочет во мгле, и штормы бушуют еще на земле.

Вот волны в неумолкаемом вызове несутся на нас, как в атаку дивизии. «Сдавайся!» — свирепое море кричит, но с берега не отступает гранит.

Но общему верой в победу объаты, и скалы и люди стоят, как солдаты.

## Сабля

Стали дитя,  
ста наступлений сабля  
стала надгробьем синим.  
Солнца лучи,  
сотни дождей  
сравнивались над нею.  
Ржавчина помнит  
ржанье коней,  
рыжие космы пожаров,  
рожденные бурей!  
Сколько же вдов,  
сколько сирот  
скорбью она наделила!  
Может, поведать  
молодость сабли  
мощной былины рождение.  
Но наступило новое время,  
ночью крапива  
ноющий стон ее слышит...





Владимир КОНОВАЛОВ

## Шушенские поединки

### I

#### Человек из России

Бешеной белой крутовертью ворвалась в Шушенское метель. Она бушевала на улице, опрокидывала заборы и разметывала на огородах стога, неистово стучала ставнями, по-волчьи завывала в дымоходах. На улицах не слышно ничего, кроме воя метели, — ни человеческого голоса, ни собачьего лая: даже псы позабылись в свои конуры.

Трех смельчаков-охотников неожиданная метель застала в пути. Они успели уйти довольно далеко от села. Поначалу охотники не испугались стихии; казалось, что снежные вихри вот-вот затихнут, улягутся, ветер перестанет бить в лицо колючим снегом. Но небо все сильнее и сильнее заволакивала свинцовая мгла, все яростнее буйствовал на вершинах кедров бурян.

Один из охотников остановился и, закрывая варежкой глаза от жгучей пороши, внимательным взглядом окинул мрачный небосвод, едва различимый в просветах ветвей. Вершины деревьев угрожающе раскачивались, за ними — снежная склошная стена.

— Давайте вернемся в село! — предложил охотник.

— Дело говорите, Владимир Ильич, — согласился остановившийся рядом Промынский.

Но местный старожил по кличке Сучок, человек неговорящий и упрямый, не хотел возвращаться с пустыми руками. Скинув варежку, он шершавым кулаком протер заснеженные глаза, сердитым взглядом окинул спутников:

— Эх, Ульянов, Ульянов! — крикнул Сучок, — на погляд ты бравый и телом будто бы крепкий, а сдрейфил перед трудностью. Можно сказать, к самой цели пришли, а теперь от зверя уйдем? Да ни в жисть! Сразу видать не таежные вы люди... Мне доводилось по три дня в лесу сидеть. Выкопашешь нору в снегу и сидишь в ней, накрывшись, ждешь... Эх ты! Чэлэку из России так поступать негоже.

— Не чэлэк я, а человек, — поправил старика Ульянов.

— Изгнанника как ни назови, все равно сойдет, — огрызнулся Сучок.

Владимир Ильич обратил внимание на то, как дрожит от стужи Промынский в его кургузом, латанном-перелатанном пиджаке...

— А видите, хозяин, как замерз Промынский? Если в такую погоду дальше идти, он наверняка простудится. Охота для нас пусть останется развлечением, а не бедой.

Лодзинский рабочий социал-демократ Промынский отбывал силовую ссылку вместе с Ульяновым. По специальности шляпочник, он имел понятие и в скорняжном деле и все время мечтал набить побольше в Сибири зайцев, познать из выделанных шкурок деетин одёжонку, чтобы после отбытия срока не стыдно было возвращаться в Польшу. Вот и сейчас Промынский, несмотря на бьющий его мороз, отрицательно покачал головой.

— Для меня, Владимир Ильич, охота — не развлечение, вы знаете это! Я обязан набить столько зайцев, чтобы справить детям по тонкой шубке. Нельзя же везти их на родину оборванцами. А? Скажете поехал арестантом, а вернулся босяком. — Поляк потрогал единственного зайчишку, висевшего у него на поясном ремне, беглым движением окинул могучие кедры и пихты, жалобно скрипевшие под давлением метра. — Н-да-с-с... Погодишка! Рад бы в рай да грехи не пускают! Придется возвращаться! Пошли.

Сучок с трудом удерживает папаху, которую с него вот-вот сорвет ветер, зло поглядывает на хмурое небо и хотя в глубине души соглашается с напарниками, твердо стоит на своем:

— Я не согласен возвращаться! Не привык с пустыми руками идти из тайги. И дед и отец охотничали... Да этак вот по улице идти — там стыда сгорить! Колосок до колоска, и вот он тебе — сноп! Позтому у трудолюбивого крестьянина хозяйство и не разваливается. Вы или жалуете, господа хорошие, а я пойду ворошить берлогу.

— Ну что ж? Пожелаем удачи! — развел руками Владимир Ильич. — А мы отдохнем немного и... домой!

Кни Сучок ворошил берлогу, они не видели, но спустя полчаса вместе с завыванием вьюги донесся ревуший жалобный крик:

— Помогите! Братцы! Помогите!

Мой порывистый ветер временами усиливался и приглушал отчаянный вопль старика.

Владимир Ильич, согнувшись навстречу буре и глубоко утопая в снегу, побежал на крик. Промынский бежал следом. Сучка они отыскали с трудом. Он лежал в снегу и боролся с окровавленным и уже напавшим медведем.

— Эге-е-э! — изо всей силы закричал Владимир Ильич.

Раненый зверь злобно оглянулся и, косолапо ковыляя на трех лапах, оставляя на снегу пятна крови, скрылся в кустах. Промынский выстрелил ему вслед, но промахнулся...

— Сильно медведь помял вас? — тревожно спросил Владимир Ильич, помогая Сучку приподняться...

Сучок облокотился на правую руку, хотел встать, но не смог. Помутневшими глазами взглянул на склонившихся над ним товарищей.

— Не бабка ты, Ульянов, а угадка: нельзя в плохую погоду тревожить зверя, — хрипло сказал он. — Не вы — пропал бы Сучок за зря... Грехи он мне помял, проклятуший! — Сучок обмяк и обессиленно упер голову на снег.

Глядя на раненого, Владимир Ильич думал о человеческой алчности. Вот тебе соломинка до соломинки и сноп получается. Эта неумеренная жадность частенько доводит мужика не до снопа, а до гроба.

— Промынский! — обратился Ульянов к поляку, поднимая голову. — Руби пихтарник, сделаем волокушу! Я посмотрю — нет ли открытых ран.

С первого же дня приезда в Шушенское Ульянов жил на квартире у Сучка, ходил с ним на охоту, присматривался к его быту, изучал психологию сибирского крестьянина. Владимира Ильича поражала жадность Сучка, да и не только его одного, а и многих его соседей. Ульянов говорил себе: «Собственническую тенденцию со временем можно перестроить, когда не станет частника. Но вот как закрепить у человека такое ревностное трудолюбие в условиях общественного хозяйства? Как заинтересовать трудящихся нового строя вот так бережно складывать колосок до колоска, чтобы сноп получался? Ведь у этого частнособственника много того, что в социалистических условиях будет иметь иной смысл». И сейчас, в тайге, среди воя метели, осматривая рваные раны старого охотника, он думал: «Пошел бы этот сибиряк на охоту в такую бурю ради голодающих соседей,— героем называть можно. А пока всего-навсего просто невежда».

— Вот! Притащил! — крикнул рядом Промынский.

Они связали пихтовые «лапы» ремнем и получились отличная зеленая волокуша. На нее с трудом перевалили потерявшего сознание пострадавшего и потащили, утопая в снегу и борясь с продолжающим бушевать ветром.

— Вст как в жизни получается! — прокричал сквозь вой метели Промынский. — С богатыми боремся, от них страдаем и...

Владимир Ильич, тяжело дыша, весь залепленный снегом, улыбнулся в ответ:

— Понимаю вас: от кого страдаем, того иногда выручаем. Давайте думать не о нем, а о всех. Мы спасаем человечество. Пошли повеселей!

— Но, но! — скомандовал сам себе Промынский, ускоряя шаг. — А вы знаете, Владимир Ильич, — греет! Здорово греет. И, заметьте — небольшой мужичок, а тяжелый какой, чертушка!

## II

### Кровожадный хищник

Потревоженный медведь больше не вернулся в свою берлогу. У зверя такой закон: обнаружили логово, уходи от него и как бы ни было худо, медведь не воспользуется прежним своим приютом. Всю зиму будет рыскать по лесам и полям, и плохо тому, кто в это время попадет на его пути. За бродячий образ жизни такого медведя называют в народе шатуном. Вынужденный голодать и мерзнуть, шатун особенно ожесточается. В то время, когда его собратья непробудно спят и не подозревают, какие морозы трещат над их берлогами, шатун бредет и бредет неизвестно куда, причиняя вред всему живому.

В одну из ночей добрался потревоженный медведь и до Сучкова хлева, преломал в стене дыру и загрыз трех телок. Утром батрак Сучка — Пронька испугался растерзанных туш, с ужасом ворвался в горнилу хозяина и принялся истошно кричать.

— Владыко наш господний! Матушка богородица!

— Говори толком, болван! — рассердился Сучок, все еще лежавший в постели после неудачной охоты.

— Кровушка пролита! — бормотал Пронька.

— Какая еще кровушка?

— Коровушки, хозяин, загублены!

— «Кровушка-коровушка», плетет Емеля-Тетеря черт-те что? — Сучок силялся, но не мог встать.

Да, недешево далась Сучку та охота: почти всю зиму старик провалялся в постели. Бабка-костоправка ставила ему припарки на больные места, мазала медвежьим салом, не один раз читала над ним молитву. Но все это не помогало: раздробленная левая нога у Сучки все время нестерпимо болела.

Кончилась зима. Белый покров полей и лесов потемнел, небрежные плешины проталин разорвали его на части, зеленая травка обривала догорающие сугробы щетиистой порослью.

Вместе с пробуждающейся природой ожил и Сучок: его могучий организм победил, хотя его плотное тело обмякло и стало костлявым. Раздробленная нога срослась, но увечье долго еще давало о себе знать. Сначала он по-детски нерешительно двигался боком, напоминая драчливого петуха, а потом ковылял, опираясь на палку, словно разбитый параличом. При каждом болезненном шаге яркие глаза страшновато разбегались, поредевшая борода порывисто тряслась, пугая встречаемых.

После болезни Сучок стал еще более скуп и зол. Однажды он заметил, как Пронька шел к ручью ловить на уху лещарей. Походка батрака показалась хозяину неестественной, ненормальной: уж очень кособочился Пронька под тяжестью почти невесомой сетки. Сметливый Сучок подумал: а не спрятано ли что в сетке? И, опираясь на бугристую палку, неслышным лисьим шагом потащился следом за батраком, прячась за сараями и кустами. Действительно, на берегу Пронька извлек из сетки уворованную кожу и, опасливо оглядываясь, принялся прятать ее в траве. От такого зрелища у Сучка помутилось в глазах. Бесшумно он подкрался к Проньке и судорожная его рука вынесла над головой преступника тяжелую палку. Не подозревая опасности, Пронька от первого же удара безмолвно повалился в траву.

— Домухлевался, ворюга! — яростно прошипел Сучок, прижимая к груди вызволенную кожу. — Я чужого не беру, но и своего не отдаю, собака ты этакая... Я тебя и пою и кормлю, а ты...

Пронька лежал не шевелясь, и Сучок со страхом потыкал Проньку концом палки. Тот был мертв. Сучок попятился, дико озираясь по сторонам, потом швырнул на убитого батрака кожу и отчаянным криком собрал народ.

— Глядите, православные! Змею пригрел на груди!

По распоряжению исправника, безродного Проньку, без полагавшихся каждому покойнику деревенских почестей, закопали на краю погоста.

Во время этих событий Владимир Ильич пахотился в Минусинске, в полсотни верст от Шушенского, у своих друзей, сыльных Кржижановского и Потресова. Когда он вернулся в село и узнал подробности убийства Проньки, он пошел на могилу батрака. Все удивились: «Как же так, говорят, будто политические не верующие, а вот Ульянов пошел же на Пронькину могилу... Может, и он верит, а? Человек-то ко всем жалостливый, добрый...»

Владимиру Ильичу нравился бессловесный работающий Пронька, и, постояв у его могилы с дешевым крестом, Ульянов вернулся в дом Сучки, связал свои единственные пожитки — книги и, не сказав ни слова, покинул дом убийцы.

Опираясь на палку за уходящим постояльцем вприпрыжку гнали его хозяин:

— Куда же ты, глядя на ночь?.. В моем доме аль харчей не хватало?

Владимир Ильич на миг остановился, сказал с презрением и гневом:

— В вашем доме хватало всего, кроме основного: человечности! Перекинув поудобнее связки книг, Владимир Ильич пошел дальше. — Не ходите за мной, убийца! Разные мы с вами люди!

— Сразу видать — разные, — злобно закричал вслед Сучок. — Каторжане чертовы! Ишь разгордился: я, я! Подрежу тебе крылья, ужом поползешь! Захочу, народ от тебя вмиг отвернется. Мое слово пудовое, что прикажу, то и сделают! Все село подо мной пляшет! Вся сила в моих руках!

— Ну-с, посмотрим, жадюга, — проговорил, не оборачиваясь, Ульянов. — Посмотрим, чья возьмет.

### III

## Людской поток

После того, как Ульянов перебрался на другую квартиру, Сучок всюду распускал про своего бывшего квартиранта всякие сплетни. Рассказывал про него всевозможные небылицы. Но как и раньше народ со всей округи валил к Владимиру Ильичу: он давал беднякам бесплатные юридические консультации, помог рабочему, неправильно уволенному с прииска, высудить у золотопромышленника дело. Если случалась какая беда, зло, несправедливость, почти в каждом доме пострадавшему говорили: «А ты к Владимиру Ильичу иди! Он поможет!»

Растущая популярность Ульянова бесила Сучка. Он повсюду кричал, что его бывший квартирант — безбожник, но это не пугало людей, не отталкивало их от Владимира Ильича.

Как-то уж совсем издалека, верст за двадцать, припелся костлявый, взъерошенный старик и, тыкая посошком в пол, чуть не до земли поклонился Ульянову:

— Помоги, добрый человек, засудить негодного зятя!

Владимир Ильич отодвинул стакан с чаем, встал, усадил обиженного за свой стол, налил и ему чашку чаю.

— За что же, дедушка, хотите судить родного человека?

— Да ведь и дело-то в том, что родство тут такое! — сердито блеснул глубоко западавшими глазами оскорбленный бородач. — Какое может быть родство? Сами посудите, растил-кохал дочку, а он, негодяй, взял ее, а меня — отца на свадьбу не позвал. Это можно стерпеть? У меня в грудях ровно самовар кипит!

— Обидно, конечно, — сочувственно говорит, щурясь, Владимир Ильич, наливая еще по стакану чаю. — Может быть, там и свадьба такая была: ни пить, ни есть?

— Ну! — возмущенно восклицает бородач. — Три дня да три ночи гуляли. Ящик казенной водки выпили да бражки бочку. А мне даже рюмки не пришлось выпить за родное дитя, разве это можно?

Ульянов почти час успокаивал старика, уговаривал его помириться с зятем. И под конец разговора спросил:

— Ну, а теперь зять поднесет, если приедете к нему?

— Теперь-то поднесет, ну, понимаете, обидно же мне, с этакой вет бородинцей идти на поклон к сыняку.

— А вы пойдите как старший, проверьте, как младший хозяин домашность ведет! Помогите в чем надо. Он чувством уважения и благодарности проникнется.

— Это так... это верно: проникнется, ежели с помощью придти.. Это верно, барин хороший...

И старик снова отвесил пояской поклон. Владимир Ильич взял его заскорузлую руку, крепко пожал.

— А я никакой не барин...

— Спасибо за понятливость отцовского горя — еще раз поклонил

— старик. — Благодарствую вам, что вникли в мужицкую беду, не утонули мою седину... Пойду и вправду проверю его домашность. Молодиль, она всегда зелена! Теперь он попляшет передо мной.

Проводив посетителя, Владимир Ильич несколько раз прошелся по своей комнатухе из угла в угол. Но тут в сенцах снова послышались шаги и на пороге появилась худенькая, востроносая бабенка. Владимир Ильич по ее возбужденному лицу понял: что-то случилось. Он поспешил ей навстречу:

— Что с вами, Кланы?

— Горе вдовое добавилось! — Баба прижала к губам угол пухлого платка, с рыданием закрыла лицо.

— Сучок проклятый! — выругалась сквозь рыдания Кланы. — Бык, бык проклятый... Бугай оканный...

Владимир Ильич терпеливо слушал, чуть склонив на плечо голову.

— Значит, Сучок бык, бугай?.. — спросил он, когда Кланы немного успокоилась.

— Да, да, его бык!

— При чем тут его бык?

— Да он же, клятый, заколол мою Буренку!

— Вот оно что! Теперь понятно: Сучков бык заколол вашу корову. Конечно, жалко! Но, Кланы, все равно так сильно убиваться не следует...

— Как же не следует? Ведь дети у меня мал-мала, без молока погибель им.

— Понимаете, Кланы, заниматься ссыльному юридическими делами не разрешается. Но так и быть, ради вас еще раз рискну. Возьмем с этого мироеда стоимость коровы! Сейчас же давайте и напишем исконое заявление в волостной суд...

Ужом извивался Сучок, целыми возами взятку начальству развозил, но волостной суд приговорил его заплатить Клане десять рублей. Кланька опять прибежала к Владимиру Ильичу в слезах.

— Владимир Ильич! Это же они смеши! Кадо мной играют. За десятку молочную корову разве купишь? У, ироды!

— Не тужите, Кланы, — успокоил обиженную Владимир Ильич. — Поезжайте в суд, привезите мне копию приговора. Составлю бумагу, опротестую решение. Мы их прижмем!

Слома голову Кланы понеслась в волость, потребовала копию. Тучный краснорожий заседатель зубоскалил, хихикал над разгневанной бабой:

— Что тебе, копию с белсы коровы, что ли? Но копию приговора вынужден был выдать...

#### IV

### На сходке

А вскоре у Клань случилась новая беда. Медведь-шатун забрался и в ее хлев, загрыз последнюю телку. Это встревожило все село: кто знает, к кому в следующую ночь покажет незваный гость. По этому случаю щученские мужики собрались на сходку. Как и всегда — в центре толпы, важно поглядывая по сторонам, стоял самый зажиточный в селе хозяин — Сучок. Теперь, после увечья, он действительно напоминал корявый дубовый сучок.

— Пригцы, — зывал Сучок к мужикам, — сплотимся воедино,

решим жисти нахального топтыгу! Ведь он у меня трех телок жисти решил... Убытку — целных пятьдесят рублей понес.

— Жалко, однако, что он тебя не прихлопал, — съязвил тощий, как хлыст, Журавлев.

Сучок бросил злобный взгляд на осмелевшего бедняка.

— Ты, голь, хавло не разевай попусту. Тут серьезное дело решается! С каждого двора по чэлэку требуется выделить в помощь охотникам. А у тебя, Журавль, ни кола, ни двора, поэтому меж хозьяев под ногами не вертись.

И тут Кланыка не вытерпела, выскочила вперед.

— Богатство у тебя — это наша кровушка, — визгливо крикнула она в лицо Сучку. — Дай нам по праву «кол и двор», сам останешься ли при чем.

Сучок стукнул массивной палкой по влажной земле.

— Ты меньше на ветер гутарь, про дело не забывай: выходи сама на охоту, аль мужика-дурака какого-либо на крючок лови.

Владимир Ильич вышел на середину круга. Ссылный, он не имел права принимать участие в земских делах, но мужики любили его за общительность и справедливость, и сами просили присутствовать на сходках. Владимир Ильич поправил воротник теплого пальто, сказал негромко:

— Но нельзя же, миряне, одинокую женщину обижать. Надо освободить ее от участия в охоте. У нас детишек полон дом. С кем оставить?

Сучок отрицательно покачал головой:

— Она слишком ума набрала, господин Ульянов. По судам порядочных людей таскает. Пусть наравне с мужиками и отдувается. Ишь, краля! Поцады ей теперь никакой не будя!

На середину круга снова протиснулся разгоряченный Журавлев. Он хотел осечь самовластного Сучка, но вдруг закашлялся, взявшись обеими руками за грудь. Сучок смотрел с язвительной усмешкой.

— Недаром в сию минуту бог поперхнул твое хавало, — съязвил он. — Лишил гласа, чтоб не болтал против мира!

Журавлев подавил кашель, глухо, с усилием сказал:

— Вместо Кланыки я пойду на охоту! А ты, мироед, не тереби ее душу!

Ежидно сверкая глазами, Сучок захохотал, показывая желтые гнилые зубы:

— Куда прешься, заморыш? Перо не смог в руках держать, а ружье тебе под силу? Слабак, сиди на месте и жди часу, когда бог приборет!

Владимир Ильич вспомнил тот злосчастный поход, когда медведь помял старика. «Тожке слабышом был, помощи просил. А сейчас? Ишь, разлютонался!»

Владимир Ильич любил и жалел бывшего писаря Журавлева. Из-за болезни тот действительно не мог уже держать перо, за что его и уволили с занимаемой должности. Ульянов подошел к Журавлеву, по-дружески положил руку на его плечо.

— Пойдем вдвоем добивать зверя. — Владимир Ильич обернулся к верховоду сходки: — Вместо Клани меня возьмете?

Сучок деланно захихикал:

— С какой стати мерзнуть ради гольтепинной бабы?

— А этого вам, кажется, никогда не понять, — негромко ответил Ульянов.

— Спасибо вам, Владимир Ильич! — всхлинула, подбежав к Ульянову, Кланыка...

— Не стоит, милая...

## В засаде

Вечерело. Охотники собирались за рекой Шушей. Бросили жребий, разыграли, какой номер достанется каждому в засаде. А чтоб охота была удачной, напуганный зверем, Сучок настоял на исполнении старинного обряда.

— А теперь, православные, ружья святой водой промыть требуется! — Он не спеша снял папаху, перекрестился на восход, потом достал из-за пазухи бутылку и, нашептывая молитву, по несколько капель вливал в ствол каждого ружья. — Ружье духовое, выгонь все дурное...

Охотники поочередно передавали старику свои ружья, а Ульянов отошел в сторонку, наблюдая, как гаснет за стволами деревьев день. Сучок насутился, бросил сердитый взгляд на своего непримиримого противника.

— Ты что же, Владимир Ильич, нехристь аль выкрест? Почему не молишься? Без божьей помощи не убьешь зверя. Человеку без веры не повезет никогда.

— А у меня и без святой воды вера крепкая.

— Какому же богу поклоняешься?

— Правому делу.

Скривив губы, Сучок неодобрительно передернул плечами:

— У правоверных всегда правое дело господне!

— То-то вы своего батрака за господне дело и убили...

Сучок сердито, до самых бровей, надвинул папаху, молча повернулся и пошел прочь.

На том месте, откуда всегда из лесу к Шушенскому тянулись медвежьи следы, подковой разместились охотники. Владимир Ильич оказался рядом с Промышским. Чтобы обмануть настороженного зверя, они, по примеру местных охотников, складывали из остатков снега холмики с амбразурой для наблюдения и стрельбы. В снег натыкали хвойных веток, замаскировались и принялись ждать грозного пришельца.

Ночь и для Владимира Ильича и для Промышского тянулась мучительно медленно. Искрящийся Млечный путь манил истомленные неволей сердца далеко, далеко, туда, где все шире раздвигалась борьба. Хотелось, как можно скорее отбить срок, вернуться к своим, почувствовать рядом их локоть, плечо. До зари напарники сидели молча, ожидая появления зверя. Их глаза устали смотреть на пустую полянку, а медведь как на зло не подходил.

И вот, когда звездная дорога уже начала угасать, а восток озарился слабым пламенем далекого солнца, охотников охватило страстное волнение. Вот он! Настороженно обнюхивая воздух, шатун, перепаливаясь с боку на бок, двигался из леса. Ближе всех к медведю оказался Журавлев в паре с одряхлевшим дьячком. Увидев приближающегося шатуна, дьячок растерянно перекрестился:

— Как бы он и меня не изувечил. Ишь, какой!

И чтобы отогнать медведя, перепуганный дьячок, не целясь, нажал спусковой крючок. Огненная метла лизнула утренние сумерки и в гулом растворилась в потемневшем небе. Медведь нервно огрызнулся в сторону угасшего пламени и неуклюже, вприпрыжку, зачастил в пихтарник.

Через полчаса Сучок собрал в круг всполошенных охотников. Он злился, глаза у него сверкали, как два маленьких уголька. Руки тряслись. Неожиданно ни с того ни с сего он набросился на Ульянова.

— Через этого богохульника не повезло!

Трусливый дьячок остекленевшими бельмами тупо поглядывал на своего защитника. Владимир Ильич усмехнулся:

— При чем тут я?

Журавлев, притопывая по земле озябшими ногами, ткнул тонким пальцем в сторону дьячка.

— Вот этот божий человек с молитовкой по медведю выпалил!

— Слышите, как было? — Владимир Ильич весело расхохотался. — А на меня шишки летят!

— Одно горькое зерно куколя портит чугуна каши. — Сучок тяжело вздохнул. — Теперь придется вам, братцы, идти по следу. А я с отцом-дьяком буду на этой опушке поджидать. Ну, с богом! Ни пуха, ни пера!

Напутствие Сучка не помогло охотникам. Весь день до вечера они лазили по лесным тропам, но зверя так и не настигли. Вернулись ни с чем. И Сучок снова ругался и плевался на все стороны.

— Безобразники, бога прогневали! Наказанье какое: без толку обувь топтали.

Владимир Ильич щурил в улыбку веселые, искрящиеся глаза.

— Промак дьяка нечего на бога валить. Бог, бог, да сам, дьяк, и будь плох.

## VI

### Радостная встреча

Уставшие охотники с трудом доплелись до села. Еще издали Владимир Ильич увидел в своем окне свет и не на шутку разволновался: он пошел быстро как только мог.

— В чем дело? — спросил Ульянов своего хозяина, который встретился им неподалеку от дома. — Не обыск ли полиция без меня устроила?

— Да нет, — хитренько посмеиваясь в бороду, ответил хозяин. — Хуже любого обыска творится в вашей комнате, Владимир Ильич! Славный представитель путиловских рабочих знаете, что там вытворяет?!

Так в шутку называли рабочего с Путиловского завода — Эзберга, сосланного за революционную деятельность в Сибирь.

— Что? — торопил Ульянов рассказчика, нетерпеливо поглядывая на окно. — Ну не тяните же, говорите.

— Оскар Эзберг пьяный ворвался в вашу комнату, все книги разбросал, письма все порвал. И, кажется, печку ими топил. Ишь, дымок из трубы пошел. Вот вам и спокойный финн, до каких чертиков дошел.

— Неужто Оскар Александрович способен на такую подлость? — с трудом преодолевая волнение, вскрикнул Владимир Ильич, бегом бросаясь к дому. — Да в этой трущобе — книги единственное утешение!

— Сильно пострадала ваша библиотека, Владимир Ильич, — с улыбкой кричал вслед хозяин дома. — Скорей бежите, может, что успеете спасти!

Владимир Ильич слышал, как сзади злорадно захохотал Сучок:

— Говорил: бог накажет нехристя! Вот и наказал: зверя не убил и пьяный финн книги пожег!

Владимир Ильич изо всех сил бежал к дому.

Вот он взбегаёт на крыльцо, врывается в комнату. Но в комнате

полюный порядок: книги стоят и лежат на своих местах. А за столом сидят дорогие гости.

— Надюша, дорогая! — Владимир Ильич радостно обнимает Надежду Константиновну. — Вот счастье!... Елизавета Васильевна!

А под окном приятно возбужденный Журавлев тоже кричал, обращаясь к Сучку:

— Погляди!.. Погляди!.. Наконец-то Ульянов убил!

— Кого убил? — спросил дьячок и робко потянулся к окну, за которым весело метались тени людей.

— Голова твоя пустая, — толкнул Промынский дьячка локтем в бок. — Не догадываешься, кого «убил»? Невесту!

— Да ну? — дьячок уставился на Промынского стеклянными широко открытыми глазами. — Неуж сюда к нему приехала?

Сучок одернул за рукав отца-дьякона:

— На кого бельмы вылупил? Не тарашь, ведь это беглые, бездомные! Нет у них ни кола, ни двора. Государев двор они тоже презирают. По-цыгански живут: на пустое поле глаза пялят и радуются, что это все их общее. А что дает эта общая пустота? Кукушки бездомные!.. — Сучок сердито плюнул, топнул здоровой ногой: — Пошли отсюда прочь! Подальше от них!

Они отошли немного, но любопытство снова взяло верх, — остановились. Сучок с бешеной злобой бормотал дьячку: — Гляди, всех к себе переманил! Ведь каждый год бедняки занимают у меня до новины зерно, работу просят. И я им не отказываю, сам знаешь. И вот на тебе — от коренного хозяина отвернулись, а к арестанту тянутся, как мотыли на огонь!.. Отец-дьякон!.. Пусть батюшка Сарпион придет завтра, исповедует!.. Худо мне стало...

А в это время вокруг Ульянова, словно пчелиный рой, ликовали шушенцы. Тут и Промынский, и Журавлев, и Эзберг — сбежались поздравить все соседи.

Владимир Ильич, сияющий, счастливый, с улыбкой представлял народу своих близких:

— Это мой друг — Надежда Константиновна, а это ее мать — Елизавета Васильевна. Прошу любить и жаловать...

Удивленно шептались шушенские мужики и бабы, разглядывая приезжих.

— Сами на ссылку пошли! А! Вот диво-дивное!..

— А ради чего? В такую-то даль...

— Это из-за любви! Должно быть!.. Ишь, гляди, как она разрушилась!.. И глаза — что твои звездочки...

А хозяйка уже несла ведерный самовар, миску с шаньгами, тарелку с солеными грибами, туесок с медом, со всех сторон слышались изволнованные слова:

— Какая молодница-то славная!

— Вот так невеста у Владимира Ильича, это да! Сама — в Сибирь!

Грустно улыбалась, стоя у порога, Кланька, вспоминая, что и она когда-то молодая и красивая была, и ее тоже любили:

— К плохому не поехала бы даже в рай! — шептала она. — Владимир Ильич — душа человек. Потому-то за ним народ куда угодно пойдет!

## ПЕРЕД ГРОЗОЙ

*Автор этого очерка исследовал очень важный и малоизвестный период в жизни и деятельности В. М. Серова, когда он находился на поселении в Мысовске. Для Серова это были годы мобилизации и сплочения революционных сил, подготовки масс к близкому уже штурму твердыни старого мира.*

### Начальство разгневалось

Ротмистр Булахов подшил в «дело» последний, тридцать пятый, лист и сел писать заключительную бумагу — прошение «О воспрепятствии ссылке поселенцу Серову проживать в городе Мысовске». Ротмистр предложил «перераспределить» Серова из Посольской волости в Читканскую Баргузинского уезда, «где он будет лишен возможности постоянного общения путем личных свиданий со своими единомышленниками, проезжающими по линии Забайкальской железной дороги, что в настоящее время, при его проживании в Мысовске, представляется невыполнимым».

Военный губернатор Забайкальской области А. И. Княшко согласился с Булаховым и предписал Серову немедленно покинуть Мысовск.

Это случилось в марте 1913 года.

Что же так разгневало стражей монархии?

Многие старожилы Мысовска помнят Серова. Люди, знавшие его здесь, пашлись и в Улан-Удэ, и в Чите, и в Иркутске. И, конечно, рядом с нами еще живут те, кто может дополнить рассказ о мысовском периоде жизни Серова.

### Новое звание

В «Правде», центральном органе Российской социал-демократической рабочей партии, 28 апреля 1912 года по старому стилю появилось короткое сообщение: «Член 2-й Гос. Думы, социал-демократ Вас. Матв. Серов 4-го апреля окончил срок каторги в Зерентуйской тюрьме и выбыл в Посольскую вол. Забайк. обл., куда приписан сс.-поселенцем».

В день отъезда из Горного Зерентуя Серову выдали на руки «проходное свидетельство». Исполнявший обязанности начальника каторжной тюрьмы Макаров на основании распоряжения тюремного отделения Забайкальского областного правления разрешил ему «следовать к месту причисления на собственный счет». Серов был предупрежден, что «во время пути следования он нигде не имеет права останавливаться, кроме ночлегов, нигде проживать без уважительных причин».

Еще в Зерентуе Серов не раз напоминал о своем желании поселиться в Мысовске, но с его желанием не считались, и на статейном списке сделали запись: «Причислен в село Твороговское».

Мысовск после открытия железной дороги начал быстро расти. За четыре года население выросло почти вдвое и равнялось примерно шести тысячам человек. Кроме железной дороги, хорошим транспортным средством был Удугинский тракт через Хамар-Дабан и Кяхту в Монголию и Китай. Скотопромышленники пригоняли по этому тракту

и Мысовск закупленный в Монголии скот, а мясо отправляли по железной дороге в города Сибири и Европейской России. Бурно развивались торговля и промыслы. Рос рабочий класс, занятый на обслуживании железной дороги и депо, пристани Байкальского пароходства, на бойне. Пролетарии и полупролетарии, кустари-ремесленники, мущы и промышленники — таким был социальный состав населения города.

Мысовск являлся также местом ссылки «государственных преступников».

Вот что вкратце представлял собою молодой город на южном берегу Байкала, город с всего лишь двадцатилетней историей.

Эта историческая справка поможет нам понять, почему член Российской социал-демократической рабочей партии с 1902 года, член большевистской фракции II Государственной Думы, делегат пятого съезда РСДРП, крупный политический деятель Василий Матвеевич Серов вопреки запрещению прибыл в Мысовск. И канцелярия иркутского генерал-губернатора вынуждена была задним числом разрешить ему проживать именно здесь.

Серов приобрел новое звание — ссыльный поселенец. Позади остались Петропавловская крепость, Петербургская пересыльная тюрьма, грязные дороги, Нерчинская тюрьма и отдающее кандалным звоном название «каторжник».

Дом, в котором поселился Серов, стоял на южной окраине города, на улице Полицейской.

## Донос

В Мысовске Серов встретился с Ромуальдом Малецким и Василием Плесковым. С ними Серов отбывал каторгу в Горном Зерентуе. Там они вместе занимались учительским трудом. И это обстоятельство было не в пользу Василия Матвеевича.

Еще в 1910 году начальник Иркутского жандармского управления М. Познанский сообщил в Петербург в строго секретном доносе на имя директора департамента полиции Н. Л. Зусева: «В Горном Зерентуе группа каторжников — Малецкий, Плесков, Нейский, Серов — организовали школу, в которой учатся дети местных жителей и нарцсые». Из донесения можно сделать вывод и о политическом характере школы: «Один ученик, — пишет Познанский, — спросил Малецкого: правда ли, что мир сотворен так, как написано в библии? На это Малецкий ему ответил: «Конечно, вздор. Но выучить это надо, т. е. это требуется по программе».

Прибыв в Мысовск, Серов уже на третий день шлет в канцелярию иркутского генерал-губернатора телеграмму: «15 апреля прибыл на поселение. Временно проживаю в Мысовске. Профессионал-учитель. На каторге занимался учительским трудом. Ничего кроме благодарности со стороны местного населения и администрации моя деятельность не получила...» Серов просил разрешить заниматься частными уроками и в Мысовске.

Одним в Иркутске удовлетворить просьбу не торопились. 20 июня Серов вновь обращается к генерал-губернатору: «Прошло уже больше трех месяцев со дня возбуждения мною ходатайства, и до сих пор я нахожусь в неопределенном положении. Вот почему беру на себя смелость повторить вам содержание моей просьбы».

В Мысовске были только начальные одноклассные школы. Дальнейшее образование детей становилось затруднительным. Родители

были вынуждены направлять своих детей в Верхнеудинск или Иркутск. Понятен поэтому интерес, который проявила общественность к приезду в город опытного педагога.

По настоянию родителей полицейский надзиратель Токарев обратился в канцелярию генерал-губернатора с просьбой, чтобы Серову разрешили давать уроки.

Еще долго волокитили власти просьбу Серова. И он был вынужден учить детей чуть ли не тайпо. Серов писал однажды: «С простым желанием оказать местным жителям посильную помощь в образовании детей приходится скрываться, как в чем-то порочном и противозаконном».

Наконец, 28 июля из канцелярии генерал-губернатора сообщили, что Серову разрешается заниматься частными уроками. При этом сделана оговорка: «Отнюдь не в группах, а на дому у отдельных лиц».

Но и после этого вопрос о дозволении Серову учить детей не был снят с повестки дня.

17 декабря Токарев на запрос из Читы сообщил военному губернатору Забайкальской области, что «В. М. Серову разрешено Его превосходительством Иркутским генерал-губернатором заниматься частными уроками».

Архивы сохранили для нас список детей, которых учил Серов. В списке двенадцать имен. Зинаида Руденко и Любовь Гейман сейчас живы. Руденко — врач, кандидат медицинских наук, Гейман — учительница-пенсионерка.

Список находился в полицейском управлении. Это говорит о том, что педагогическая деятельность Серова строго контролировалась местными властями. Так же как и в Горном Зерентуе, здесь, в Мысовске, она не всех устраивала. И снова донос: «Имею честь довести до Вашего сведения, что не мешало бы было досмотреть за политическими, живущими в Мысовске под видом учителей... Серов учит детей только для творений подлостей нашему русскому правительству».

Как вспоминает Плесков, Серов участвовал в подготовке группы железнодорожных служащих к экзаменам. При деятельном участии его этот кружок стал социал-демократической группой и дал впоследствии несколько революционных работников.

## Письмо из Кракова

Полицейский надзиратель Токарев в рапорте иркутскому генерал-губернатору от 28 июля 1912 года указывал на хорошее поведение ссыльного поселенца Серова и на его общобразовательный ценз: «Окончил Казанский учительский институт, слушал лекции в Петербурге на юридическом факультете, на свободе и на каторге учительствовал». Все это верно. А вот насчет «хорошего поведения» и «политической благонадежности» надзиратель ошибся.

Немного освоившись на новом месте, Серов начал устанавливать связи с политическими ссыльными Селенгинского уезда, которых в то время было около ста человек. Из села Большая речка стал навещаться в домик на улице Полицейскую Егор Алексеевич Петров, тоже бывший член II Государственной Думы. В январе 1913 года приехал из села Большая речка и стал на квартиру Серова Михаил Васильевич Душин, отбывший шестилетнюю каторгу. Домик на Полицейской становился штабом политической работы в уезде.

По инициативе Серова в 1913 году в Кударе было проведено совещание политссыльных. Серов сделал обзор революционного движе-

нии и России и за границей и высказался против побегов. Ссылные должны на местах вести пропаганду марксизма среди рабочих железной дороги и промышленных предприятий, среди крестьян и сельской интеллигенции.

Еще в 1904 году, сосланный из Петербурга в Саратов за организацию марксистского кружка, Серов работал в газете социал-демократического направления «Приволжский край». В Мысовске ярко проявились его отношения к печати, как могучему средству пропаганды большевистских идей. Он устанавливает связи с редакциями Иркутска, Читы, Верхнеудинска, Благовещенска, газеты то и дело печатают его разоблачительные (насколько это возможно было в условиях цензуры) корреспонденции. Вот один из документов, относящихся к этой стороне многогранной деятельности Серова. Заместитель редактора «Восточной Сибири» (Чита) Николай Данилович Шилов пишет ему: «Полученные Вами две корреспонденции на имя Н. А. редакцией получены и будут напечатаны на днях. Арест Н. А., как передает его жена, продлится недолго. Пока замещаю его я. И покорнейше прошу Вас писать и пишу газету, как Вы писали при Н. А.»

Уже в 1912 году Серов устанавливает связи с заграничными революционными организациями. В Мысовск идут корреспонденции из Парижа, Кракова, Харбина.

Мысовский почтальон С. Т. Денисюк писал в своих показаниях, что «Серов получает довольно часто корреспонденции из разных мест Европейской и Азиатской России, а также иностранные письма».

В письме из Парижа в Мысовск автор писал: «Письмо получил. Ваше поручение могу исполнить в конце недели, т. к. Б. теперь здесь нет — уехал на время... О Ваших поручениях не беспокойтесь. Все будет исполнено в точности».

Содержание письма, рассчитанное на просмотр цензурой, станет более понятным, если обратиться к донесению ротмистра жандармского управления, который писал: «Серов поддерживал письменные сношения с заграничными революционными организациями, коими снабжался и революционной партийной литературой».

Оживленная переписка завязалась у Серова с доктором Марек, руководителем краковского Союза помощи политическим ссылным и журнала «Политический узник».

В одном из писем Марек давал указания о связи с тюрьмами и выражал желание получить материалы и статьи, посвященные жизни ссыльнопоселенцев и каторжан. Марек предлагал подобрать для этой цели соответствующих корреспондентов.

В письме от Союза помощи Марек сопровождал 40 рублей для ссыльных.

Материальная поддержка, которую получали политические ссыльные, имела исключительное значение. Легальная большевистская газета «Звезда» (Петроград) 2 декабря 1911 года в заметке Н. Г. Подстаева, члена III Государственной Думы, сообщала: «Они испытывают крайнюю нужду, т. к. получить какое бы то ни было занятие бывшим депутатам нет никакой возможности из-за всякого рода стеснений».

11 июня 1912 года «Правда» сообщила о сборе средств в пользу ссыльных депутатов. Рабочий класс знал о лишениях своих избранных и по возможности помогал им.

Усиление связей с центром и ссыльными близлежащих сел укрепляло идейно и организационно политическую ссылку, способствовало привлечению ссыльных, стоящих на большевистских позициях. «Серов», пишет А. К. Плис, один из виднейших руководителей партизан-

ского движения в Сибири, — сплотил вокруг себя всех ссыльных большевиков и имел сильное влияние на социал-демократов... и беспартийных.

## Обыск

Вечером 4 марта 1913 года в полицейском участке Мысовска исполняющий обязанности начальника жандармского управления Забайкальской области ротмистр Булахов и полицейский надзиратель города Токарев обсуждали план обыска. В их руках было письмо Серову из Кракова, добытое «агентурным путем».

Назавтра в семь утра в дом на улице Полицейской вошли четверо — Булахов, Токарев, попьятые — Черкасский и Цендор. Одевшись, Серов вышел навстречу неожиданным гостям. Ротмистр протянул бумагу: «Согласно предписания Иркутского губернского управления от 4 марта 1913 года № 224...»

Серов читал документ и думал о тех бумагах, которые он не спрятал...

Обыск длился два часа. Полицейские перетрясли все — постель, книги, сундуки. Заглянули в каждую щель, где могло быть укрыто что-либо крамольное.

В руках у ротмистра оказался лист бумаги — воззвание краковского Союза помощи политическим узникам. «Союз, — прочел ротмистр, — принял на себя обязанность снабжать политических ссыльных революционной партийной литературой и систематически помещать статьи в журнале «Политический узник».

И еще несколько обличающих хозяина квартиры документов попали в руки полиции — справки на различных лиц, которые могли бы представлять материалы для статей. Серов собрал их по просьбе Марека.

Десять отрезных купонов на сумму более 260 рублей, найденных в квартире, свидетельствовали о том, что Серов получал деньги, а обнаруженные при обыске расписки и квитанции говорили о распределении этих денег между политическими ссыльными.

Так появилось «Дело об организации ссыльным поселением В. М. Серовым денежной помощи политическим ссыльным Селенгинского уезда». Дело на 35 листах содержало 19 документов.

Всю переписку срочно переслали в Читку, там было сделано заключение: «Серов является центральным лицом, могущим организовать ссылку и руководить партийной организацией».

Вот чем было разгневано начальство. Серову предстояло немедленно покинуть Мысовск и выехать в Баргузинский уезд.

## А если Читкан?

Баргузинский край, так же как и Прибайкальский, был местом массовой ссылки политических заключенных. В «Звезде» 13 января 1912 года была напечатана статья об экономической обстановке и положении политических ссыльных в Баргузине:

«На местном базаре доставляется очень мало муки, ибо у самих крестьян почти ее нет. Главной пищей служит картофель и чай... В деревнях Телятниково, Суво, Уро, Бодои и др., у кого есть скотина, кормят только соломой, ибо сена нет...

Многие крестьяне в долгах у купцов, и, благодаря этому, еще сильнее эксплуатируются имущими.

...Жизнь политических ссыльных Баргузина с уездом не лучше (если не хуже), чем в остальных «не столь отдаленных местах» широкой Сибири. Материальная, экономическая нужда — обычный, неизменный их друг всегда и везде. Но положение еще ухудшается отсутствием работы и свободы передвижения. Получить разрешение даже по уставу о ссыльных и уехать из Баргузина в другие города Сибири — не удастся (говоря о большинстве) и — пока разрешение придет, немалое время пройдет. Вскрывают письма и посылки, на помощь себе призывают почтово-телеграфную контору: не принимать от политических ссыльных ничего без полицейской печати, разрешения, а также не выдавать ничего...

Положение в Мысовске и Посольской волости мало чем отличается от жизни в тех местах, о которых писала газета.

Серов имел представление о Читканской волости Баргузинского уезда. Но высылка из Мысовска меньше всего беспокоила его из-за тяжелого экономического и политического положения ссыльных в этом отдаленном крае...

Живя в Мысовске, Серов имел уже значительное влияние на политических ссыльных. К нему часто присаживались единомышленники из других мест. Встречи способствовали сплочению ссыльных, помогали определить тактику легальной и нелегальной борьбы.

Отъезд Серова из города означал бы прекращение, хотя бы временно, связей с товарищами, с центром и с заграничными революционными организациями. Нарушилась бы помощь политическим ссыльным деньгами.

Но на руках было предписание военного губернатора: «Немедленно покинуть Мысовск».

## Нет, обвинитель!

Надо было всеми средствами добиваться отмены распоряжения. А отменить его мог лишь сам Кияшко, известный Серову еще по Нерчинской каторге своей жестокостью.

И Василий Матвеевич обращается к господину Кияшко с просьбой отменить распоряжение. Кроме обязательств по подготовке учеников к осенним экзаменам в средние учебные заведения. Серов указывал: «К физическому труду не способен, никакой интеллигентской работы на волости для меня нет. Высылкой обречен на голодовку не только я, но и двое маленьких детей и мать, которые находятся исключительно на моем попечении».

Выселение Серова беспокоило и общественность Мысовска. 18 мая Икимова, Гольцман, Моначирова, Чижевский, Арнаутов и другие пишут господину Кияшко письмо: «Ваше распоряжение о выдворении частного учителя Серова ставит нас и детей наших в безвыходное положение. Пропадает работа целого года. Детей дать некому. Просим отменить Серова до осенних экзаменов».

Трудно судить, что повлияло на решение военного губернатора, но высылку Серова отсрочили, однако лишь до первого сентября.

Время неудержимо двигалось к осени, ко времени, когда истек срок пребывания Серова в Мысовске. Нельзя было допустить отдаленной ссылки! Ведь в силе оставалось решение совещания ссыльных в Кударе, принятое по предложению Серова, в котором рекомендовалось «под видом отсутствия работы в местах приписки, для отбывания

ссылки добиваться переводов в Верхнеудинск, Читу, Мысовск и железнодорожные поселки с большим числом рабочих, а также Петровский и Заиграевский заводы и на Черноовские копи».

И как только лето перешагнуло в август, Василий Матвеевич снова взял в руки перо. Начав прошение с описания своей педагогической деятельности и необходимости заняться учительским трудом в Мысовске, Серов через несколько строк вышел за рамки личных просьб. Он начал излагать большую социальную проблему жизни политических ссыльных.

«Изучая устав о ссыльных, регулирующий жизнь ссыльных поселенцев,— писал он,— я мог вывести только то заключение, что закон не знает разницы между уголовными и государственными преступниками. Этот же самый взгляд подтверждали мне неоднократно и чины тюремной администрации на каторге».

Серов высказал военному губернатору свой протест против того, что уголовные уже через полгода после причисления в волость получают гражданские права, а политические причисляются к месту ссылки на неопределенный срок. Уголовные могут выискивать себе работу, а заработок политических всецело зависит от того, может ли он применить свои силы и способности в местах прикрепления.

Да, это уже не походило на ходатайство о смягчении вины! Скорее строки эти — серьезное обвинение властей в суровом режиме лучшим представителям народа России.

Потянулись томительные дни ожидания. Прошла неделя, другая, но ни Серову, ни полицейскому надзирателю никаких вестей из Читы не приходило.

Более трех недель потребовалось военному губернатору, чтобы принять решение. Он знал, с кем имел дело. Профессиональный революционер, прошедший через тюрьмы и ссылки, побывавший в Стокгольме, Копенгагене и Лондоне, Серов вызывал опасения. И в Чите решили: лучше пойти на худой мир. «Разрешаю проживать в Мысовске впредь до моего распоряжения»,—написал Кияшко на уголке письма Серова.

Это была большая победа.

## Время пришло!

И вот грянула война.

Большевики Прибайкалья разъясняли народу сущность войны, ее империалистический характер, показывали, кому она выгодна.

Старые коммунисты Мысовска Е. Т. Старкова и Г. Д. Кочнев рассказывают о нескольких выступлениях Серова перед рабочими. Однажды Кочнев приезжал со станции Тельман, чтобы присутствовать в офицерском клубе на собрании, на котором Серов говорил об отношении большевиков к войне.

Война принесла много бедствий народу. Росло недовольство политикой царизма. В стране все явственнее назревала революционная ситуация. Оставаться дальше в Мысовске Серову не было смысла. Этот город не играл серьезной роли в предстоящей революции.

Серов решил использовать влияние, которое он имел на местных революционные кадры, для закрепления их здесь, в Прибайкалье. Позднее, после Февральской революции, Василий Матвеевич высказался против отъезда политссыльных из Сибири. Свое мнение он обоснует тем, что центральная Россия имеет много рабочих, прошедших школу революционной борьбы, это значительный резерв для по-

находящиеся нужных партии работников. В Сибири же прослойка рабочих очень незначительна, и будет трудно заменить тех, кто здесь вел работу.

Серов понимал необходимость усиления социал-демократической работы в среде пролетариата и считал, что настало время перескочить в Верхнеудинск. Но в уставе о паспортах, в связи со значительным ростом политической ссылки в годы первой русской революции, было написано одно безнадежное дополнение: «Местом постоянного жительства, — говорилось в уставе, — признается то место, в котором он (ссылкаемый — П. А.) числится на водворении».

На разрешение переехать в Верхнеудинск рассчитывать было нечего. И Серов решил использовать уже испытанный им прием — поставить власти перед фактом. Так он сделал, приехав в Мысовск, тогда как предписано было жить в селе Твороговском.

Полицейские надзиратели Мысовска давно жили надеждой, что Серов покинет город, — ведь вместе с ним уйдет и масса забот и неприятностей по службе. И полицейские надзиратели Афанасьев и Лубников не чинили ему препятствий в отъезде. 25 июля 1915 года Серову выдали удостоверение в том, что «Серов с апреля 1912 года по июль 1915 г. проживал в городе Мысовске, занимаясь с надлежащего разрешения частными уроками».

В первых числах августа Серов выехал в Верхнеудинск и поселился в доме Муромова № 19 по улице Мокрослободской.

Селенгинский уездный начальник запросил объяснение, почему Серов проживает в Верхнеудинске. Полицейский надзиратель Лубников невинно ответил: «Серов предъявил мне паспортную книжку, в которой сказано, что он имеет право «проживать в Забайкальской области, кроме Читы и Читинского уезда».

Оказавшись перед фактом, уездный начальник издает 2 сентября распоряжение № 242 об установлении за Серовым надзора полиции.

В Верхнеудинске Серов устанавливает связь с редактором газеты «Забайкальская мысль» Нечунаевым и вместе с другими большевиками становится ее сотрудником.

Об этом стало известно военному губернатору Забайкальской области господину Кияшко. 13 октября верхнеудинскому уездному начальнику следует секретное письмо: «Ныне же донесите, почему ссылкаемый поселенец Серов проживает в городе Верхнеудинске без моего разрешения».

Уж Кияшко-то понимал, что значит участие Серова в издании газеты! И потому здесь же добавляет: «Предписываю вам иметь тщательное наблюдение за редактируемой Нечунаевым газетой».

На Верхнеудинска господину Кияшко ничего определенного ответить не могли — здесь и сами не знали, как Серов оказался в городе. А время безраздельного господства уходило из рук властей.

Тем временем Серов обживал Верхнеудинск, устанавливая связи, разрабатывая планы дальнейших действий.

Переезд Серова в город, в котором сконцентрирован был пролетариат, означал, что в жизни большевика началась новая полоса революционной работы. И здесь, в Верхнеудинске, через год-два имя его будет с любовью звучать в устах трудящихся и приводить в ярость врагов революции.

## Каландаришвили перед царским судом

Случае было угодно, чтобы в 1910 году я дважды защищал в царском суде «политического преступника», революционера Нестора Александровича Каландаришвили.

С тех пор прошло более пятидесяти лет, и многое исчезло из моей памяти, так же как исчезли многие листки из моего досье об этих процессах, остались только пожелтевшие от времени записи. Они-то, восполненные тем, что еще сохранила память, и дали мне возможность написать эти воспоминания.

...В конце приема в мой кабинет вошла высокая стройная женщина с правильными чертами лица и большими черными глазами. Она была бледна и взволнована. Это была Христина Леонтьевна Каландаришвили.

Сильно волнуясь, она сказала, что ее муж Нестор Александрович Каландаришвили арестован полгода назад и содержится в Иркутской тюрьме без предъявления обвинений. В записке, полученной ею сегодня через вышедшего из тюрьмы человека, Нестор Александрович писал, что его неоднократно жалобы прокурору и председателю окружного суда остаются без ответа.

— Я прошу вас, — сказала она сквозь слезы, — помочь Нестору, а мы вам заплатим.

Тут я прервал Христину Леонтьевну:

— Не говорите об оплате! Ваш муж, очевидно, рассматривается как политический преступник, а мы, присяжные поверенные, защищаем политических бесплатно.

Христина Леонтьевна рассказала, что муж ее, когда жил в Тифлисе, часто писал в газетах и, как неблагонадежный, был выслан в Иркутск.

После моих обещаний о помощи она несколько успокоилась, а я был сильно взволнован ее сообщением. Как можно полгода держать в тюрьме человека и не сказать ему, в чем он виноват!? Такого в моей адвокатской практике еще не было.

Назавтра утром я уже был у прокурора окружного суда. На мой вопрос, почему Каландаришвили содержится полгода в тюрьме без предъявления обвинений, прокурор сказал, пожимая плечами:

— Ответ может дать только генеральный прокурор, по распоряжению которого он содержится.

На этот раз мне удалось лишь получить пропуск в тюрьму для свидания с Каландаришвили.

...В 1901 году, когда я после окончания юридического факультета Московского университета был принят в сословие присяжных поверенных, мой старший брат, знаменитый адвокат Григорий Патушинский, подарил мне портфель, на котором были выгравированы стихи:

Иди к обиженным,  
иди к униженным  
по их стопам,  
где горе слышится,  
где тяжело дышится.  
будь первым там.

Когда мне приходилось ездить в тюрьму, я всегда как заповедь повторял про себя эти строки. Они вливали в душу бодрость и веру в то, что добросовестный адвокат нужен обществу, в частности тому, с кем случилась беда. А кто может быть гарантирован от беды?

Так было и в тот день, когда я поехал на первое свидание с Каландаришвили.

В тюрьме я с огорчением узнал, что свидание мне разрешено через решетку. Трудно вообразить большее глумление, чем свидание арестованных с близкими им людьми через решетку. Представьте себе разделяющую большую комнату деревянную подставку с металлической решеткой до потолка. Вот конвоир подводит арестованного к решетке. Комната освещена слабо. Чтобы лучше разглядеть пришедшего, арестант принаклет к решетке, это же делает и человек с другой стороны. Чтобы лучше услышать друг друга, оба начинают кричать. А когда к первой паре подходят с обеих сторон еще пары и все стараются перекричать друг друга, поднимаются такой крик, шум и даже свист срывающихся голосов, что никто ничего не может понять. Проходят пять минут — и конвоиры начинают отводить от решетки арестованных. Люди, с таким волнением ожидавшие свидания, расходятся совершенно обессиленные, проклиная все и вся на свете.

Мне, как адвокату, не раз приходилось разговаривать с заключенными через решетку. И на этот раз я заранее занял крайнее место у конца решетки. Конвойный немного опоздал, и я увидел Нестора Александровича, когда свидания уже заканчивались и шум поутих.

Подойдя к решетке, Нестор Александрович поздоровался со мною. Он был высокого роста, неширок в плечах, лет тридцати. Бросалась в глаза не по возрасту большая просесть в неподстриженной бороде и пышных густых волосах. Высокий чистый лоб, нос с небольшой горбинкой, большие черные глаза, их металлический блеск и крепко сжатые, красивого очертания губы говорили о бесстрашии и твердой воле. Голос его был мягкий, приятного баритонального оттенка. Говорил Нестор Александрович негромко и не спеша. Легкий акцент выдавал в нем грузина. Особенностью его при разговоре были частые, короткие выдыхания.

Я рассказал, что вчера у меня была Христина Леонтьевна и что я обещал ей защищать Нестора Александровича, если будет в этом надобность, что сегодня был у прокурора, он ссылается на петербургскую прокуратуру. Каландаришвили поблагодарил меня и попросил передать жене, что он здоров и чтобы она меньше тратилась на передачи.

И вот дверь за Нестором Александровичем захлопнулась. С тяжелым чувством шел я к выходу. Не сразу услышал, что меня окликают. Оказывается, это был конвойный офицер.

— Начальник тюрьмы просит вас пройти к нему, — сказал он.

— Вы согласились защищать Каландаришвили? — спросил начальник.

Когда я ответил утвердительно, он сообщил, что Каландаришвили только неделя как выпущен из-под двухмесячного пребывания в особой камере, куда он был посажен по распоряжению прокурора за буйный характер. И затем, понизив голос и наклонившись ко мне, сказал:

— Сидеть более полгода без предъявления обвинения — да ведь это, хоть до кого доведись, станешь буяннить!

И затем уже громко сказал:

— Приезжайте через три дня — я дам вам свидание с Каландаришвили в моем кабинете.

Нужно ли говорить, как я был обрадован!

Ровно через три дня я был в кабинете начальника тюрьмы. Лю-

безно встретив меня, он вызвал конвойного офицера и приказал привести Каландаришвили.

Когда Нестор Александрович вошел в кабинет, начальник отослал конвоира, предложил мне сесть на широкий диван и движением руки предложил сесть Нестору Александровичу, а сам стал разбирать какие-то бумаги, считать и что-то писать; казалось, он не обращает на нас никакого внимания.

Теперь мне лучше удалось разглядеть Нестора Александровича. У него была подстрижена борода, а красивое лицо показалось мне особенно спокойным и ясным. Я много узнал от него в этот раз.

Садясь на извозчика, чтобы ехать домой, взволнованный свиданием с Нестором Александровичем, я подумал о начальнике тюрьмы — хорошего человека можно встретить даже среди тюремщиков.

Дома у себя я застал Христину Леонтьевну. Со слезами слушала она мой рассказ о свидании с Нестором Александровичем. Успокоившись, она доверчиво обратилась ко мне:

— Наше «Грузинское общество», боясь, что меня могут преследовать и арестовать как жену Нестора Александровича, выдало мне документ, что я его сестра.

Еще и еще раз убеждаюсь: свет не без добрых людей.

Свидания с Нестором Александровичем то на общих основаниях, то в кабинете начальника тюрьмы, я получал почти два месяца.

Выхлопотал я разрешение на свидание и Христине Леонтьевне.

Вспоминая о Несторе Александровиче, я не могу не сказать теплых слов о его жене. Христина Леонтьевна была не только его верным другом, но и сподвижницей. Мне было ясно, что жила она для своего мужа, ради него. Она как бы растворялась в нем, жила его думами, на все смотрела его глазами. Ей было трудно, но она внешне всегда старалась быть спокойной, чтобы поддерживать духовную бодрость мужа. И только ее прекрасные глаза говорили о душевных переживаниях, я видел их сияющий блеск, когда передавал ей, что Нестор Александрович здоров, бодр и просит ее не беспокоиться, и они угасали, в них появлялась тревога, когда Христина Леонтьевна теряла надежду увидеть его на свободе.

Нестор Александрович глубоко это чувствовал и понимал, как много требовалось духовных и нравственных сил этой женщине, чтобы поддерживать его в такие тяжелые для него годы. Когда я ему говорил о Христине Леонтьевне, на лице его было так много душевной теплоты и благодарности.

Но вот однажды Нестор Александрович протянул мне бумагу. Это был обвинительный акт. К сожалению, в моем архиве он не сохранился. Помню хорошо, что Каландаришвили обвинялся в действиях, направленных на свержение существующего строя. В акте были указаны свидетели обвинения. Дело подлежало рассмотрению Иркутской судебной палатой с участием сословных представителей.

Я тут же написал от имени Нестора Александровича заявление в палату с просьбой вызвать в суд свидетелей защиты.

Спустя несколько дней дело слушалось судебной палатой в составе председателя палаты сенатора Н. Н. Еракова и членов Драницина и Мигалья. Обвинил прокурор палаты Петухин-Кошелев, защищал я.

В зале было много публики, присутствовала, конечно, и Христина Леонтьевна.

После обычного опроса подсудимого председательствующим был зачитан обвинительный акт, и Нестор Александрович на вопрос, признает ли себя виновным, дал отрицательный ответ. После привод к присяге свидетелей вначале были опрошены свидетели обвинения. Как хорошо заученный урок, они дословно повторили показания, данным

на предварительном следствии. Но когда вначале председательствующий и члены палаты, а после защитник стали задавать им вопросы, то свидетели так растерялись и до того отвечали невпопад, что стало ясно: говорят они неправду.

Тогда прокурор, видя, что у обвинения уходит почва из-под ног, стал задавать своим свидетелям наводящие вопросы, в надежде получить желаемые ему ответы, но из этого ничего не вышло, свидетели только больше запутались.

Потом стали давать показания свидетели защиты. Совершенно спокойно они говорили о том, чему действительно были свидетелями, и приводили факты, исключаяющие виновность Нестора Александровича.

Обвинение Каландаришвили провалилось — это было ясно для всех. Но что в таком случае делать прокурору? По закону ему предоставлялось право отказаться от обвинения. Но ведь это дело политическое, и отказаться от обвинения он не решился. Прокурор продолжал обвинять Каландаришвили, ссылаясь на показания свидетелей на предварительном следствии, хотя и знал, что это беззаконие может стоить человеку жизни.

И в своей речи обратил внимание палаты на то, что «неблагонадежность — это та благоприятная почва, на которой можно при желании вырастить любое обвинение — от небольшого до самого страшного исключительно».

И высказал уверенность, что показания свидетелей обвинения, или несомненно подсказанные, будут исключены палатой из судебных документов, а приняты во внимание правдивые показания свидетелей защиты, камня на камне не оставившие от обвинения.

Палата не занимается выяснением вопроса неблагонадежности подсудимого, на этом заседании даже не ставилось такого вопроса, а потому суд, когда удалится на совещание, должен забыть о неблагонадежности подсудимого и решить только один вопрос: виновен ли или не виновен Каландаришвили в инкриминируемых ему преступлениях.

И остановил внимание палаты на том, что человек более двух лет пролежал в каменном мешке. А ведь по закону арестованному в течение двух недель должно быть предъявлено обвинение или он должен быть освобожден, и только по большим и серьезным делам этот срок может быть с разрешения генеральной прокуратуры дважды продлен на два таких же срока. Следовательно, Каландаришвили могли держать в тюрьме самое большее полтора месяца. Ясно, что следовательно, и прокурор, наблюдавший за следствием, совершили уголовно наказуемое преступление. Но я знаю, что они не будут привлечены к уголовной ответственности и не сядут на скамью подсудимых, а Каландаришвили никто не вернет потерянного им в тюрьме здоровья.

После моей речи судьи ушли на совещание, длившееся более двух часов. Когда они возвратились, председательствующий зачитал приговор обвиняемого Каландаришвили оправдать и немедленно освободить из-под стражи.

Приговор был встречен рукоплесканиями переполнившей зал публики.

Итак, Нестор Александрович был неожиданно оправдан. Я долго не мог объяснить себе случившееся. Но затем пришел к выводу, что причин тут несколько. Первое: получив показания свидетелей обвинения, следователи успокоились и не старались найти других доказательств виновности Каландаришвили. Второе: вызубрив свои показания, свидетели обвинения под перекрестными вопросами до того растерялись, что стали давать ответы, вызывавшие своей смехотвор-

ностью улыбки на лицах судей. И, наконец, жестокое отношение петербургской прокуратуры к Каландаришвили, томившемуся в тюрьме больше двух лет, вызвало возмущение не только у сословных представителей, но и у судей.

Надо ли говорить, с какой радостью поздравил я Нестора Александровича с выходом на свободу! Но, пожимая руку этому мужественному человеку, я никак не думал, что пройдет совсем немного времени — и мы снова встретимся с ним... в суде.

В том же 1910 году Нестора Александровича опять арестовывают — на этот раз его обвиняют в покушении на убийство генерал-губернатора Селиванова. Спустя короткое время по этому же делу арестовывают еще восемь человек.

Но просьбе Христины Леонтьевны я был допущен к защите Нестора Александровича и еще четырех его товарищей, а мой помощник П. П. Горев стал защищать остальных.

На одиннадцатом месяце после заключения Каландаришвили в тюрьму был назначен суд.

Ночь накануне суда подсудимые провели тревожно, подъем в камерах начался раньше обычного. За два часа до начала суда все уже были построены во дворе, а в конце девятого часа их вывели на широких ворот тюрьмы под сильным конвоем, у охранников на металлических сворках были сторожевые собаки.

Не успела процессия сойти с тюремного моста, как Христина Леонтьевна и я догнали ее и поехали за ней. Христина Леонтьевна устала, ее тревожный взгляд на Нестора Александровича, медленно шагавшего во главе заключенных.

Народ с обеих сторон окружил заключенных, и когда процессия дошла до здания судебных установлений, что на площади Ивановской и ныне Пролетарской, народа набрело во много раз больше, чем арестованных и конвоиров.

К 10-ти мы были уже в суде. Из дверей совещательной комнаты вышли председательствующий П. П. Смирнов, член суда И. Г. Пестриков и почетный мировой судья архитектор Мигаль.

И тут я должен сделать небольшое отступление. Дело в том, что Смирнов был известен в юридических кругах своим либерализмом. Так, по закону суд не имел права оправдывать подсудимого, совершившего тяжкое преступление, можно было только ходатайствовать о его помиловании. А Смирнов дважды оправдывал мою подзащитную Золотареву, плеснувшую серной кислотой в своего обидчика-фабриканта. Оправдывал он и других подсудимых. Подстава Смирнову был и Пестриков, организатор первого народного театра в Иркутске. К сожалению, ни Смирнова, ни Пестрикова не было на распорядительном заседании окружного суда, рассматривавшего дело Каландаришвили, и поэтому обвинительный акт был утвержден.

Итак, суд начался. Секретарь зачитал обвинительный акт, и все подсудимые были опрошены, признают ли они себя виновными; все девять ответили отрицательно. Тогда я попросил суд разрешить мне сделать заявление.

— Ни в показаниях свидетелей, ни в прочих материалах дела вы не найдете, господа судьи, — сказал я, — никаких указаний на покушение. Свидетели говорили только о приготовлениях к покушению, но разве это одно и то же? Конечно, нет!

Ведь известно, что приготовление у нас ненаказуемо. И за иллюстрацией этого далеко ходить не приходится. Допустим, я купил револьвер, чтобы убить своего врага, но потом оставил свой преступный

умысел. Так неужели же за покупку револьвера нужно предать меня суду?

В силу изложенных мною соображений защита просит вас, господа судьи, настоящее дело производством прекратить.

После моей краткой речи суд удалился на совещание.

Но прошло и десять минут, как раздался звонок, и Смирнов зачитал определение. Сущность его заключалась в том, что в деяниях подсудимых нет ничего, что говорило бы о наличии уголовно-наказуемых действий, в силу чего суд постановил: дело производством прекратить, и всех подсудимых из-под стражи освободить.

Так позорно закончился для жандармского управления второй политический процесс Нестора Александровича Каландаришвили, замечательного революционера, легендарного народного героя.

## Новые страницы из биографии Ранжурова

*По архивным материалам*

Весной 1906 года в злоежде известную Акатуйскую каторжную тюрьму прибыла очередная партия политических заключенных. Все они были закованы в ножные кандалы. Среди них выделялся смуглым лицом азиатского типа человек среднего роста с крепким телосложением. Это был Ранжуров. Пожалуй, появление бурята было чуть ли не первым случаем в истории Нерчинской политической каторги.

Новый узник уже знаком с Акатуем. Всего четыре месяца назад в группой большевиков во главе с В. К. Курнатовским он участвовал в освобождении из Акатуйской тюрьмы революционных матросов с транспорта «Прут».

Каторга — суровое испытание для революционера. Революционный стаж Ранжурова тогда был небольшой — его привела в ряды борьбы за народное счастье буря девятьсот пятого года. Долгие годы пребывания «во глубине сибирских руд» закаляли Ранжурова, он прошел здесь серьезную школу под руководством испытанных в классовых боях большевиков.

Немногого знаем мы о жизни Ранжурова на каторге. В последнее время в архивах Москвы и Читы обнаружены новые материалы о бурятском революционере.

Прежде всего об имени Ранжурова. До последнего времени писали Цыренпил, Р. Ф. Тугутов и К. К. Балдаев, авторы брошюры «Цыренпил Ранжуров» (Улан-Удэ, 1964), предложили другое чтение — Цыренпил. Между тем в Иркутском и Читинском госархивах хранятся произведения Ранжурова, где он ясно пишет свое имя — Цыренпил; Ранжуров считал писарем, писал по-русски вполне грамотно, и здесь нет никаких описки.

В Акатуйской каторжной тюрьме содержались тогда видные чингинские большевики Павел и Борис Кларк, И. Кривоносенко, около пятидесяти революционных солдат и матросов. Политическим удалось создать ценой больших усилий библиотеку, где имелись произведения Маркса и Энгельса. Заключенные не мирились с жестоким тю-

ремным режимом, среди них велика была жажда воли, жажда свободы для борьбы с самодержавием. Осенью 1906 года заключенные сделали подкоп длиной в десять сажен. Рыли его в трудных условиях. Холщевая арестантская одежда пошла на изготовление мешочков. Мерзлую землю оттаивали разогретой чугунной гирей. Оставалось каких-то две сажени — и подкоп был раскрыт.

Отцу и сыну Кларк все же удалось бежать.

Начальник тюрьмы доносил тогда начальнику каторги: «Все мои старания создать из надзирателей помощников себе по надзору внутри тюрьмы разбиваются о более сильное влияние на них организованной арестантской коммуны».

Столкновения политических заключенных с тюремщиками стали столь частыми и угрожающими, что большинство революционных солдат и матросов в конце 1906 года было переведено в новую, Горно-Зерентуйскую тюрьму. В их числе находился и Ранжуров.

В этой тюрьме Ранжуров пробыл свыше двух лет. 10 сентября 1907 года он переводится в разряд испытываемых, а через год — в разряд исправляющихся, это означало освобождение от кандалов. Но годы каторги оказали губительное влияние на здоровье революционера. Ранжуров серьезно заболел.

10 марта 1909 года Ранжурова переводят в Алгачинскую тюрьму, отличавшуюся особенно суровым режимом. Здесь его болезнь обостряется, он чувствует себя оторванным от товарищей, от книг. 14 января 1910 года Ранжуров обращается к начальнику каторги с прошением: «Имею честь покорнейше просить Вас как своего непосредственного прямого начальника о переводе меня в Зерентуйскую тюрьму ввиду моей болезни и расстройности без книг и занятия. Однообразная жизнь доводит меня до отчаянности. В Зерентуе имеются книги. Там книги для меня представляют как духовную пищу. В Алгачах не имеется этого удовольствия». Ранжуров наивно полагал, что царские тюремщики пойдут ему навстречу. Прошение осталось, конечно, без внимания.

Спустя полтора года Ранжуров требует медицинского освидетельствования, и только после этого, 24 ноября 1912 года, его вновь переводят в Горно-Зерентуйскую тюрьму, где имелся лазарет.

Условия содержания заключенных и в Зерентуйской тюрьме были тяжелыми. Антисанитарное состояние тюрьмы вызывало вспышки эпидемических заболеваний. В 1912—1913 годах ежемесячно болело сыпным тифом по восемь-десять человек. 7 февраля 1913 года Ранжуров поступил в лазарет с высокой температурой. Стало ясно, что и он заболел сыпным тифом. Прошло несколько десятков тревожных дней, пока Ранжуров смог встать на ноги.

Несмотря на каторжный режим, Ранжуров и другие упорно учились. Г. Васильев, автор единственного воспоминания о пребывании Ранжурова на каторге («Свет над Байкалом», № 5, 1962), отмечает значительный политический рост бурятского революционера.

Наступило лето 1914 года. Срок каторги сократили Ранжурову на год с лишним, и 5 июля 1914 года он покинул Зерентуйскую тюрьму. При распределении на поселение Ранжурова назначили в Якутскую область. Проследим его путь до места поселения. 26 июля Ранжуров выезжает из Читинской тюрьмы. Вскоре он уже в Иркутской тюрьме, откуда вместо Якутской области его отправляют в Верхотенский уезд Иркутской области. 7 сентября 1914 года Ранжуров с очередной партией ссыльнопоселенцев покидает Иркутск, и 18 сентября он прибывает в деревню Заводскую Итинской волости Верхотенского уезда.

В литературе распространено утверждение о том, что Ранжуров по дороге в Иркутск совершил побег и около трех месяцев находился

на родине и в Монголии (Р. Ф. Тугутов, К. К. Балдаев. «Цырсинпил Ранжуров», Улан-Удэ, 1964, стр. 12—13). Это основано на непроверенных воспоминаниях. Если сопоставить документальные данные, Ранжуров и не мог совершить побег. Да и трудно верить, чтобы карагельная машина самодержавия оставила его безнаказанным. Что касается известной переписки о розыске Ранжурова, то она возникла по другому поводу. Как мы уже знаем, Ранжуров сначала был определен на поселение в Якутскую область, а иркутские власти оставили его в пределах своей губернии. В Якутск поступили бумаги Ранжурова, а он отбывал ссылку в глухой Илге. Вот и началась переписка о нем.

Жизнь и деятельность одного из первых революционеров-бурят изучается, но недостаточно. Следует продолжить поиски новых материалов в архивах, организовать и сбор воспоминаний. Читатели ждут полной биографии Ранжурова.

Гор. Чита.

З. ТАГАРОВ,  
кандидат исторических наук.

## Их было семеро

Это было в 1918 году.

Совершив тяжелый переход из Кяхты, отряд Калаядарипшпи приближался к Туранской заставе (Тункинское аймак). И здесь на партизан внезапно напали превосходящие силы белогвардейцев. Разгорелся неравный бой.

Партизаны решили отступить, уйти в Монды, а оттуда через горную Оку — в Иркутскую губернию и там присоединиться к своим. А те, кто прикрывал отход отряда, разбились на мелкие группы и разослались по родным местам, чтобы собрать силы и вновь пойти на врага.

Одна из таких групп из семи человек двигалась по тайге вдоль Саянских хребтов. Преодолев множество водных и горных преград, истощенные длинными переходами и голодом, люди пришли 9 сентября в поселок Подголец (ныне курорт Аршан).

В поселке в те годы в основном проживали казаки и владельцы мукомольных мельниц, которых вдоль реки Кынгарги насчитывалось около тридцати.

Но партизаны этого не знали. Спрятав в лесу оружие, они вошли в первый же дом, который стоял на их пути, не ведая, что заходят к богачу, владельцу мельницы Сорокикову Михаилу, люто ненавидимому Советскую власть.

Их встретила хозяйка. Пригласила к столу, выставила крышку с пристоквашей, нарезала хлеба. И незаметно вышла.

Не успели партизаны приняться за еду, как в дом ввалились поднимавшие богачи и казаки. Вытолкнув ребят из дому, они на улице стали зверски избивать их. Вдоволь поиздевавшись, окровавленных, они живых поволокли в лес.

Партизаны стали просить казаков отпустить паренька Сашку, которому было всего шестнадцать лет.

— А, отпустить вам еще? Сейчас отпустим! — издевались палачи. Ударами прикладов они выстроили партизан в ряд — и загремели винтовки. Палачи подходили к каждому и добивали его саблями.

Так кончилась расправа с безоружными партизанами.

А ночью из груды тел поднялся окровавленный человек. Это был

Михаил Верисов. Ему посчастливилось — когда расстреливали, он упал незадетый пулей, а во время удара конец сабли пришелся по камню, и рапа оказалась не смертельной.

Рядом зашевелился еще кто-то. Наклонившись к нему, Михаил узнал Петра Антонова.

Убедившись, что остальные мертвы, Верисов с Антоновым поклялись отомстить за них и медленно пошли по какой-то тропе.

К рассвету они добрались до улуса Тагархай, который находился в двух километрах от места трагедии. Постучались в юрту. Дверь открыл старик-бурят. Это был Убуша Ганухаевич Хоборков.

Старик сперва перепугался при виде окровавленных, едва державшихся на ногах людей. Но узнав, что это партизаны, помог им войти в юрту и напоил чаем.

Оставаться в юрте было опасно — могла нагрянуть погоня, да и просто мог зайти кто-нибудь чужой. Хоборков спрятал партизан в стоге сена и поехал в Койморскую управу сообщить о ночных гостях.

Наступил день. К юрте подъехали Убуша Ганухаевич, староста управы Макар Базарович Улукшенов, секретарь Василий Иванович Никулин и еще трое всадников. Расспросив партизан, они повезли их в Коймори.

Здесь раненым большую помощь оказала партизанка, сестра милосердия Ольга Леонтьевна Могилева.

Петр Антонов от тяжелых ран скончался, а Михаила Верисова, когда он поправился, Улукшенов и Никулин тайком переправили к своим.

Прошло время, в Тункинской долине прочно установилась Советская власть. В 1920 году в Аршане разместился военный госпиталь. Боец Изот Максимович Булдаков шел как-то в 1922 году по лесу и недалеко от Аршана наткнулся на спрятанные под колодой семь винтовок, три подсумка с патронами и нож. Находку он сдал начальнику госпиталя. Так через четыре года оружие партизан вновь было обращено против врагов.

Мы знаем имена четверых — это Верисовы Михаил и Василий, Петр Антонов и шестнадцатилетний Саша Закис. Имена остальных нам пока неизвестны. Но народ знает, что они были верными сынами Отчизны.

На месте давней трагедии — братская могила. Поклониться праху погибших приходят и убеленные сединами старцы, и совсем молодые люди, и звонкоголосая детвора.

Ушли из жизни Хоборков, Улукшенов, Никулин и Могилева, с риском для жизни спасавшие партизан.

До наших дней дожил лишь один участник тех далеких событий — Дамдип Убушеевич, сын Хоборкова, помогавший отцу укрывать партизан. Сейчас он пенсионер, живет в Улан-Удэ.

Курорт «Аршан». Бурятия.

С. БУХАТЕЕВ.



Нелли ЗАКУСИНА



Нелли Закусина живет в Улан-Удэ недавно. Лишь год назад она окончила Новосибирский институт и сейчас работает архитектором «Промпроекта». Стихи пишет со школьной скамьи, публиковалась в газетах Новосибирска, Кемерово, Барнаула, в журнале «Сибирские огни». Ее выступления по Улан-Удэнскому телевидению, а также на Неделе Бурятской литературы и искусства в Мухоршибири запомнились нашим любителям поэзии, покорили откровенностью, душевностью. Нелли пишет и о любви, и о природе, пишет заинтересованно, как может писать только очень добрый, очень глубоко чувствующий человек. Но настоящие удачи, видимо, ожидают ее в стихах типа «Музыка за стеной». Здесь она наиболее оригинальна, потому что, как архитектор, может сказать о домах, о городах, о созидании нечто свое, предельно личное и потому безусловно значимое.

## НАРИСОВАННОЕ

Мой любимый тот город создал на картоне.  
Город в охре, как в солище расплавленном тонет.  
Вечерами у этой картины сижу,  
в дом, что справа растет, я тихонько вхожу.

Там никто не живет...

Мой любимый высокий обрыв рисовал  
весь из синих и медно-коричневых скал.  
Вечерами на берег обрыва хожу  
и с сбрыва на море гляжу да гляжу.

Там никто не плавает...

Мой любимый меня на картон перенес,  
я спала, не расслышала криков и слез.  
Опустела квартира, затих телефон,  
Мой любимый меня на картон перенес,

Не рисует,  
не ест  
и не пьет.

## Музыка за стеной

Там,  
за стеной,  
играла музыка  
и очень тихо было здесь.

Наш старый дом страдал от мудрости  
невыносимой, как болезнь.  
А, в общем, было все сп койненько  
барометр сломанный висел  
Как будто вынесли покойника,  
но в доме были живы все  
Как будто навсегда отчалили  
все корабли,

все поезда...  
И никогда здесь не скандалили,  
и не любили никогда.  
Дом открывал послушно двери,  
хозяев молча провожал,  
уже он многому не верил,  
но все еще чего-то ждал  
То нервы пншущей машинки.  
то сигареты робкий свет.  
дом видел новые морщинки.  
дом видел новые ошибки  
и тихо старился в ответ.  
А за стеной

играла музыка.  
(Стена отчаянно тонка).  
И надо было меньше мудрости,  
и надо было больше мужества,  
чтобы не стариться пока.



Видишь, я стою  
вся перед тобою.  
Видишь, плечи светятся,  
как кусочки сахара...  
Пропади я пропадом со своей  
любовью,  
пропади я пропадом со своим  
характером!

Верю,  
как язычица, в собственное  
творчество,  
бусами да кольцами его задариваю.  
Забываю, кто же я,  
по имени-по отчеству;  
верю метафизикам  
и не верю Дарвину!  
Становлюсь любимую...  
и не современную,  
жертвоприношением  
становлюсь сама.  
Каждый раз — невинною,  
каждый раз — неверною,  
становлюсь мудрее  
и схожу с ума!  
И брожу, —  
безумная! —  
да все по краю кратера,  
то ли с царским скипетром,  
то ли с сумой...  
Пропаду я пропадом со своим  
характером,  
пропаду я пропадом.  
И ты со мной!

\* \*

Я не умею плавать...  
долго ль до беды,  
но часто ночами снится  
мне много-многого вода,  
И плаваю, будто рыба,  
с мокрым счастливым лицом,  
а мне говорит соседка,  
что не к добру мой сон.  
А вода все чаще закатная,  
мягкая и черная,  
и с плеч моих звезды катятся,  
крупные, влажные зерна.  
И застывают на коже  
в горячую белую соль.  
Я как-нибудь брошусь в воду,  
забуду,  
что это не сон.

\* \*  
\*

Александру ПЛИТЧЕНКО.

Мне подарили слово «Облоконь»,  
не объяснив к отраде нль беде,  
но бьет оно копытом будто белый конь  
под богом-незидимкою Сульдз!  
Еще мне подарили слово «Яблоконь»,  
прислали, просто так, издавека...  
Но вижу! Как полощет гривой серый конь.  
под яблоней стоит без седока.  
И ждет, и умоляет, и беснуется,  
косит красноречиво на меня,  
но сердце не по правилам любит  
на занятого белого коня.  
Пусть. Я нимало этим не встревожена  
гуляй, мой конь, вспоенный для меня,  
для этого тебя и не стреножила,  
чтоб сам ушел,  
чтоб мне не прогонять.  
И он ушел...  
Но следом лошадь белая  
за ним ушла,  
как верная собака.  
Живу с тех пор и ничего не делаю.  
...Жестокие подарочки, однако.

\* \*  
\*

Будет поезд синей птицей  
и сентябрьским листком.  
У вагона проводница  
с фиолетовым флажком.  
Будет поезд между сопок,  
мимо озера Байкал.  
И в вагонах, будто в сотах,  
лица всех, кого искал.  
Будет поезд, полный смеха,  
будет поезд, полный слез.  
Говорят он был.  
Уехал...  
Всех собрал и всех увез.



# ИДОЛ

## Языческая поэма

1

— Земля моя! Что у тебя за песня? Тайга моя! Что у тебя за сказка?

— Моя песня — нефть. Моя сказка — газ. Загадка моя — это я сама, — так кратко ответила тайга, не обращая внимания на яркие сполохи северного сияния.

Я не стал больше спрашивать, ведь шла вторая половина сложнейшего XX века.

Люди были героями — покорителями природы и космоса. Я решил пройтись и послушать...

Заледевшая земля проснулась от спячки вековой. Она горячо дышала, снимая с себя тяжелую шубу из густой тайги, опоясываясь железными дорогами и трубопроводами. Она гудела под железными копытами нового кочевия. Снята от радости на девала на себя, как драгоценности, переливающиеся огнями города... А герои шли, шли, шли. Шли в пургу, в мороз, в зной. Продираясь сквозь таежные чащи, топкие болота, голую тундру, они шли, шли, шли. И я был вместе с ними. Я тоже был героем. И мои уши глохли от железного дязга, от рокота моторов. Не все я мог услышать. И мои глаза слепли от резкого света — огней: не все я мог увидеть. И я летал на птицах из металла, обгоняя время, не ощущая вращения Земли.

Но как-то раз я услышал плач, который вы не могли услышать:

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!

Люди!

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!

Люди!

Если вы еще не оглохли

От жизни, что несется железной птицей —

Послушайте меня.

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!

Услышал я это в верховьях Безымянной речки, где бульдозерист, расчищая место для нового селения нефтяников, увидел почти развалившуюся избушку на «лосиных» ножках. Ее охраняли самострелы, что выглядывали меж древних кедров и лиственниц, ее охраняли плосконосые идолы, окружавшие поляну... Удивленный бульдозерист вытаскивал из избушки черные от старости деревянные сабли и стрелы, лоскутья материи, шкурки каких-то зверей, маски из бересты, монеты серебряные и золотые, медные амулеты с таинственными орнаментами, цепочки, железки и, наконец, странную куклу в собольей шапке, в одежде, расшитой цветными сукнами, серебром и золотом. Он небрежно побросал все это в снег. И, поразившись всей этой дикости, расхохотался. А я снова услышал плач.

Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!

Нет, я не нищий! Я не холоп!

И это вы передо мной ломали

Свои собольи шапки,

А не я перед вами,

Это ваши молитвы,

Как легкие снежинки,  
 Опадали к моим стопам.  
 Это ваши глаза были полны озерами слез.  
 Или вы это уже запомнили?!  
 Ваши души были темными пещерами,  
 Полными страха и сомнений.  
 Вы шли ко мне —  
 И только я успокаивал вас!  
 И это все вы в своей памяти  
 Засыпали мусором,  
 Заращали травой?  
 Неблагодарные!  
 Вспомните:  
 Уши мои — это два  
 Острослышащих ворона,  
 Глаза мои — это два  
 Зорко видящих ястреба,  
 Лишь вздрогнут священные деревья  
 С семью лоскутками материй,  
 Что повешены как жертвоприношения, —  
 И я уже слышу.  
 Лишь качнутся священные деревья  
 С шестью лоскутками материй.  
 И я уже бегу на ваш крик и зов.  
 Бегу ногами семи лесов  
 Из-за семи гор,  
 Сквозь ливни и белый ветер  
 Бегу в вашей памяти.  
 Колющийся шиповник семи грив,  
 Колющиеся ветки семи лесов  
 Расчесывают мои наряды  
 Из осенних оленьих шкур.  
 Вы шептали мне о своей беде  
 Устами еле дышащего, языкастого зверя.  
 Для вас я был самым могучим,  
 Самым великим на свете.  
 Я опускался туда, под землю,  
 Где мамонт и где дух зла Куль...  
 Я уплывал туда,  
 Где плавают водяной Виткась.  
 Лишь я мог быть рядом с небом и чертом.  
 И не боюсь я топей, где ноги ваши вязнут.  
 И нет такого места на земле,  
 Где бы ослабели мои руки.  
 Во имя меня одного  
 Вы проливали кровь  
 Лучших белоснежных лошадей.  
 Оленей круторогих  
 Вы приносили в жертву,  
 Возвышая меня над всеми духами, восхваляя мое имя  
 Вы все еще не можете  
 Вспомнить?!  
 Как коротка ниточка вашей памяти!  
 О, как вы ничтожны!  
 Да ведь это же вы  
 С своим коротким умом  
 Создали меня,  
 И своими живыми руками  
 Меня вы вырубili из дерева —  
 Из долговечной лиственницы.  
 Да, я — деревянный идол!  
 Да, ваш — дух!  
 Да, ваш — бог!  
 Я — ИДОЛ!  
 ВЫ — ИДОЛОПОКЛОННИКИ.

И я стал вспоминать.

Да кто не тот ли самый идол, которому поклонялся мой дед и прадед? Уже не тот  
 и этот идол, который в детстве и на меня наводил ужас? И сердце мое маленькое  
 трепетало, как рыбка в широкой ладони рыбака! Но русская учительница вывела ме-  
 ня из-под чар этого идола и указала мне дорогу, по которой я и пошел...

Тропинку, ведущую к идолу, мансийский народ стал уже забывать. А, может быть в нас этот идол все-таки не умер? Ведь все тогда стали поклоняться другому. Хотя он был и человек...

Отчего все это так случилось? Неужели мы в самом деле были другими? Ветерозашелестел под ухом, и, какой-то глуховатый голос раздался из гробовой тишины:

Не на Луне, а на Земле  
Стояло капище мое!  
Посреди неподвижных кедров  
Стояло капище мое?  
На четырех ногах, вросших в землю,  
Стояло капище мое.  
Среди хвоя торчали  
Острые клювы птиц и стрелы,—  
Стояло капище мое!  
Посреди семи исполинов учи<sup>1</sup>,  
Чьи глаза выглядывали из шерсти,  
В капище моем сидел я...  
Тридцать сабель стальных  
Дремали в капище моем.  
Тридцать масок из бересты<sup>2</sup>  
Плясали в капище моем.

В шелках заморских, в собольей шапке.  
Сидел я в капище моем.  
Лицом из дерева, глазами из дерева  
Я глядел на вас,—  
Стояло капище мое.  
На четвереньках ко мне ползли вы —  
Стояло капище мое.  
Не только оленя, но и себя  
Принести могли бы в жертву,—  
Стояло капище мое.  
Вы могли бы к ногам моим  
Принести планеты —  
Стояло капище мое.  
Подхалимы всех слаще молились —  
Стояло капище мое.  
Злые языки за зубы прятались —  
Стояло капище мое.  
Вверх ногами не ходили —  
Стояло капище мое.  
Бранью тайгу не оглашали —  
Стояло капище мое.  
Даже звери не рычали —  
Стояло капище мое.  
Вы глухарями быть старались —  
Стояло капище мое.  
Вы слепыми притворялись —  
Свой язык вы обрезали —  
Лишь быть бы в капище моем!  
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Йо!  
Стояло капище мое.

Да, это был тот самый идол, которому поклонялись мои предки. Я увидел обстригавшее деревянное лицо, глаза, брови. Когда-то от этого взгляда обмирало все живое.. А теперь...

### 3

— Пуху! Пу-ху! Пу-ху!  
Стонет филин где-то.  
Пу-ху! Пу-ху! Пу-ху!  
Стонет где-то рядом.  
— Карр! Карр! Карр!—  
Каркают деревья,  
Набитые дочерни вороньем.  
— Халэв лэх-лах, лах-лах.  
Лэх-лах, лах-лах, лах-лах!—  
Хохочут, заливаясь, чайки.

<sup>1</sup> Учи — великаны, злые лесные духи. Их высокие пашки сделанные из копыт и хвостов, хранятся в избушке рядом с идолом.

<sup>2</sup> Там же хранятся маски из бересты, которые надевают во время религиозных представлений.

— Тырр, Чирр, Тырр, Чирр,—  
потрескивают хвостами сороки.

— Ха-ха, хи-хи, хо! —  
хихикают птички-невелички.  
Пуху! Пу-ху! Пу-ху!  
Карр! Карр! Карр!  
Тырр-чирр-тырр!  
Халэв-лах-лах!  
Ха-ха, хи-хи, хо!

Необужденная тайга пела, ухала, стонала. Трудно было отличить голоса певчих от рычания зверей, стука топоров, жужжания бульдозеров.

И, кажется, лишь одно поседевшее дерево, склонившееся под тяжестью снегов, удивленно удивлялось:

4

Отчего вы раскричались,  
Вдруг прозрели?  
Уши ваши ловят слухи,  
И язык метет  
Во все стороны как метла?  
Отчего вы вдруг проснудись?

И над развороченным снежным настом плыл долгий стон:

5

Черви зашевелились в бревнах —  
Свалилось капище мое.  
Соболью шапку крысы съели —  
Свалилось капище мое.  
В моих шелках вьют гнезда мыши —  
Свалилось капище мое.  
В лицо мое помет хидают  
Длиннохвостые сороки —  
Свалилось капище мое.  
Деревянные глаза мои  
Клюет не дятел-работяга,  
А сам черный-черный ворон —  
Свалилось капище мое.  
Что в глазах моих он ищет?  
Что можно найти в деревянных?  
Хочу шепнуть ему,—  
Но смогу ли? —  
Свалилось капище мое.  
Кай-о! Кай-о! Кай-о! Ио!  
Свалилось капище мое.

Время прорастает сквозь мою память. События середины нашего века несутся в веселой пляске<sup>1</sup>, мелькают «маски из бересты»<sup>2</sup> и лица знакомых. А вот особенно запомнилось. Оно каждый день плясало в газетах. А сегодня оно застыло в немом вопле.

6

Мне б хотелось, мне б хотелось,  
Вкруг меня чтоб все вертелось,—  
Чемоданы, миски, чашки,  
Петухи, орлы, букашки,  
Корабли, огни, газеты,  
Гимны, звезды и конфеты,  
Сталь, ракеты, черви, стрелы.  
Зам. министры, управделы,  
Мамонты, шайтаны, блохи,  
космонавты, скоморохи.

<sup>1</sup> «Медвежий праздник» — праздник охотников после убийства медведя, с песнями, танцами, сатирическими и драматическими представлениями.

<sup>2</sup> «Маски из бересты» — на медвежьем празднике лица, участвующие в сценических представлениях, выступают в берестяных масках с длинным носом. «Маска из бересты» еще вынесет, можно высказывать любую критику.

Волки, идола, матросы,  
солнце, пьяные, березы.  
Так чтоб шлюхи и герон  
Были за меня горою.  
Мне б хотелось, мне б хотелось,—  
Вкруг меня чтоб все вертелось.

7

Я мансийский деревянный идол.  
Я сегодня уже умираю.  
Мои деревянные сабли,  
стрелы мои деревянные,  
Я их к вашим ногам кладу.  
Богатство мое — леса мои,  
Где звери с пушистыми хвостами играют, как дети  
Я вам отдаю навеки.  
Реки — вот мои сокровища.  
Там рыбы со своими жирными боками  
Скользят по гладким бокам волн —  
Я отдаю вам свои реки.  
Недра — вот моя тайна.  
Там клокочет жидкое золото.  
Я вам его отдаю.  
Деревянные мои сабли,  
деревянные мои стрелы...  
Опасен ли я для вас?  
Я — мертв, а вы — живы.  
Возможность моего зачатия  
Таится в вас самих.  
Я — идол. Я — мертв.  
Вы идолопоклонники —  
Вы остаетесь жить.  
И в ком-то из вас  
Я проснусь.  
Вы так любите кланяться,—  
ох, как любите!  
Свои тяжкие грехи,  
Как деревья со снегом,  
Валить вы любите на других.  
А думать сами не любите:  
— Пусть боги думают за нас:  
Пусть они ворочаются ночью с бока на бок.  
Пусть они ломают свои мозги!  
А мы кто, так — червяки,  
Прикажут — подточим, просверлим,  
Вечные идолопоклонники,  
Вы меня можете снова родить  
И вынянчить в люльке  
В золотой, в солнечной.  
И новое имя мне дадите.  
Я — идол. Я умер.  
Но опасность моего рождения  
Таится в вас самих.

8

Под лиственницей юной  
Не растут стрелы.  
Кай-о! Кай-о! По!  
Под лиственницей древней  
Мой самострел истлел.  
Кай-о! Кай-о! По!  
Под лиственницей юной  
Пусть трава растет.  
Кай-о! Кай-о! По!  
Под лиственницей древней  
Пусть шапка моя истлеет.  
Кай-о! Кай-о! По!  
Но только прежде я вам скажу:  
Кай-о! Кай-о! По!  
На будущее накажу:

Кай-о! Кай-о! Йо!  
 Не вырубайте из полена  
 Мое изображение!  
 Кай-о! Кай-о! Йо!  
 Не надо лепетать мое имя!  
 Кай-о! Кай-о! Йо!  
 Не возносите меня до небес.  
 Кай-о! Кай-о! Йо!  
 Не уносите меня в лес священный...  
 Кай-о! Кай-о! Йо!  
 Чтобы потом меня же ругать.  
 Ой-о! Ой-о! Йо!  
 Чтобы потом опять меня же топтать.  
 Ой-о! Ой-о! Йо!  
 Быть среди вас святым  
 Ой-о! Ой-о! Йо!  
 Будьте сами святыми  
 Кай-о! Кай-о! Йо!

Перевод с манси Е. Винокурова.



## ПРОНИКА ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ БУРЯТИИ

*продолжение*

1945

В Улан-Удэнской средней школе со своими стихами ученик Фронтоник И. А. Палиевич. Завершена война против фашистского В газетах напечатан Ч. Цыденламбаева, Ц. Галсан-Наранга и многих других, по- выбоды.

На Ямале на печати поэма Ч. Цыденламбаева «Гвардеец» (раньше в «Цырни»), посвященная воинам Отечественной войны.

01.10. На войне с японскими самураями литературовед и фольклорист Камгалалов (родился в

на Ленина Бурят-Монгольском музыкально-драматическом театре состоялась премьера историко-бытовой пьесы Х. Намсараева «Кнут тайши».

1946

10 ФЕВРАЛЯ. Хотя Намсараев избран депутатом Верховного Совета СССР.

25 ИЮНЯ. Состоялось общее собрание писателей БМАССР. Собрание освободило ответсекретаря правления ССП БМАССР Д. Линхобоева от занимаемой должности и избрала ответсекретарем тов. Зугеева.

В СЕНТЯБРЕ. Состоялось общее собрание писателей с участием интеллигенции города, где с докладом «О постановлении ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» выступил секретарь ОК ВКП(б) А. Казаков.

10—16 ОКТЯБРЯ. Иркутский поэт Анатолий Ольхон посетил г. Улан-Удэ в связи с переводом стихов бурятских поэтов на русский язык.

И. МАДАСОН.

## БОГИ ПРИХОДЯТ ИЗ КОСМОСА



Анализ современных нам мифов и легенд, возможно, помог бы ответить на интереснейший вопрос о том, как мы должны относиться к знаниям далеких предков.

Мировоззрение наших предшественников было в основном религиозным. А религия — это одна из форм общественного сознания. И, как ни странно это звучит, эволюция именно этой формы мировоззрения больше всего связана с эволюцией космологических воззрений человечества.

По мере расширения знаний о мире человеческие воззрения все более приобретали «космический» характер. Закономерности этого процесса еще непознательно выявлены и не до конца рассмотрены. Между тем, вступление человечества в космическую эру подсказывает нам некоторые пути и критерии для оценки прошлого.

Так как же смотреть на мифы и легенды? Считать их бесспорной выдумкой до сих пор умозрительности? Или видеть в них отражение конкретной реальности, искаженной воображением и недостатком знаний у древних?

### „Чудо из чудес“

...Конец XIX столетия. Нижегородская ярмарка. Какой-то иностранец демонстрирует одну из первых моделей автомобилей. Среди зрителей — русский крестьянин. Вернувшись с ярмарки в свою деревню, он рассказывает:

«Видал на ярмарке чудо из чудес. Четыре колеса, задок, передок, козлы. В общем, телега не телега, а как бы тарантас. На колесах немец какой-то сидит со стриженной бо-

родой. Только дело-то не в том. А в том дело, что лошадей нет. Будто сам тарантас ходит. Внутри в нем не иначе чорт сидит. Дышит смрадом, так что православного, человеку со свежего поветрия и дышнуть нечем. А когда сердится чорт — чихает, ажно искры летят».

Перед нами миф, в котором легко просматривается «рациональное зерно»: «четыре колеса, задок, передок, козлы... лошадей нет» и т. д.

В эпоху, когда автомобиль проник в самые отдаленные уголки земного шара, уже трудно представить, чтобы человек свинивал автомобиль с нечистой силой. А на заре автомобилестроения это было вполне возможно.

Обратимся к другому примеру, еще более позднему.

Несколько лет назад демонстрировался документальный итальянский фильм «Бабаья жизнь». Группа европейцев обнаруживает на отдаленном острове в Тихом океане племя, не зафиксированное этнографией. Европейцы удивляются его необычной для этих мест религии — бог племени летает по небу. Туземцы объясняют, что раньше у них была другая вера, но однажды они увидели, как по небу пролетел шумом и треском бог. «А на что похож этот бог?» Туземцы показали на капище своего «бога». Он предстал в виде грубо сделанной модели... самолета!

Перед нами опять-таки миф и его «рациональное зерно», поддающееся конкретному рассмотрению.

### Культ карго

В английском языке слово «карго» означает груз, перевозимый кораблем.

Некоторые островные народы Тихого океана убеждены, что настанет такое время, когда на огромном корабле вернутся их предки и привезут с собой карго, в котором будет все необходимое для жизни. А затем, обратившись к книге Питера Уорсли «Когда вострубит труба. Исследование культа карго в Меланезии» (М., 1963), Ави пишет о возникновении на островах южной части Тихого океана «многочисленных весьма своеобразных религиозных движений, которые появились там за несколько последних десятилетий». С одной стороны, эти движения возникли под впечатлением распространявшегося миссионерами христианства, с другой — под влиянием мифов, чисто языческих представлений. Оби-

ОТ РЕДАКЦИИ Многие положения статьи доцента Минского университета В. К. Зайцева представляются нам спорными. Однако мы считаем, что нашим читателям будет интересно познакомиться со смелой и интересной гипотезой о некоторых страницах далекого прошлого человечества, с оригинальной попыткой материалистического объяснения многих сторон христианства и других религиозных культов.

«какой-нибудь пророк возвещает близкий конец света и наступление мирового разрушающего катаклизма. На землю вернутся предки, боги или какой-нибудь божество; они принесут с собой возжеланные блага, и тогда наступит царство нового блаженства».

Сразу же после такой впечатляющей проповеди люди приступают к действию—создают культовые организации, проводят массовые пляски и строят на берегу причалы для амбаров для карго.

На протяжении десятилетий (культ карго возник в XIX в.) многое меняется в характере движений—из чисто мистических эволюционировали в антиколониальные. Но один момент остается неизменным—туземцы непременно ждут корабля и карго, в котором будут продукты, предметы быта, ножи, топоры, набедренные побрякушки. В годы обострения ненависти к белым добавлялись еще ружья—их тоже получали предусмотрительные предки.

Когда к одному из островов Меланезии пристал первый корабль, он, несомненно, произвел неизгладимое впечатление на туземцев: гремела якорная цепь, отдавались команды, выгружались тюки и ящики с товарами. Необычность увиденного и обилие товаров гипнотизировали глядевших с берега людей. Это обилие, в сочетании с христианской проповедью, могло породить мечту о некоей разновидности потребительского «коммунизма», когда всего будет вдоволь для всех, когда будут сказочные урожаи и бесчисленное количество свиней. Голы стояли десятилетиями, а картина оставалась в памяти, став центральным образом культа.

Уорсли пишет, что неудовлетворенные ожидания и обманутые надежды меланезийских племен (десятилетия проходили, а карго все не было!) в условиях возросшей ненависти к белым могли породить представление об утайке белыми товаров, «принадлежащих по праву островитянам». Значение этого представления объяснимо, если исходить из конкретных условий жизни на островах. У туземцев в результате соперничества с белыми быстро развивались потребности в европейских товарах. Но эти товары можно было получить только разово на белых, покинув свои родные места. Туземцы были уверены, что европейцы сами товаров не производили, а получали их с пароходов, прибывавших из неведомых стран. Причем, белым, как думали туземцам, и не надо было работать, т. е. они получали все в обмен на какие-то бумажки. Оставалось тайной, кто именно производил товары, где и каким способом производил. Видимо, товары делали предки.

Туземцы строили специальные культовые храмы. Одной из особенностей ритуала было использование флажштоком, который якорем, помогает вступать в сношения с духами. На одном из островов этот ритуал был подражанием беспроволочному телеграфу «Англо-Иранской нефтяной компании». Один флажшток был оснащен «антенной» с «проводкой» из гротника и «кабелями

оператора» на концах. По мысли устроителей этой «радиомачты», сооружение предназначалось для связи с пароходом, на котором привезут карго.

В нашу задачу не входит анализ идеологии культа карго. Нас интересуют только те моменты, которые прочно вошли в основу самого культа и в его ритуал.

Нельзя ли, пользуясь методом выявления «рационального зерна», осуществляя реконструкцию реальной картины, попытаться рассмотреть некоторые древние мифы, легенды и представления, подчеркивая в них «узнаваемые» моменты?

## Визиты из Космоса?

Сопшемся на известного английского ученого, исследователя истории религии, Джеймса Джорджа Фрейзера (1854—1941). Он считал «грустным и в некоторых отношениях неблагоприятным трудом» свою деятельность, состоящую в том, чтобы «посвятить на основы верований, в которых, как а прочной башне, надежды и утешения человечества в течение долгих веков искали убежища от бури и ярости жизни». Фрейзер, как известно, пользовался сравнительным методом изучения исторических фактов, мифов и легенд. Он верил, что «рано или поздно атака сравнительного метода пробьет брешь в... почтенных, покрытых плюшем, мхами и дикими цветами стенах тысяч представлений и священных ассоциаций».

Но Фрейзер прекрасно понимал, что в эпоху, когда были написаны приведенные нами слова (а мы их позаимствовали из вышедшей в 1900 г. его книги «Золотая ветвь»), было еще рано говорить о радикальных выводах и коренных изменениях в некоторых мировоззренческих вопросах. Он писал: «Ныне мы лишь выдвинули пушки на позиции, они только еще начали говорить». Ученый справедливо полагал, что время для принципиальной переоценки знаний и представлений древних людей еще наступит.

Труды Фрейзера изобилуют ценными фактами, а выводы, сделанные им из этих фактов, выглядят ныне явно недостаточными. Впрочем, автор сам трезво оценивал их и относил к разряду гипотез, говоря: «Гипотезы—необходимые, но часто временные мосты, построенные для связывания изолированных фактов. Если мои легкие мосты рано или поздно разрушатся или будут заменены более солидными сооружениями,—я надеюсь, что моя книга еще может иметь пользу и интерес как реестр фактов».

Обратимся к другой книге Фрейзера—«Фольклор в Бетхом завете». Из нее мы узнаем, что начальная страница истории всех народов Земли—континентальных и островных, народов цивилизованных и стоя-

щих на обочине центральной магистрали исторического прогресса, — связана с предствлением о богах, приходивших с неба. Боги жили среди людей, преподносили им первые знания, помогали бороться с антагонистическими силами природы, были первыми советчиками людей, законодателями и установителями морали.

Подобные представления очень устойчивы в мировом фольклоре. По всей вероятности, они связаны с первобытным политеизмом, многобожием, отражавшим эти представления. Но как же сложились подобного рода политеистические воззрения? Под воздействием каких событий люди обратили свой взор к «пустому» небу и прикрепили свое внимание к небесной сфере? Каковы те пути, по которым развивались астральные взгляды человечества? Если не было никакого сошествия «богов» с неба, то как, из чего возникли образы, легшие в основу многочисленных мифов и сказаний, существующих у всех народов земного шара?

А может, такие сошествия были? Вся сложность вопроса состоит в том, кого подразумевать под богами. В эпоху Фрейзера ответ на последний вопрос был невозможен. Но вступление человечества в космическую эру принесло такие мысли, факты и образы, которые позволяют посмотреть на некоторые старые вопросы с новых позиций.

Космической эре мы обязаны расширением сферы наших представлений о «внешнем мире», о «макрокосмосе», о вещах и явлениях, лежащих за «внешним кругом». С позиций расширившихся знаний мы можем пересмотреть свое понимание многих вопросов, связанных с прошлым.

Космическая эра утвердила нас в правильности древней мысли о населенности Космоса. Она принесла нам представление о том, что Земля — не единственное во Вселенной прибежище Жизни и Разума. Космическая эра позволила сделать предположение, что Земля связана с внешним Космосом прочными нерасторжимыми узами, что она находится в сфере постоянных внутриалатических контактов. Последнее предположение было высказано еще К. Э. Циолковским и Н. А. Рыковым. В наше время оно переросло в мотивированную гипотезу о посещаемости Земли представителями высокоразвитых внеземных цивилизаций. Разрабатывается эта гипотеза рядом ученых как в СССР, являющемся родиной гипотезы, так и за рубежом (М. АгREST, А. Казанцев, К. Саган, Р. Пинотт и др.).

По этой гипотезе Земля во все периоды своей истории находилась в сфере космических контактов, которые не могли не наложить отпечаток на ее развитие. Религия как форма общественного сознания своего времени, видимо, сложилась непосредственно под впечатлением и влиянием этих контактов. Можно полагать, что в основе религии заложен комплекс определенных знаний, но эти знания были искажены человеческим восприятием и поставлены на службу себе господствующими группами людей.

Религия — форма передачи информации, единственно возможная для древних времен. Это для своего времени наиболее до-

ступная форма «программирования» земного человечества на дальнейшее развитие.

Современная наука уже не сомневается, что Земля когда-то (12—13 тысяч лет назад) пережила сокрушительную катастрофу, которая уничтожила старую цивилизацию и большую часть человечества. Легко предстать, что оставшиеся на Земле люди уже в третьем поколении стали дикарями. Современная цивилизация необыкновенно молода. Археология считает, что наша цивилизация насчитывает всего около семи тысяч лет, в течение которых она проделала огромный путь фактически от нуля до выхода в микро- и макрокосмос. Этот путь за столь короткий срок можно было предельно, нам кажется, только с какой-то внешней помощью. Возможно, некая космическая цивилизация помогает нам, осуществляя скрытое (а иногда, на переломных этапах нашей истории, — открытое) «программирование» человечества.

Говоря о первобытных «богах», исходящих с неба, мы легко можем связать их с нашими космическими пришельцами. В самом деле, если в истории Земли были подобные события, то они должны были вызвать к жизни представление о Высшем разуме во Вселенной. В материалистическом понимании Высший разум можно трактовать как высокоразвитую и высокоорганизованную жизнь некоторых планет, опередивших в прогрессе Землю. У древних же это представление приобрело мистическо-религиозный характер и в результате длительных модификаций переросло в понятие бога.

В рассуждениях о периодичности приливов на нашу планету для открытого «программирования» мы можем предположить в качестве исходных точек два срока за период «писаной» истории: 1) в эпоху, отстоящую от нас примерно на сорок веков, когда в некоторых районах земного шара стало складываться так называемое астральное мышление, и вместо земных «богов» появились небесные; 2) на грани двух ледниковых числений, на заре нашей эры, когда, с одной стороны, начинается длительный процесс смены формаций, вместо рабовладельческого строя начинает возникать более прогрессивный, феодальный строй. С другой стороны, в это же время почти полностью прекращается развитие материалистической науки и философии и начинается тысячелетнее царство идеализма в его наиболее консервативном выражении — в виде богословия.

## «Господнее откровение»

Ранние космические контакты могли усилить агностическое начало в земных людях: поскольку в небо не проникнешь, значит, только путем личного «общения с богом», путем «откровения свыше» можно познать тайны Вселенной.

Смысл термина «господнее откровение» может быть объяснен рационалистически, только как результат различного рода кон-

«земляне» с «небожителями». В этой связи следовало бы осуществить попытку переоценки старой концепции шотландского фольклориста Эндрю Лэнга (1844—1912), первым обратившего внимание на образы «небесных богов» в религиях некоторых народов Земли. В своей книге «Созидание религии» (1898) он пришел к выводу, что образы этих богов, «делателей», невозможно связать с анимистической, широко в то время распространенной, теорией, что они имеют какое-то другое, необъяснимое происхождение.

Продолжением взглядов Лэнга можно считать воззрения австрийского этнографа и лингвиста Вильгельма Шмидта (1868—1954), автора концепции прамонологизма. В 12-томном исследовании «Происхождение идеи бога» (1912—1955) он развернул мысль о «первобытном откровении», которую стремился доказать фактами этнографической науки. Он считал, что монотеистическая вера, вера в бога-творца, могла сложиться в древнейшие времена под впечатлением «откровения». По Шмидту, подобная вера, не испорченная магическими и мифологическими наслоениями, дошла до поздних времен у некоторых племен Африки, у остальных народов юго-восточной части Азии и у туземцев Австралии.

Некоторые знания древние действительно могли получить в результате «откровения», т. е. контактов с представителями более высокой цивилизации.

Что же могли воспринять земляне от «небожителей»? Принцип радиосвязи, телевидения, синтезирование продуктов питания? Двигатель внутреннего сгорания, огнестрельное оружие или что-либо другое? Ничего из подобных вещей!

Принцип рычага первого и второго рода, шток, колесо, блок, способ добывания огня трением — люди могли воспринять (если, конечно, они сами постепенно до этого додумались).

Элементарные сведения о Вселенной, о природе, о человеческой жизни, о способах добычи пищи, ряд абстрактных понятий, представление о первичной этике и морали — люди могли воспринять.

Есть два взгляда на нашу цивилизацию. Один из них сводится к тому, что она выросла из себя знания предыдущих цивилизаций Земли, погибших в результате больших катаклизмов (смотри, например, А. А. Горбатовский. Загадки древней истории. М., 1966). Другой взгляд предполагает, что наша культура сложилась под влиянием внешнего, космического воздействия. Волшебна и третья точка зрения, сводящаяся к утверждению обоих взглядов, превосходящих дополняющих друг друга.

## «Ангелы божьи»

Слово «ангел» у древних греков означало «посланник, посланец, гонец». «Ангел божий» — буквально значит «посланец бога».

Вот как представлял ангела Иоанн Теопрокт: «И видел я... Ангела сильного, сходя-

щего с неба, облеченного облаком: над головою его была радуга, и лицо его как солнце, и ноги его как столпы огненные» («Откровение», X, 1). Ангелы Иоанна оглашают землю «трубным глазом» так, что их далеко слышно, летают они со страшным шумом.

Можно, конечно, объявить все это голым вымыслом. Но ведь человеку, проникнувшему религиозным полетом, легче придумать ангела тихого, вроде лермонтовского, летящего «по небу полуночи». Недаром, когда люди хотят отметить тишину, они говорят о «тихом ангеле», словно подразумевая, что вообще-то ангелы — существа шумные.

В некоторых памятниках письменности можно найти странные детали, которые, на наш взгляд, следует считать отголосками каких-то конкретных вещей, виденных в жизни. В самом деле, нельзя ли задаться вопросом: как могли связываться между собой «бог иже на небеси» и «ангелы иже на земли»? Вопрос может показаться довольно праздным. Но, оказывается, люди отдаленных от нас времен имели некоторые представления о таких вещах и тоже задавались подобным вопросом.

В софийском «Соборнике», хранящемся в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, одна глава называется «Сказание о небесных силах». Написана она в форме диалога. Читает:

«ВОПРОС: Ангелы божии лица божия не видят. И како бывает им повеление божие посылая их на службу?»

ОТВЕТ: Ангелы господни имут над ушима тороцы (от слова «торчать, выставляться наружу». — В. З.), то бо есть поклоище святаго духа иже им действо имат.

А им же над челом белость то суть слухи. Егда приидет ангелу повеление от бога, на которую службу, тогда вострешет у ангела слух. Он же абие (тотчас. — В. З.) зрит в зеркале иже имат в руке своей. И обретае повеленное ему от бога в зеркале написано яко же кто пишет на воде. А лица божия не видят, токмо славу его».

У Даяля находим следующее объяснение: «Тороки и тороци (в иконописи) — ток божественного или ангельского слуха, изображаемый на иконах в виде излучистой струи, тока, лучей». Может, и в сказочном сюжете с «волшебным зеркалом» есть какой-то реальный смысл?

Современные попытки создать приспособление для индивидуального полета, без самолета, связаны с усилиями сделать человека более мобильным. Уже считается рациональным движущие джусы в виде металлических гильз крепить к ногам. Реактивная струя газов, бьющих вниз, выходит из этих гильз и толкает человека вверх («ноги как столпы огненные»). Набрав нужную высоту, человек сможет разбросить сложенные за спиной легкие крылья для свободного парения. Естественно, что он должен иметь шлем («лицо его как солнце»), антенну над шлемом («над головою радуга», т. е. дуга, если антенна будет круговой, в виде нимба), полет будет сопрово-

ождаются включением время от времени дюз («облеченный облаком»).

В наши дни в киножурналах и на страницах печатных журналов можно видеть испытания «ангельского снаряжения» и картины полета «ангелов». С волнением смотришь, например, как несколько советских мастеров парашютного спорта проделывают сложные эволюции в небе, не прибегая к помощи парашютов, воспроизводя «ангельские» действия в экспериментальном фильме «Люди над облаками» (Киев, 1965).

## „Молитва всевышнему“

Молитва мыслилась как акт непосредственного общения с богом. Человек должен был отвлечься от всех посторонних «раздражителей» и вспомнить соответствующий случаю текст молитвы. «Не каждая молитва доходит до господ». В случае, если человек не соблюдает положенного по ритуалу, рассеян, неискренен, злонамерен (например, просит о нанесении зла ближнему)—считалось, что акт общения с богом не состоится.

В этой связи можно вспомнить возникшую на Афоне в XIV веке богословскую дискуссию об «умной» молитве между варлаамитами (приверженцами Варлаама Калабрийского) и паламитами (сторонниками Григория Паламы, солунского митрополита). В основе дискуссии лежал вопрос о природе так называемого фаворского света, того «неизреченного» света, которым светились ризы и лицо Христа в момент преображения на горе Фаворской (Матф. XVII, 2; Лук. IX, 29 и Марк. IX, 3). Паламиты защищали особый вид молитвенного созерцания (исихазм), «умное делание», каковым они объявляли молитву. Они считали, что фаворский свет—это «внутренний» свет, которым просияло лицо Христа «изнутри». Варлаамиты же полагали, что это был свет «внешний», созданный для «просвещения апостолов» и исчезающий бесследно, поскольку был «внешним». Паламиты думали, что это был свет вечный, «присносущий», имманентный небесной природе Христа; варлаамиты полагали, что свет был эфемерным, мгновенно созданным и, так сказать, искусственно «оглавленным».

Воззрения Паламы были в 1368 году на Соборе объявлены истинно православными, а точка зрения Варлаама была отброшена. В наше время можно было бы сказать, что рационалистического смысла было все же больше в воззрениях варлаамитов.

Христос, согласно новозаветным представлениям, неоднократно беседовал со своим «отцом небесным». Его ученики ВИДЕЛИ, как он разговаривал, но НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ его беседы. Видно, что было «умное делание» (т. е. некое чувственное, «мозговое» действие).

Нельзя ли предположить, что молитва (будь то христианская, иудейская, мусульманская и др.)—это уподобление акту

телепатической связи, акту, который приходилось наблюдать земным людям в случаях встречи с представителями высокоразвитой цивилизации?

Уже в наше время осуществляются попытки использования телепатии в качестве средства связи в космическом пространстве. Известно, что программа НАСА (Американской Национальной администрации авиации и космосу) включает в себя опыты по установлению телепатической связи между космическими кораблями. Председатель Комитета по биоастронавтике при Международной федерации по авиации доктор философии Юджин Б. Конеси на 14-м съезде федерации (Париж, 1963) констатировал в докладе психофизиологических явлений, связанных с новыми способами общения в космосе. В частности, он заявил, что «советская программа развития полета человека в космос, по некоторым сообщениям, ставит задачу срочно изучить один из наиболее интересных вопросов современной науки: в чем заключается сущность некоторых явлений, которые связаны с электромагнитным способом общения между живыми существами?». Опираясь, видимо, на книгу Б. Б. Кажинского «Биологическая радиосвязь» (Киев, 1962), Конеси говорил: «С советской точки зрения, цель исследований—создание «записывающей мысли», «электронного гипноза», или «прибора для передачи мысли на расстоянии».

Наш мир, видимо, стоит перед перспективой открытия нового вида связи. Эта перспектива обусловлена необходимостью ускорения передачи информации на большие расстояния, поскольку радиосвязь в будущем может оказаться очень «медленным» способом коммуникации (радиосигнал преодолевает расстояние от Земли до Солнца примерно за 8 минут, а до Альфы Центавра более чем за 4 года!). Если мы уже подошли к этой перспективе, то почему к ней не могли подойти ранее и другие цивилизации?

Люди, которые могли наблюдать акт телепатической коммуникации, воспроизвели этот акт в молитве, подражая и посвятив его осмысливая. «Радиопоклонники» островов Меланезии, в XX веке соорудившие «радиомачты» и устанавливающие из тростниковых палочек «антенны», производили слепо действия, подсмотренные у радиотехников европейцев, в этом смысле похожи на наших предков, подражавших космическим пришельцам.

Нельзя ли считать некоторые атрибуты участвующие в совершении ритуальных действий, отдаленными реинициациями предметов, использованных «небожителями» в процессе осуществления телепатической связи и подсмотренных земными жителями?

Мы уже говорили, что ангелы имели «ушища торости», а «над челоу слухи», с помощью которых они получали приказы от бога. А нельзя ли рассматривать тефилин, используемый во время молитвы иудейскими евреями, как нечто подобное «ушам» и «слухам»? Тефилин (греческое «лактёрны») — это «два выкрашенных в ч

ую краску кожаных наглухо зашитых «шличков», своеобразные хранилища «святого духа». В них содержатся заветы Яхве Моисею и израильскому народу. Один из шличков надевается на голову, второй крепится на руку. Между собой они соединены черными кожаными ремнями. Считается, что значение тефилина — чисто символическое, указывающее на то, что человек обязан посвятить всю свою душу служению богу. А некоторые ученые пытаются трактовать тефилин просто как амулеты, предохраняющие человека от злой силы.

В какую-то связь с тефилином можно поставить и талис—употребляемое иудеями во время утренней молитвы покрывало, к четырем краям которого привязываются «кисти видения». Все атрибуты иудейской молитвы, на наш взгляд, напоминают систему объединенных между собой датчиков.

Почему католический клирик имеет тонзуру, т. е. гладко выбритое место на голове, а верующий мусульманин бреет всю голову? Может, для того, чтобы облегчить нисхождение «духа святого» на верующего во время молитвы? Теплпатическая связь нуждается, видимо, в каком-то приборе, который мог бы обеспечить надежность и устойчивость самой связи, а также сделать ее достоянием не исключительных личностей, предрасположенных к ней от природы, а любого человека. Подобно тому, как люди научились усиливать звук, увеличивать изображение, открыли возможность «видеть» в темноте, они, возможно, сконструировали и усилитель биотоков.

## Крещение водой

В отдаленные времена у народов Аравийского полуострова не было обычая омовения (как нет его и до сих пор у некоторых народов). Отсутствие такой элементарной гигиены было причиной распространенности многих болезней. Чтобы ввести в практику пользование водой в гигиенических целях, нужно было сделать это в глазах людей богоугодным действием, имеющим сакральный оттенок. Можно предположить, что один из представителей высокоразвитой «восточной» цивилизации совершил целую реформу, введя «крещение водой». Видимо, в аналогичных целях на несколько тысячелетий ранее был введен обычай обрезания.

## Можно ли поднять в небо то, чего нет на земле?

Рассуждая о «неисповедимости» путей нисхождения мифов и легенд, многие высказывают мнение, что человек в процессе осознания реальной действительности создавал небесный мир по образу и подобию мира земного. Он, якобы, населил его человекоподобными разумными существами, выдал иерархию этих разумных существ и

перенес на небо свои идеальные представления о формах человеческих отношений. Иными словами, «царство небесное» — это идеализированный образ человеческого общежития.

Но как можно было «населить» небесный мир Разумом, если не иметь об этом мире никаких фактических сведений, никаких образцов? Ведь простое созерцание ночного неба, настраивающее любого человека на самый возвышенный лад, не дает ни малейшего факта, ни малейшего «зерна», которое «проросло» бы в образ реального, фактического мира. Исходя из чистого созерцания, легче представить звезды «свотильниками ночи», «господниими украшениями», но образ «тверди» без исходных данных возникнуть никак не может. Всем известно, что даже наука имела более чем странные представления о небе. До 1803 года, например, падение с неба «камень» полностью отрицалось учеными, среди которых был и Лавуазье. Человеку невозможно было представить «небесную твердь» в виде планет исходя только из своего земного опыта и наблюдений за небом. Значит, где-то в глубине тысячелетий надо искать запряженные под толстыми напастованиями суеверий и невежества какие-то исходные сведения, которые были получены человеком в порядке «откровения», в результате сношения с «запретельным» миром. Эти-то сведения и могли лечь в основу мифов и легенд о небе, подобно песчинке, попадающей в жемчужную раковину и помогающей появиться на свет самой жемчужине.

Если человек никогда сам не был на Луне и не слышал о ней рассказов из уст «небожителей», как могло зародиться библейское выражение «твердый, как Луна»? Ведь к подобному знанию мы приходим только сейчас, после мягкой посадки советских и американских лунных станций, а большинство ученых до тех пор считало, что Луна покрыта пылью. Наконец, как человек древности мог умозрительно прийти к мысли, что материя дискретна? В книге Премудрости Соломоновой сказано, что мир создан из «необразного» (т. е. аморфного) вещества!

Как правило, исходный образ, несмотря на все деформации, каким его подвергают создатель и рассказчик мифа или легенды, сохраняет до конца свои «узнаваемость».

Так можно ли перенести в небо то, чего нет на Земле?

В древней религиозной литературе существует образ «небесного храма» или «дома господня», как правило, толкуемый в «космическом», «небесном» плане. Некоторые комментаторы склонны считать этот образ чисто умозрительным. Другие полагают, что человеческая фантазия создала его по аналогии с храмом земным.

«Небесный храм» нисходил на землю с неба, обладая способностью летать. Читая: «Были громы и молнии, и густое облако над горой (Синайской), и трубный звук весьма сильный... Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне: и восходил от нее дым, как дым на

печи, и вся гора сильно колебалась...» Картина, нарисованная в ветхозаветной книге, не противоречит образ, виденный Иозанном Богословом: «И отверзся храм Божий на небе... И произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение, и великий град».

Можно ли считать, что в обоих случаях описано извержение вулкана? Нет! Слишком конкретно и точно указано направление действия—с неба на землю, т. е. сверху вниз, а не наоборот. В смысле соблюдения точности главных, принципиальных деталей мифы всегда очень надежны. В них не могли быть спутанными «вверх» и «низ». Отвергая вулканический вариант, мы можем отклонить и вариант, связанный с молнией.

В 1 книге Паралипоменон рассказывается о том, как царь Давид, выполняя волю бога, поручил сыну своему Соломону построить «дом господен». В более пространной редакции этот рассказ содержится в апокрифе «О церкви святая святых юже царь Давид виде духом, егда восхищен бысть на небесах». Здесь излагается версия о том, как Давиду, вознесенному на небо, был показан «образ церковный на небесах», положенный впоследствии в основу Иерусалимского храма. Храм на Земле строился в связи с возможностью нового пришествия на Землю бога — если «бог наш к нам придет, то поживет с нами».

Ангелы говорили Давиду: «Да будет (этот образ) домом церковным богу в Иерусалиме». Вернувшись на землю и «рассмотрев... что видел и какую красоту, он призвал Соломона и поведал ему, что видел и слышал, и сказал Соломон: «Как я могу построить дом богу? Ведь господь в нерукотворных церквах живет». И так Соломону, говорившему: «Как я такие дела могу сотворить?»—отвечал Давид: «Я тебе сотворю образ церковный, который я видел, и ты дерзай...». И повелел отрокам своим принести по сту свеч, и сотворил церковь малую, и показал Соломону. И сказал: «Смотри, чадо, как стены, и как столпы, как баяки, как верх и как окна».

В обоих документах нет никаких ассоциаций с молнией. Зато на первый план выступают ассоциации с... космическим кораблем!

Можно ли было умозрительно создать образ «небесного храма»? По нашему мнению—нет, если для подобного образа не было никакого прецедента, явления, хотя бы отдаленно напоминающего этот образ.

Могло ли сложиться представление о «небесном храме» под впечатлением конструкции «храма земного»? Внешние черты могли быть и перенесены с земли на небо. Но внутренний смысл, сама природа «небесного храма», его способность «летать», нисходить с неба на Землю—не могли возникнуть под впечатлением земного опыта. Нельзя было поднять с земли в небо то, чего не было на Земле! Невозможно было создать образ «небесного храма», не видев его!

В процессе мифотворчества, несомненно, происходило смешение элементов «земных» и «небесных». Тот или иной «небесный»

факт или явление осмысливались «по-земному», толковались «по-земному» с участием большой доли фантазии и воображения. Говоря об идеализме сознания мифотворцев, надо иметь в виду, что этот идеализм проявлялся в процессе абстрагирования и САМОГО ИСТОЛКОВАНИЯ какого-то «рационального», конкретного «зерна». Но само «зерно» не могло возникнуть из ничего. Вспомним слова Ленина из «Философских тетрадей»: «Раздвоение познания человека и ВОЗМОЖНОСТЬ идеализма (религии) ДАНЫ уже в ПЕРВОЙ, ЭЛЕМЕНТАРНОЙ абстракции. Подход ума (человека) к отдельной вещи, снятие слепка (понятия) с нее НЕ ЕСТЬ простой, непосредственный, зеркально-мертвый акт, сложный, раздвоенный, зигзагообразный ВКЛЮЧАЮЩИЙ В СЕБЯ возможность отлета фантазии от жизни; мало того: возможность ПРЕВРАЩЕНИЯ (и притом незаметного, несознаваемого человеком превращения) абстрактного понятия, идущей ФАНТАЗИИ (в последнем счете—бога)».

Принципиальная схема человеческого познания, предложенная Лениным, превосходно объясняет сложность процесса образования понятий и диалектику взаимоотношения реальности и ее отражения в сознании человека.

Надо учитывать еще две особенности процесса познания. Первая состоит в том, что по мере удаления от факта во времени человек склонен все более и более мистифицировать и сам факт, и его отражение, сохранившееся в человеческом сознании. Другая особенность состоит в том, что непосредственное отражение с течением времени претерпевает эволюцию — из прямого значения оно превращается в иносказательное.

В какие-то времена человек мог видеть как «бог» выходит из «машин». Сложилась словесная формула «бог из машины» (Выражение приписывается Платону—429—347 гг., встречается у Менандра—343—292). Постепенно прямой смысл этой формулы утрачивался, но на смену ему пришел смысл иносказательный. В древнеримском театре выражение «бог из машины» уже стало означать неожиданную развязку действия вследствие вмешательства либо какого-то лица, либо опускавшегося на сцену божества.

Такую же эволюцию могло проделать выражение «тьма крошечная». Буквальный смысл его — «тьма запредельная», «внешняя», т. е. когда-то оно могло отражать представление о тьме космической, о чуждоте космоса (замечка «Мифы, легенды о космосе» в альманахе «На суше и на море», М., 1965). С течением времени это выражение приобрело смысл, ничего общего не имеющий с первичным, буквальным смыслом.

На двух последних примерах, приведенных нами, можно отчетливо видеть, как «небесное» постепенно утрачивало свое значение и приобретало значение чисто «земного». В том и трудность, чтобы за «земным» разглядеть черты «небесного»!

## „Страх господен“

С ангелами связаны два противоположных по смыслу мифических представления. Одно трактовало их как олицетворение злых небесных сил. Мятежный ангел Люцифер, «носитель света», восставший на божьего, был низринут с неба на Землю и стал Сатаной, повелителем ада и воинства злых духов.

Ангелы добрые считались покровителями людских судеб, хранителями человеческих дел. Но в книгах Священного писания они выступают не как бесплотные символы, а как действующие в событиях реальные силы, имеющие «небесную» природу. Их происхождение описывается в Библии с большим реализмом.

Вспомним ветхозаветную легенду о гибели городов Содомы и Гоморры. Она легла, на наш взгляд, уязвывается с пришествием на Землю «небожителей».

В книге Бытия рассказывается о том, как праведный Лот, укравший в своем доме гостя от разъяренной толпы горожан-содомитов, захотевших «познать» их, был предупрежден богом, чтобы спастись с женой, дочерьми и зятьями, т. е. город будет спасен. Защищая ангелов, Лот предлагал содомитам двух дочерей своих невинных «познавать», лишь бы они оставили ангелов. Но настойчивые горожане, разгневанные на Лота, не отступали. Тогда ангелы (их было двое) втащили Лота через крышу в дом, закрыли ее и чем-то ослепили предних, напивавших на дверь горожан. А наутро, когда Лот с семейством укрылся в городе, города были сожжены. Пострадала при этом жена Лота (она оглянулась, когда услышала грохот за спиной, хотя это было запрещено), превратившаяся почему-то в соляной столб. Рассказывается, что бог послал на Содом и Гоморру жупел и огонь небесный, «и испроверг города сии, всю окрестность сию, и всех жителей городов сиих, и произрастания земли».

Существует метеорная гипотеза гибели этих городов, с которой мы не можем согласиться: картина, нарисованная в книге Бытия, совсем не похожа на картину падения метеорита. «Жупел и огонь небесный» древние никак не могли спутать с гигантским метеоритом, который обычно оставляет после себя круглую воронку.

М. М. АгREST связывает картину гибели Содомы и Гоморры с пришествием из Космоса. Соглашаясь в основных чертах с ним, мы можем добавить, что уничтожение городов сиих и всех жителей городов сиих, видимо, было необходимо кому-то, чтобы создать устрашающий прецедент, преподать людям внушительную «фигуру страха», «страха божьего», как начала «всякой мудрости», как «программирующего» фактора для людей той эпохи.

В древности появились понятия «свет солнца» (апокриф «Вопросы Иоанна к Господу на горе Фаворской») и «десять тысяч солнц» («Махабхарата» — «Бхагавадгита»). Как могли они возникнуть? Солнце в древности всегда

считалось верховным божеством, носителем тепла, света, животворной силы. И практически, и теоретически трудно было представить свет ярче солнечного. А говорить об этом в переносном смысле — означало бы оскорбить небесное божество, Солнце, признать тем самым существование некоего более великой стихии.

В апокрифе «Вопросы Иоанна...» есть место, которое можно поставить в соответствие с библейским рассказом о Содоме и Гоморре: «Пошлю аггелы мои святые и да зажгут землю... И изгорит земля локтей пятьдесят тысяч... И изгорят горы великие, и ниспадут и сокрушатся. И будут яко и прах. Изгорит все дерево... Изгорит всяк скот и всяк гад ползающий по земли, и всяка птица, парящая по аэру. И потом не будет на лице всея земли дрожащего ничего. И будет вся земля недвижима». Но «вся земля» — это не вся поверхность земного шара, а только территория диаметром в 50.000 локтей, т. е. примерно 20 км. А это — диаметр зоны поражения обычного ядерного взрыва по световому излучению! Еще древнегреческий историк и географ Страбон (I в. до н. э. — I в. н. э.), совершивший путешествие в район Мертвого моря, писал, что скалы в окрестностях этого моря, в котором погребены Содом и Гоморра, оплавлены каким-то неизвестным огнем. А остатки Вавилонской башни (Э. Церен. «Библейские холмы», М., 1966, стр. 110) представляют собой «плотную массу, подобную расплавленному стеклу». Можно предположить, что «акция устрашения» была произведена не в одном месте земного шара. В «Махабхарате» мы читаем: «Сверхкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишнего дыма, был выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско. Все стороны горизонта погрузились в мрак. Поднялись несущие зло вихри. Тучи с ревом устремились в высоту неба... Казалось, даже солнце закружилось. Мир, опаленный жаром этого оружия, казалось, был в лихорадке. Слоны, обожженные пламенем оружия, бежали, объятые ужасом». Разве похоже это на падение метеорита или извержение вулкана?

Сохранилось даже описание внешнего вида этого оружия. Оно «было похоже на огромную железную стрелу».

О характере оружия можно только догадываться, прочитав в той же «Махабхарате», как с летательного аппарата «был выпущен снаряд, который заключал в себе силу всей вселенной... Вспышка была яркой, как десять тысяч солнц в зените». Называлось это оружие в разных странах по-разному: в Индии — «Оружие Брахмы» или «Пламя Индры», в Южной Америке — «Машмак», у кельтов — «Искусство Грома».

Фигура «страха господня», как «программирующего» фактора, была, видимо, преподнесена во всех главных очагах земной цивилизации. Только если в случае с Содомом и Гоморрой можно предположить, что «силы небесные» истребляли очаги, пораженные определенным пороком, то в «Махабхарате» речь могла идти об унич-

тожении на века идеи войны, поскольку эти «силы» вмешивались в сражения двух воюющих сторон, истребляя и тех и других.

## Миф?

Перенесемся совсем в другую эпоху. Обратимся к событиям более поздним, относящимся к рубежу старого и нового летоисчисления.

Во многих писанных документах первых веков нашей эры (И. Флавий, Тацит, Светоний, Плиний Младший, Евангелия, Талмуд и др.) встречается упоминание об удивительной личности, «пришедшей с неба», — об Иисусе Христе.

Как же случилось, что в историчности Гаутамы (Будды) мало кто сомневается, историчность Магомета никогда не составляла проблему, а личность Христа — до сих пор загадка?

В истории человечества были люди, окруженные ореолом святости еще при жизни. Идеалы, ими проповедывавшиеся, были не менее значительны, чем идеалы Христа. Ни поклонялись массы людей. Достаточно вспомнить хотя бы Франциска Ассизского.

Тем не менее, эти люди не приобрели такого значения, как Христос. Чем это объясняется? Не тем ли, что они имели слишком земную биографию, были «пророками в отечестве своем?»

Узаконенная в науке точка зрения на Христа только как на церковный миф вряд ли может считаться удовлетворительной. Правда, в деле атеистической пропаганды историзм личности Христа с точки зрения марксизма представляет вопрос второстепенный. Эта проблема имеет значение главным образом только историческое. Правы, по нашему мнению, Поханиес Ирмшер (ГДР) и Л. Варцль (ЧССР), упрекающие советских ученых в том, что они слишком увлеклись отрицанием историчности Христа и создали из этого целую проблему.

Церковная версия о Христе — это, конечно, миф. Но за этим мифом ясно просматривается историческая личность. В связи с этим английский историк-марксист А. Робертсон в своей книге «Происхождение христианства» писал: «То, что происхождение христианства окутано мифом, не является для нас предметом спора. Но в каком-то месте миф должен закончиться — должна начаться история».

(Окончание следует.)





А ХОМЯКОВ. Кумысница, Хор. (керамика).

## СЛОВО О ЖАМЬЯНЕ БАЛДАНЖАБОНЕ



Поклонись, читатель, имени этого человека, старейшего писателя земли бурятской, чье посмертное произведение мы публикуем. Оборвалась яркая и интересная жизнь. Скромнейший в быту и обществе, Жамьян Балданович был, как небо от земли, далек от мысли добиваться какого-либо особого отношения к своему писательскому имени, хотя оно вполне заслуживало самого большого внимания. У кого еще имелся членский билет Союза писателей за подписью самого Горького? Автор многих повестей, автор великолепного романа «Перевал» мог бы считать, что с него довольно сделанного. Но вот не таков был наш Жамьян: в селе Агинском остался местный окружной музей, создателем и директором которого до самой смерти являлся Балданжабон.

Не в пример иным заносчивым и не по заслугам требующим, Балданжабон был чрезвычайно дисциплинированным автором. Публикуемую повесть он переделывал трижды. Я бы сказал, что порой он был чересчур покладистым. Например, он зря согласился с редакторами иркутского изда-

тельства, которые навязали ему совершенно нелепое пустое название роману... «Голубые сопки» вместо «Перевал». Старик отлично знал, что за перевал имеется в виду, когда он так назвал свое детище: у каждого героя в романе свой перевал и проходят эти герои свои перевалы каждый по-своему!

Мне никогда не забыть нашей совместной поездки по Усть-Ордынскому национальному округу. С каким любопытством и как по-доброму внимательно он всматривался в особенности уклада жизни иркутских бурят, как жадно он вслушивался в звучание местного диалекта! Он считал, что обязанность писателя — выражать общенациональное, а выражать может только тот, кто глубоко и всесторонне это общенациональное знает. Это — не в пример иным ограниченным людям, которые пытаются втиснуть литературу и искусство в какие-то административные районные или областные границы на карте. Подобно Хоца Намсараеву, самозабвенно любившему свою Кижингу, Жамьян Балданович был влюблен в родную Агу. И подобно своему другу Хоца Намсараевичу, он никогда не противопоставлял свое, агинское, ничему и никому. Потому он и вырос до положения писателя общепервостского и потому его оплакивает бурятская нация.

Когда-то Горьким было сказано одному литератору: «Как вы можете рассчитывать стать хорошим писателем, если вы плохой человек!» Сказано не в бровь, а в глаз многим, кто позорит имя писательское антигуманными поступками. Жамьян Балданжабон был человеком добрым, очень отзывчивым и крайне щепетильным в отношениях с людьми — он страшно боялся обидеть кого-нибудь неосторожно оброненным словом. Но в то же время он не побоялся разоблачить смело и даже дерзновенно то бездонно опасное, что скрывается за желтым цветом ламаизма — это сделано писателем в предлагаемой вниманию читателя повести «Последняя таблица», законченной незадолго до смерти.

Афрхан БАЛЪБУРОВ.

Жамьян БАЛДАНЖАБОН

# Последняя ТАБИСА

Повесть

Часть первая

1

Рис. Ю. Шангинова.

Куда бы вы ни поехали из улуса Угалза, не минуете горы Батор. Но горе пролегала дорога, а сошел с этой дороги — и нет тебе пути. Всюду скалы и чащоба.

Каждая приметная гора здесь имела свою легенду. Имела ее и гора Батор.

Давным-давно это было. Нынешней реки Угалза, что текла через улус Угалза, люди еще не знали.

В те стародавние времена предводителем у бурят был Бабжа-Батор. Он прожил много лет и так состарился, что ставил себе деревянные подпорки между веками, чтобы глаза не закрывались сами по себе. Такие тяжелые у него были веки... И так мало у него оставалось сил...

Всякое утро Бабжа-Батор поднимался на гору, чтобы поохотиться на зверей.

И вот, в день своей смерти, ранним утром, предводитель поднялся на гору и увидел в тумане всадников, скакавших прямо на него. Бабжа-Батор подумал, что вражеское войско шло с мечом на его племя. Не теряя времени, он натянул тетиву лука и прицелился в того всадника, что ехал впереди. Когда пришло время спускать стрелу, он вдруг разглядел, что никакого войска в тумане не было, а маячили там сосны. Что делать? Раз прицелился — надо пускать стрелу. Таков обычай богатырей. Стрела запела...

Бабжа-Батор, успокоенный тем, что его племени никто не угрожает, вынул подпорки, державшие его веки, и тогда глаза предводителя закрылись навечно.

А сосна, которую Бабжа-Батор принял в тумане за всадника, растет и поныне. Только она без вершины. Старики говорили, что ее отсекла стрела Бабжа-Батора.

Да мало ли и еще что говорили! Какие только истории не случались тут... Особенно ночами или на рассвете. Да и чему удивляться — ведь здесь, на перевале, была табиса — место, где люди задабривали духов. А там, где обитали духи, все могло быть.

...Свежий крепнувший ветерок прошелестел в вершинах сосен, разнося запах хвои. В глубине тайги закуковала кукушка — видать, уже не боялась отморозить язык. Ей ответила кукушка с утеса. Будто бы веселее, приветливее стало на перевале возле табисы.

Дорога есть дорога. По ней шли и ехали молодые и старые, верующие и неверующие. Многие останавливались посмотреть табису, иные оставляли подарок духам. На старой сосне, у которой стрелой была отсечена вершина, висели зурумы<sup>1</sup>. Хвоя у сосны серая, невидная, может, потому, что солнце на нее не падало, стояла она в тени утеса. Под сосной старательной рукой сложена четырехугольная каменная подставка. Тут же брошены пустые бутылки. К вечеру у табисы накидывалось изрядно мелочи. В бутылках всегда оставляли духам водки.

В воскресенье по дороге к перевалу тащился старый Жалсарай. Он перебирал четки, губы его шевелились, словно на молитве, но в голове роились мысли, ничего общего не имеющие с верховными бурханами.

Жалсарай вспоминал, как он славно погостил у зятя, можно было остаться еще на день. Но Жалсарай не стал задерживаться, его беспокоило здоровье старухи. Эти дни она жаловалась на головные боли и слабость в ногах. Даже в гости не пошла, внука не повидала.

Жалсарай слушал пение птиц, срывал цветы у дороги. В жизни никогда домой не приносил цветы, а тут почему-то взбрело в голову... И вот получилось, что из-за этих цветов он не заметил табису. Перевал остался позади, а подарки духам — конфеты в кулечке — лежали в кармане. Жалсараю стало не по себе, даже страшновато. Он выгасил кулечек, набрал горсть конфет и бросил их в сторону горы. Но этого ему показалось мало, и он произнес:

— Прости меня, хозяин Батора! Как я мог пройти, не увидев твою табису? Видно, от старости глаза мои плохо видят. — Он украдкой, хотя никто не следил за ним, швырнул цветы в кювет, сложил ладони и продолжал: — Всегда буду чтить тебя, хозяин Батора! Не откажись от моих подарков, охраняй нас со старухой от бед и болезней.

Весь оставшийся до удуса путь Жалсарай ругал себя за оплошность. Теперь надо было ожидать немилости духов. К своей юрте он подходил уже в плохом настроении. Его удивило, что из дымохода не вился, как всегда, дымок. Предчувствия охватили старика: «Не случилось ли чего со старухой?»

Да вряд ли, не могло... Спит, поди. Либо к соседке укывыляла. С дороги в самый бы раз выпить чашку-другую, но печь не топилагась — и чай, стало быть, не готов. А ей бы, старухе, пора знать, что Жалсарай без чашки чаю не может никак...

Открыв дверь, он не увидел жену возле очага, как обычно привык видеть. Старуха лежала в постели и потихоньку стонала.

— Что с тобой, Норжима? Заболела, что ли?

Она не ответила, вздыхала и слабо шевелила пальцами.

<sup>1</sup> Лоскутки, ленточки. Обычно верующие вешают их на деревьях.

Старик подошел к жене. Потрогал у нее лоб — горячий.

— Где болит?

— Голова... — тихо произнесла она.

«Это все из-за того, что я прошел мимо табисы, ничего не подарив хозяину горы», — пронеслось у старика в мыслях.

Вскоре у изголовья Норжимы-абагай дымилась трава, издавая благовоние. Жалсарай бормотал заклинания, чтобы отогнать от жены мечистую силу.

Покончив с заклинаниями, он затопил печь, поставил на плиту чугунок, но воды там не оказалось. Он схватил ведра и побежал к колодцу. Когда вернулся с водой, чугунок раскалился докрасна и в юрте пахло горелым...

Старуха по-прежнему не подавала голоса. «Пожалуй, надо позвать фельдшера», — решил старик и отправился в лечебницу.

Пришел фельдшер Доржи Номтоев, измерил температуру и послушал, какое у старухи дыхание.

— Вот для больной порошки, — сказал он. — Пусть принимает по три порошка в день.

С вечера Жалсарай долго не мог заснуть. Жена то пить просила, то ей было жарко, то холодно. А когда он уснул, то странный сон приснился ему.

...К юрте Жалсарая подъехал всадник на вороном коне. Был он в шелковом халате, с головы свисала длинная черная коса. Гость спешился и зашагал прямо на Жалсарая. Он, видимо, был очень грузным — земля, как болото, проваливалась под его гутулами.

— Знаешь, Жалсарай, кто я? — спросил гость в шелковом халате.

Старик поклонился.

— Так знай! Я хозяин Батора.

Жалсарай повалился ему в ноги, зашептал молитвы и тут на свое счастье проснулся. В юрте стоял полумрак, тускло мерцал огонек в копилке, слышался храп жены.

«Это он, хозяин горы, приходил за мной, — смекнул Жалсарай, вытирая со лба холодный пот. — Надо идти к нему с подарками, а то ловсе станет худо».

Норжиге к утру полегчало. Она даже выпила чашку бульона и немного походила по юрте. Но Жалсарая это не успокоило. На табису так и так надо идти... Старик отобрал лучшие куски мяса и сварил. Заготовил побольше разноцветных лоскутков. В магазине он купил сладостей и прямо оттуда подался на табису.

Когда издали увидел зурумы на сосне, сердце его сильно забилося: «Вот оно, святое место! Помогите, добрые духи!» Мясо и сладости он выложил на каменные плиты, повязал на ветках зурумы и стал молиться тому, кто приходил за ним ночью.

— Ты охранял нас от всех бед, защищал от болезней. Пожалей нас... не оставь один на один с болезнями. Старухе моей худо. Пошли ей здоровья и силы!

Он произносил молитву и смотрел, как от ветра колыхались и трепетали на ветках многоцветные зурумы. Они напоминали пойманных птиц. Жалсарая стало чего-то боязно, и он поспешил домой.

По дороге ему приспичило курить, и он полез за трубкой в карман. Но, увы, трубки там не оказалось, а он помнил, что когда подходил к табисе, она у него лежала в кармане. Видать, он оставил трубку на камне. Никогда Жалсарай не забывал трубки, а тут вдруг забыл. Неспроста это. Может быть, хозяин Батора нарочно подстроил? Как же быть? Нет, идти за трубкой никак нельзя. «Пусть хозяин горы покурит, — рассуждал старик. — Если ему приглянулась моя трубка, то что же... Пусть покурит».

Но как там ни успокаивай себя, а трубку все же жалко. Она доста-

лась ему от отца. С трубкой связаны у него воспоминания далекого прошлого. Мать у него была некурящая и не выносила табачного запаха. Она прятала трубку от мужа куда попало, лишь бы он подольше ее искал. А отец, в свою очередь, прятал трубку от матери. И нередко случалось так, что он весь день не мог вспомнить, куда он укрывал свое сокровище, и сердился на мать. Было даже смешно. Как-то трубка выпала у отца из-под кушака, которым он подпоясывался. Сам туда засунул и забыл. Мать часто вспоминала этот случай и смеялась.

Дома Жалсарай застал совсем уже выздоровевшую жену.

— Порошки, видать, хорошие, — сказала она.

Старик не осмелился сказать что-либо. Может, фельдшер и помог порошками, но однако же помог и хозяин Батора. Вполне возможно, что под одну руку взял Норжиму фельдшер, а под другую руку тот хозяин в шелковом халате. Вот и поставили старуху на ноги.

Жалсарай попил чаю, посидел, подумал. Хозяин Батора курит теперь из его трубки и, наверное, уже не сердится. Это хорошо. Но из чего он сам станет курить? Норжима ворчала, что в самый раз отстать от табаку. Но где уж тут отстать...

Наутро старик смастерил трубку из бедренной кости барана. Он обрезал ее по краям, в один конец наложил табаку, а другой использовал под мундштук. Трубка распространяла такой запах, что старуха не могла долго высидеть в юрте и, ругаясь, уходила к соседям.

## 2

Накинув на плечи овчинный дыгыл, старый Жалсарай вышел из юрты.

Утро только занималось. Горизонт, затянутый сизой дымкой, робко окрашивался лучами. Старик показалось, будто шевельнулся в тумане краешек солнца. И опять вроде шевельнулся... «Вот ведь как, — подумал Жалсарай, — вроде невеста в старину... боится чужого глаза».

Пока он расколол полено, солнце выбралось из тумана, и по степи разлился свет. Жалсарай был доволен тем, что день обещает быть славным, и тем, что до ночного дежурства у магазина у него уйма свободного времени.

В юрте ждала его старуха. Чай уже вскипел.

Усевшись на хойморе<sup>1</sup> и поджав под себя ноги, Жалсарай не спеша опрастывал чашку за чашкой, кряхтел от удовольствия, предчувствуя, что скоро последние остатки ночного озноба уйдут из старых костей.

Согревшись, хозяин по обыкновению вынул из-под подушки огниво, поджег трут и вытащил костяную трубку. Старуха посмотрела на него недовольно, но промолчала. «Под рукой же спички, так нет, надо все по-своему», — подумала она.

Для ее старика, Жалсарая Гамбалова, жизнь вроде бы давно установилась. У него все не как у людей. Во всех домах и юртах Угалзы электричество, только Жалсарай по вечерам зажигает копилку без стекла.

Часами Жалсарай может нараспев читать старинные монгольские книги: «Золотой блик», «Море былин», «Повесть о зеленой Дара-эхэ, матери-богине». Почитав, он бережно заворачивает книги в пропахшие дымом платки или кладет в продолговатые ящики — соглики.

Все приметы и сны представляются старику предвестниками событий — радостных или горьких, желаемых или нежелаемых.

Вот и сейчас... Жалсарай прислушался, забыл о трубке. За стеной

<sup>1</sup> Почетное место на северной стороне юрты.

юрты кричала сорока. Старик оставил на столике трубку и выскочил за дверь.

— Что там? — спросила старуха, когда он вернулся.

— Сорока стрекочет. Сидит на городье.

— На какой городье?

— «На какой... На какой...» — рассердился вдруг Жалсарай и стал открывать соглик. В руках заперestreли продолговатые листы, исписанные по-монгольски сверху вниз. Он торопливо просматривал книгу, шепча про себя:

— Где-то тут... Куда же пропала?

Хозяйка застыла у плиты, ждала, что будет.

— Ага! Есть! — обрадовался Жалсарай.

Старик пожевал губами и прочитал громко: «Пояснения о языке сороки». Та-ак... Сейчас... — Обдумывая что-то, он посмотрел на тоено — дымовое отверстие юрты. — Нынче год Дракона. Та-ак... Дракона — Жалсарай заглянул в книгу, прочел: «Если сорока застрекочет на юго-западе, то предупреждает о том, что скоро приедет долгожданный гость». Ха! Долгожданный гость!

Старуха смотрела на мужа, мало что понимая из-за своей глухоты.

— Что говорит книга? Кто приедет?

Жалсарай улыбнулся:

— Давай снова чай ставь. Скоро приедет гость. — И важно добавил: — Прибудет, как сказано в святой книге, долгожданный гость.

— Кто же это может быть? — хозяйка склонила голову, размышляя. — Откуда, говоришь, приедет?

— Откуда? А я знаю? Я же не сорока, а она об этом ничего не говорит.

Хозяйка опять задумалась, перебирая в памяти всех близких и дальних родственников, но никого не нашла из тех, кого бы она могла считать долгожданным гостем.

В тот день гость-таки пожаловал. Но сорока, которая стрекотала возле юрты, почему-то напутала про долгожданного... Может быть, она не на юго-западе стрекотала?

В юрту к Гамбаловым зашел улусный кузнец Гомбо Сахалтуев. Не поймешь, гость или не гость... Известный всем выпивоха.

Старуха только и сумела промолвить:

— О! Омбо!

Она не оговорилаcь. Она не случайно сказала: «Омбо». Исказить имя Сахалтуева у хозяйки юрты были основания. В прежние времена невеста, когда впервые входила в юрту свекра, кланялась ему и всем старшим родственникам мужа, разбрасывая мужчинам кусочки бараньего курдюка. С той поры ей запрещалось называть обычными именами всех тех, кому она кланялась. Она обязана была искажать имена. А поскольку двоюродного брата Жалсарая звали Гомбо, то невеста Жалсарая переименовала его в Омбо. И вот спустя полвека она по привычке всех Гомбо называла Омбо.

Сахалтуев присел у очага, глядел себе под ноги, будто искал что-то, и грел посиневшие руки.

— Уже весна, а у тебя замерзли пальцы, — добродушно говорил Жалсарай. — Не на улице ли ночевал?

Гомбо промолчал.

Старуха подала ему чашку чаю. Он принял ее дрожащими руками и начал, обжигаясь, глотать.

— Этак и вовсе пропадешь, — сказал Жалсарай. — Неужто не можно бросить архи?

— Архи меня губит, я брошу, — отвечал Гомбо, не поднимая глаз.

Жалсарай высек огонь, раскурил трубку и мрачно оглядел жену и гостя.

Поджав губы, старуха осуждающе смотрела, как Гомбо провел ладонью по волосам, словно снимая с себя что-то.

— Большой я совсем, Жалсарай-ахай,— сказал он глухо. — Мне бы маленько выпить, ну самый пустяк... Я бы отошел, полегчало бы. А завтра — все! Бросаю. Говорю, как перед богом.

— Так денег же нет, Гомбо,— развел руками хозяин. — Подумай, ну, какие у старика деньги? Чай вот пьем. Утром чай, днем опять же чай...

— Может, починить чего? — Гомбо оглядел юрту. — Я дорого не возьму.

— Так чинить-то чего? — пожал плечами Жалсарай. — У нас и чинить-то нечего.

— Нет, есть,— возразила хозяйка. — Чайник где-то валялся... Дно протекает, так мы со стариком в чугушке чай варим.

— Вот я бы этот чайник и запаял,— сказал Гомбо и покраснел.

— Так чего его паять-то? Нам со старухой и так ладно. Того и гляди, позовут боги. И то уж такие сны нынче зимой были...

— В рай, видать, собрались? — спросил Гомбо, с трудом сдерживая раздражение. — Если в рай, то скажу я вам, Жалсарай-ахай, со всякой рухлядью... со всяким дырявым да поломанным барахлишком ни за что не пустят туда. Да и есть ли на небе дарханы<sup>1</sup> подходящие, чтобы чуть ли не за так... можно сказать, за несчастную пол-литровку, взялись чинить это самое? Навряд ли. — Сказал и поморщился, понимая, что завернул беседу к неблагоприятному для себя концу.

Старик усиленно задымил табаком, недовольно зачмокал губами.

— В рай или нет... не положено тебе о том.

— Я ведь почему пью? От фронта это. За вас, за всех... воевал. В разведку посылают... — Гомбо передохнул, подумал, стоит ли продолжать: «Встать и уйти? Голова болит, в груди нехорошо... А куда пойти? У этого старого черта должна быть водка». Решил говорить дальше: — Посылают в разведку зимой. Холодище... Двести граммов тебе. Сто граммов перед тем как туда идти, остальные после. Ну у нас не все пользовались этим, отдавали... А я без того, чтобы не взбодрить себя, не мог. Принимал, если отдавали. И на «после» не оставлял. Назад-то вернешься или нет — кому известно? У нас в роте на солдата выдавали по хлебу на двое суток. В том хлебе кило восемьсот. Да и иные сразу кончали. Полхлеба с приварком, а полхлеба с кипятком. «Зачем,— говорили,— тянуть до завтра? На том свете после переживать, что паек остался?» Веселые ребятки были! Которых похоронили, у которых грудь в орденах. А есть, как я. Те — несчастливые. И винить тут некого. Ну, а эти двести граммов... Я их не воровал. Полагалось по приказу, у старшины. Попробуй-ка поползать на брюхе в снегу возле немецкого минного поля.

— Так я разве что говорю? — покачал головой старик. — Легко ли было? Жить-то все равно теперь надо, Гомбо.

— Разве нам жалко угостить? — встала хозяйка. — Какая мелочишка была, так конфет внуку купили. Именины у внука были. Да еще бурхану пожертвовали. Старик ходил на табису. Вот там, Гомбо и выпить не грех самому и духов задобрить.

— Там пить не грех,— подтвердил Жалсарай. — Можно и духов повеселить.

— Табиса, говорите? — заинтересовался Гомбо. — Это верующие что ли, жертвуют?

— На добро и духи добрые отзываются,— ответил хозяин.

<sup>1</sup> Мастера.

— Ну, что же... отзываются. Как не отозваться. — машинально говорил гость, занятый своими мыслями.

3

Цэрэн Сахалтуев и Дулма бродят по улице, смотрят на заснувшие дома, говорят, о чем взбредет в голову. Дулма странная. Днем, при народе, и минуты не помолчит, только ее и слышно. А осталась с Цэрэном — и не узнать: Дулма это или не Дулма?

До прошлого года вместе учились в школе, даже в одном классе. Из резинки как-то в нее стрелял... Такая тонкая резинка натягивается на пальцах, вроде рогатки, закладывается бумажный катышок. Раз — и готово! Дулма тогда заплакала. Теперь он знает, что заплакала не от боли, а от обиды. Если бы пятиклассник пустил катышок, ну еще понятно, а то Цэрэн... Дулма подумала, что он унижить ее хотел, надсмеялся. За что? Что она сделала ему плохого? Да, она стремилась попадаться ему на глаза. Когда он проходил по коридору, она громче смеялась. Если его не было на уроке, она чувствовала, что его нет. Но если он был, она чувствовала, что он здесь, в классе, хотя и не смотрела на него. И вот эта нелепая резинка... Как будто взяли у Дулмы что-то и разбили за просто так, за здорово живешь. Ясно, от такой обиды заплачешь.

Почему ей нравился этот нескладный, долговязый паренек?

Летом после девятого класса ездили в Читу с туристской группой. Побывали на выставке художников. И Дулма заметила, что Цэрэн все время отставал от группы. Он один разглядывал картины, видно, шум мешал ему. Сначала она не придавала значения тому, что Цэрэн отставал, потом ей пришлось в голову, что он может остаться один и опоздает на автобус. Дулма подошла к нему, чтобы сказать: пусть поторопится, все уходят. А он даже не услышал. Он смотрел... И Дулма невольно посмотрела на картину. Не поняла. Снова обернулась на Цэрэна. Ее удивило, как менялось его лицо. Он определенно что-то видел, чего она не видела. Дулма тронула его за рукав и сказала, что все уходят.

— Я догоню, — ответил он.

Потом Дулма вспомнила, как менялось его лицо там, у картины. Она никогда не замечала до этого ничего подобного. Цэрэн, наверное, и сам не представлял, какие у него тогда были глаза, какая улыбка. Он тогда очень походил на ребенка. И лицо, и глаза ребенка, и улыбка ребенка. Ее так поразило, когда она открыла это.

И с того дня Цэрэн стал для нее не как остальные из класса. Она знала, что он совсем не такой, каким хотел бы казаться. Дулма все ждала, что он где-нибудь снова покажет те глаза, ту улыбку...

Со временем резинка забылась. И хорошо, что забылась. Теперь она знала, что хорошо. Цэрэн рассказал, почему пустил в нее бумажным катышком. Он хотел привлечь к себе ее внимание, добиться, чтобы она заинтересовалась им, думала о нем, и ничего лучшего не нашел — причинил ей боль и обиду. Вот ведь какой был глупый!

Они сидели на берегу речки. Цэрэн никогда еще так, на берегу, не сидел с ней. Он слушал журчание волн, толкавшихся среди камней, и думал почему-то о словах матери. Его мать говорила, что Дулма вся в отца, в Жалсарая-ахая. И так многие говорили. Смешные люди! У старика-сторожа лицо покрыто красными пятнами, толстый нос. А у дочери миловидное круглое лицо, глаза, как угольки в печи. Про такие глаза можно песню сочинить.

— Цэрэн, пойдем. Что-то холодно.

Темные окна отовсюду глядели на них. Где-то рядом шумно дохнула корова.



— Кто это? — Дулма испуганно схватилась за руку Цэрэна. На земле у палисадника что-то темнело. Цэрэн шагнул, вглядываясь.

— А-а... пьяный! Вставайте, замерзнете... — Цэрэн нагнулся.

— Кто это?

Цэрэн выпрямился и шагнул как-то странно... Не в ту сторону, куда шли.

Дулма догнала его:

— Кто?

— Отец, — глухо ответил он.

Оба молчали. Рядом опять завозилась корова, озадаченная хозяйкой на ночь на улице.

— Надо увести его. Что ты молчишь? Ну! — она дернула его за рукав, заглядывая ему в лицо. — Пойдем же. Ну!

Он пошел за ней, сгорбленный, нехотя переставляя ноги.

Гомбо пошарил возле себя, сообразил, что лежит на полу. Приподнялся на локте, огляделся: куда он попал? Неподалеку мерцал квадрат лунного света, будто брошенный кем-то потник из белой шерсти. Повеяло холодом.

— Откуда дует? Че-ерт! — пробурчал он. — Стекло разбито, что ли?

Гомбо разглядел окурки, порванную газету, бутылку. Кто-то говорил, что из каждой бутылки наутро можно извлечь семнадцать капель. Почему семнадцать? А черт его знает! В бутылке было пусто, ни одна капля не обожгла губы.

«Стекло в окне высадил, — припоминал он. — Теперь холодно. А-а, не все ли равно, и так жизнь худая!» В висках давило. Вспомнил, что ему снились белые верблюды с вьюками. Верблюды вышагивали среди песков. Один за другим, один за другим. И Гомбо шел за ними, в село шел, потому что знал: в вьюках везли архи, мясо, чай. Верблюды — дьяволы длинноногие — ушагали куда-то за пески, а он отстал, жалел, плакал во сне.

Проснулся — не лучше, чем во сне. Там хоть верблюды маячили. Где на опухмелку взять? У магазина шастать противно — выпрашивать по пятачку, по гривеннику, собирать пустые бутылки, навязываться к бывшим приятелям. Когда у самого водились деньжата, от приятелей отбоя не было, за стакан водки любой пел его песенку про

то, что есть где-то девушка такая... если найдешь, то полюбишь, как и архи, навсегда. Теперь никто ему не поет. Вышли деньги, и приятели поотстали, отбились.

Под утро он задремал. Лучи солнца скользнули по полу, по железной кровати с драным клетчатым покрывалом, по опрокинутой табуретке. Из-под печки неслышно выкатилась мышь, пошевелила усами, схватила хлебную корку и пропала. Под печкой тоненько пискнул кто-то...

4

Жалсан болтал от нетерпенья ногами — хотелось бежать на улицу, хватал со стола то сахар, то калач, то лез ложкой в сметану.

— Поешь как следует, — строго сказала мать.

— Не хочу!

— Знаю, как «не хочу»! Через час опять за куском прибежишь.

— Не прибегу. Вот увидишь.

И он выскочил за дверь. За столом стало тихо. Цэрэн небольшими глотками отпивал из стакана, поглядывал на увеличенную фотографию на стене... Трехлетний Цэрэн на коленях отца. У Гомбо в разрезе ворота виден уголок тельняшки. Глаза у отца строгие, пронзительные, волосы стоят прямо, сверху ровно подстрижены. Сам Цэрэн надутый, глаза как бусинки. Мать говорила, что надулся из-за коня — игрушечного коня не дали взять с собой. И мать тут же, с ними. И молодая, и не совсем вроде молодая — не разберешь. Не улыбается, а что-то, похоже, ей весело. Это потому, что она только что смеялась над Цэрэном, а как фотограф стал снимать, она и перестала смеяться...

— Почему не ешь?

Цэрэн отрывает взгляд от фотографии. На столе сметана, калачи — все не тронуто. И есть что-то не хочется. Отовсюду набегают мухи.

Мэдэгма взяла начатую вышивку, присела у окна. «За отца переживает, — думала она. — Всегда так. Как в доме ссора, так и переживает». А что она ему скажет? Все уже сказано-пересказано. С Гомбо она жить больше не может. И никто ее не осудит, не укорит... Ну, выпивают же люди, не без этого. И она бы могла выпить когда. Пovesелиться, попеть. А это что за напасть такая... Как выпьет рюмку-другую, плачет, фронт вспоминает, кричит: «Г-гомбо матросом был! Флотский парень! Г-гомбо...» И пошла ругань вместе со слезами, со стуканьем кулаком по столешнице. Пьет, пока не свалится. Всю ночь зубами скрипит. Живешь, будто в грозу под раскатами грома, под молниями, под небесными кнутами. Раньше хоть ей одной перепало, а теперь и детям. Не удалась жизнь, так не удалась...

А все, может быть, потому, что смолоду своего ума еще не нажила, а надоумить некому было. Мать больше думала, как бы не прозевать замуж ее выдать, и отца на это же настраивала.

Были у нее, Мэдэгмы, парни на примете. И Гомбо, и еще Гармажап, тот, что теперь председателем колхоза. Гармажап ее во всем улусе выделял. А ей, видите ли, Гомбо больше нравился — стройней и ростом повыше, да и с фронта удачливым прикатил, целехонький, а Гармажап израненный, с костылем.

Девичье сердце, выдать, не особенно чуткое, не всегда подскажет, кого надо любить. Счастье утекло мимо, а она тогда и не почувствовала, что утекло. Потом уж... А ведь одно бы слово сказать Гармажапу — все. И жила бы теперь иначе.

Как-то с Цэрэном на руках зашла она в контору колхоза. В коридоре и свел их случай. Был он все еще в шинели, но без костыля, с палочкой. Помнится, как сейчас, поздоровался.

У нее во рту пересохло. Растерялась, ответила, сама не помнила — что. Стояла и не знала, проходить или нет. Начала поправлять шапку на сыне, лишь бы на Гармажапа не смотреть, боялась, что не выдержит и разревется.

— Твой сын? — спросил он.

— Да.

— Ну, ну! Веселей гляди! — улыбнулся он Цэрэну и больше не добавил ни слова, пошел.

Она видела рукав шинели, засунутый под ремень, и слышала, как постукивала палочка. Мэдэгма зажала рукой рот и ушла из конторы. Поплакала в переулке, где безлюдно было. Сына прижала к груди, и тот заревел с испугу.

Легче, если бы он не поздоровался с ней, не остановился, а то он и на Цэрэна посмотрел, улыбнулся. «Не сердится, забыл он ту любовь, довоенную, — подумала она. — Лет немало прошло».

Мэдэгма одно время нет-нет да и выпивала вместе с мужем. Все причины заставляли ее идти на это. И то, что мужу тогда меньше перепадало, и то, что забыться хотелось из-за Гармажапа. Но скоро она одумалась, поняла, что тут ничего изменить нельзя. Брось вверх камень — он на тебя же и упадет...

После ужина Цэрэн прилег на кровать, потянулся за книгой. Не читалось... Взгляд упал на вазу. По золотисто-коричневой степи скакали кони... Если долго и пристально смотреть, можно почувствовать, как тихо-тихо свистит ветер. Эта ваза осталась от деда. От него много чего осталось...

Пока был жив Тэхэ-ахай — Цэрэн помнил — они жили лучше. Отец не пил. Старик еле ходил, но слово его исполнялось в доме. В те годы Цэрэн не особенно понимал, кем был его дед для людей. Пришло время — понял.

Когда дед болел, он рассказал Цэрэну старинную легенду, откуда в бурятских улусах взялись дарханы.

...На небесах жили добрые боги. Они знали, что трудно тому народу, который не умеет обращаться с железом. И вот задумали они помочь бурятам, собрались на совет и призвали туда небожителя Божинто, великого кузнеца. Сказали они ему: «Пошли на землю сыновей, пусть они обучат бурят кузнечному ремеслу». Спустились на землю сыновья Божинто, пошли по улусам и всюду показывали, как добывать железо, как ковать надо, как точить.

Рассказав легенду, дед молчал, лежал с закрытыми глазами. Цэрэн подумал, что он уснул, и хотел уйти, но Тэхэ-ахай остановил его:

— Подожди. Посиди возле... Скоро, поди, я умру. А ты живи так... В какой бы улус ни заехал, в какую бы юрту ни зашел, у какого бы очага ни присел — всюду чтобы были рады тебе. Ты слышишь? А-а, куда тебе...

— Слышу, — сказал Цэрэн.

— Пожить бы еще, — вздохнул старик. — Я бы свою силу тебе передал. А так что? Клей сварить еще можешь, растереть краски...

Руки деда лежали поверх одеяла. В задубевших ладонях, в скрюченных, узловатых пальцах чувствовалось что-то: не то одному ему ведомая сила, не то ушедшие годы, а может, и то, и другое.

— Я скоро вырасту, дедушка, — нашелся Цэрэн. — И буду сильным, как вы. Буду тянуться на кушаках. Пусть выходит против меня столько людей, сколько живут в двух юртах.

Дед тихо засмеялся и погладил его по голове:

— Так уж и... в двух юртах. Не об этом я тебе. Не о кушаках...

Цэрэн знал, что дед в молодости славился силой, что, когда в улусе устраивали состязания в силе и ловкости, — выходили тянуть куша-

ки семья на семью — дед один перетягивал на кушаках любую семью.

В то лето дед поправился. Ходил по двору, сидел на солнце, грелся, курил трубку. И вдруг в тайгу собрался. Позвал с собой Цэрэн. В мешок положили калачей, мяса, соли, спичек, котелок с посудой. Жили в горах, на берегу Угалзы, ночевали в шалаше.

Дед искал какой-то корень. Выкапывали ильмы, сибирский персик, багульник. Все не то! А потом нашли. Где река подымала берег, там земля обвалилась и такой торчал корневище — загляденье. Подкопали, обрубили и — в котел варить. Это чтобы корень стал плотным и прочным, чтобы цвет его получился приятным для глаза. Многие месяцы дед будет сушить его во дворе, под крышей, чтобы не мочило дождем, не обдувало ветром.

Тэхэ-ахай сводил внука в глухое урочище посмотреть на Камень-Змею. Этот камень уступами поднимался вверх и был похож на ползущую змею. Высоко от земли на уступах Камня-Змеи можно разглядеть нарисованных человечков, коней, какие-то непонятные знаки.

— Как это так? — спросил Цэрэн. — Какой мастер?

Дед покуривал трубку, в глазах его мерпали искорки.

— Люди, дарханы.

— Они с лестницей приходили?

— С лестницей... — усмеялся Тэхэ-ахай. — Теперь про это никто не скажет. Может, святые духи подняли их, может, еще кто.

— А почему камень со ступеньками? Я такого еще не видел.

— Это его птица обклеивала. Помнишь, мать сказку говорила про птицу, которая обклеивала скалы.

Цэрэну смешно, потому что он знал — никаких духов и птиц-пожирателей камней нет, и он видел, что дед над ним подшучивал, но все же в урочище было страшновато. Даже ветки черемухи казались не такими, какие он встречал возле улуса, и простой лютик так сердито качал желтыми лепестками, словно предупреждал, чтобы люди поторопились уйти от Камня-Змеи.

Деда нет теперь. И отца вроде нет...

Может, пойти к отцу?

Быстро встал, оделся, вышел во двор. В зимнике огня не было, на окнах блуждал тусклый свет луны. Потянул скрипучую дверь, переступил порог, сразу же повеяло холодом, чем-то нежилым. Посветил карманным фонариком. Пучок света вырвал кусок старого клетчатого одеяла, из-под которого торчали худые ноги.

— Кто здесь? — послышался хриплый голос.

— Это я.

Луч фонарика скользнул по полу: бутылка, окурки...

— Зачем пришел?

— Поговорить.

— Садись, говори. Хотя не нужно. То, что ты знал, я давно забыл.

А нового ты ничего не скажешь. Если дашь на опохмелье... Понимаешь, дрожь в руках, не могу клещи удержать. Опохмелюсь — пройдет, пойду в кузницу.

— Домой надо.

— Понимаешь, сначала на опохмелье, потом остальное.

Цэрэн поморщился. От тех чувств, которыми полно было его сердце, когда шел сюда, ничего не осталось. Горечь, досада...

Гомбо Сахалтуев вошел в летник вечером. Домашние были предупреждены о его приходе, и он знал, что они ожидали его, но никто не подал и виду, что это было так.



В комнате стоял полумрак. От плиты тянуло жаром и запахом мангир<sup>1</sup>. У стола чистила картошку Мэдэгма, его жена. Хотя как сказать... Может, Гомбо уже не имел на то никакого права—называть ее женой. Они ведь вроде бы разошлись. Да разошлись, и весь улус так говорит. Да, конечно, имелась и причина. Архи... Вот и вся причина.

Гомбо Сахалтуев приготовился к тому, что надлежало ему произнести при входе. Он искал и подбирал такие слова, чтобы как-то было проще и лучше для него и для остальных. Вот что он придумал: «У меня тут (кивок в сторону кровати), кажется, тут, под кроватью

гвозди лежали. В такой вот (показать руками) банке». Ну, а дальше ничего придумывать не надо. Кто-то что-то в ответ скажет. А там, глядишь зацепка. Почему же ей, зацепке, не быть, когда все в этом доме хотят, чтобы она была?

Но он успел сказать только: «У меня тут...» Больше не успел. Поднялся со стула Цэрэн.

— Давай проходи, проходи! Мы вот обедать собрались.

— Да ничего. Я так... Гвозди, видишь ли, понадобились. Ну и зашел. Гвозди...

Никто не понимал, о каких гвоздях он твердил.

— Раз пришел, то... проходи,— сказала Мэдэгма и вышла, почувствовав, что в кухне без нее тем, троим, станет легче, а в сенях ей одной легче.

В сенях она помыла картошку, постояла с закрытыми глазами, вслушиваясь в негромкий говор за дверью. «Пришел — ладно», — подумала она.

Вот ведь как бывает... С месяц назад голоса его слышать не желала, говорила всем: «Глаза бы не видели!» А теперь пришел — и будто тяжесть кто с сердца снял, будто и полегчало.

Мэдэгма вздохнула. Не потому вздохнула, что тяжело, а так, по обыкновению, чтобы не очень уж сразу расстаться с тяжестью, может быть, неловко перед самой собой, что вот взяла и отмахнулась за просто от всего того, что сделал ей когда-то Гомбо. Но раздумывать долго о всяких переживаниях и настраивать себя на прежнее не приходилось, надо идти в дом. А то он выдумает про нее что-нибудь: испугалась, мол, или еще что.

Когда она вернулась из сеней, Гомбо бегло взглянул на нее, продолжая вертеть так и этак не то замок, не то будильник. Она не рассматривала, что он держал, только догадалась, что Цэрэн подал ему это и еще, может, найдет, что подать, лишь бы как-то задержать отца и помирить его с семьей.

— Побегал бы ты, Жалсан,— сказала Мэдэгма. — И чего сидишь?

Жалсан замер, посматривая то на мать, то на брата.

— Обедать я тебя позову,— добавила Мэдэгма.

<sup>1</sup> Дикий лук.

— Пружина отработала,— сказал Гомбо, возвращая Цэрэну то, что он ему давал. — Не пойдет, лучше бы новая...

— Я так и думал,— ответил Цэрэн.

Хлопнула дверь за Жалсаном. Затихли его шаги в сенях, и никому ненужная тишина потянулась от ушедшего, просочилась сквозь двери, заполняя комнату.

— Дрова-то я привез. Видела? — спросил у матери Цэрэн.

— Да уж видела.

— А мы дрова живо разделаем,— сказал Гомбо. И посмотрел на Цэрэна.

— Пойдем, раз так!

Не выказывая торопливости, Гомбо протопал сапогами до порога, спросил — кого неизвестно:

— Колун где?

Мэдэгма молчала, а Цэрэн не слышал, он вышел за пиджаком. Когда Цэрэн проходил мимо, на ходу надевая пиджак, она сказала — тоже кому неизвестно:

— В сенях колун-то.

Но Гомбо так понял, что эти слова она ему сказала, именно ему, и выходило: она смирилась с тем, что он с Цэрэном собрался разделять дрова. Ну, а раз смирилась... И у него отошла тягость от сердца.

Гомбо лежал в сарае на сене. Отсюда видна стена летника, а выше — россыпи звезд. От сена пахло медуницей и чабрецом. Чуть-чуть кружило голову. Не поймешь — отчего бы? Или от травяного дурмана, или от бездонной пропасти неба. Рядом расплывчато белело пятно подушки. Это подушка Цэрэна... Вернется с ёхора, нагулявшись, сколько ему надо, и ляжет. Каждому свое.

Курил, думал... Пальцы обжег, во рту табачная горечь. Чаю бы. Кипяточку. Идти на кухню нельзя. Понятно, нельзя...

Туман наплывает, на всю ночь теперь туман. И звезды те... Мигают.

Вспомнилось... Молодым еще был. Сестра пришла и смеется: ты, говорит, Мэдэгме понравился. Какой Мэдэгме? Он знать никого не знает, да и зачем ему?.. А все же приятно такое услышать — кому-то понравился, надо же! Сестра опять свое: «Хочешь, познакомлю? Домой зазову, а провожать уж ты пойдешь». «Может, она кривая», — отпугнулся Гомбо. Поговорили так. И все. Гомбо думал, что сестра была про эту самую Мэдэгму, подмывало напомнить, а неудобно. Но, выказываясь, не забыла. Взяла и привела. В майские праздники. В улусе гуляли. И Гомбо гулял, два дружка с ним, в складчину купили по бутылке. Впервые в жизни так... по бутылке. Попробовать хотели, как выйдет, бахвальство одолевало. Ну и попробовали. Гармажап уснул тут же, за столом. Утащили его за печь — пускай дрыхнет, сопляк, раз пить не может!

Сидели вдвоем важные, хмель будто не особенно брал. Тогда сестра и привела Мэдэгму. Гомбо запомнил узкую холодную ладонь и влажные черные глаза. Голову сверлила мысль: «Спросить или нет? Вразлюсь я?» Но сдержался, не спросил. А тут за окном — крики, шум. Кинулись с дружкой на улицу. Того сестра успела схватить во дворе, не пустила, а Гомбо ввязался в драку. С кем, за что — не знал, не понимал.

Домой заявился герой-героем. Вместо рубахи одни лоскутки висели. А дружок, опроставшись, валялся на лужку во дворе, и смотреть на него было тошно.

С Мэдэгмой все же он потом познакомился честь по чести. А все — сестра. Устроила так, что вместе кино смотрели. Провожал ее Гомбо



до дома. И получилось так, что стал каждый раз договариваться о новой встрече...

В сороковом призвали его. Служил на Тихом океане, в береговой обороне. Писал ей часто, и она писала охотно. Разлука, как ни странно, сблизила. Порой казалось, что дорожке Мадэгмы и нет у него никого.

В сорок третьем бригаду тихоокеанцев ехала на фронт. В Иркутске с Гомбо случилось нехорошее дело. Написался, устроил на вокзале скандал, подрался с милиционером.

В штрафной роте сходил Гомбо всего в одну атаку, был ранен и после госпиталя списан «по чистой». Что было делать? Не скажешь улусникам, что воевал медной пряжкой со своей же милицией. Пришлось призвать кое-что. Поначалу притворялся о фронте не так уж и много, но слушатели были доверчивы и жадны на все, что шло «от-

туда», и удержаться не оставалось никакой возможности. Плел Гомбо замысловато, умолкал поминутно на слове-полуслове, недосказывал, недоговаривал, благо легко говорить под рюмку. «Вомбят, понимаешь? Ну, идешь... Как накроют — держись. А там землянка... Женщины, дети. Свои. Да-а. Все это такое... Одна кричит. Говорю: «Чего ты? «Боюсь», — говорит. Ну, а дальше балка, такая низина... Ну, выбили немцев, пошли дальше...»

Вроде воевать — все равно, что по улице пройти, хотя, мол, там кое-что и есть, но как-то не замечаешь, просто идешь себе да идешь. «Ну, а дальше балка... Ну, выбили немцев, пошли дальше».

Про иное старое ворошить память трудно, самого себя совестно остается только отгонять эту совесть. Отгонять, как муху надоедливую, самую что ни на есть осеннюю, последнюю... Трудно, а без архива и вовсе бы... Под пьяную-то руку что и нескладно — примут. А трезвым он про фронт молчал, делал вид, что надоело об одном и том же. Трезвым он боялся. Забоишься, пожалуй. Тот дружок, которого когда-то сволок бесчувственного за печку, вернулся из-под Ржева. Вернулся без руки, ладно хоть живой. С ним Гомбо боялся говорить о фронте, даже у пьяного язык не ворочался.

Однажды вот так крепился да и заплакал за столом, чуть не рассказав про тот дебош в Иркутске, про штрафной батальон. Утром в раз бога помянул за то, что не дошел все же до полной слабости.

На те слезы, правда, никто не посмотрел с подозрением. Ну, рачувствовался, ну, что тут такого? Переживи, испытай сам, не то еще запоешь!

Да, вот еще что... Была у него одна такая поездка в гости, про то он тоже не говорил никому. Поездка, можно сказать, на всю жизнь

памятная. Ехал когда из госпиталя, познакомился с аларским бурят-  
том, майором-интендантом Содномом. Фамилия его... Не то Тухаев,  
не то Жалбаев. Этот Содном переводился в местный военкомат. И на-  
комство-то у них было шапочное, только и всего, что в одном поезде  
ехали. Встретились в тамбуре. «Бурят?» — «Бурят». — «Откуда?» —  
«Агинский». — «Ну, а я — аларский». Так поговорили и покурить. Еще  
сталкивались кое-где — за кипятком в очереди, вместе отоварились  
хлебом и селедками в Красноярске. А под Нижнеудинском Содном по-  
звал Сахалтуева к себе в купе. Вытанул из вещмешка одну за другую  
две четвертинки спирту, банку тушенки. Выпили. После того Гомбо  
так понравился интенданту, что наклюнулась из вещмешка еще чет-  
вертинка. «Слабак ты, Гомбо», — говорил интендант. — «Слабак ты пью.  
Вот я пью, так пью». Гомбо пьянел, жаловался на ранение, врал что-  
то про фронт. Пили они всю ночь, целовались и ругались, снова це-  
ловались.

Очухался Гомбо в кузове грузовика. Голова разламывалась. На-  
чал вспоминать... Как эти четвертинки разбавляли в стаканах... Как  
спорили в купе... Кажется, этот Содном звал его в гости? Неужели те-  
перь он едет в улус к родным майора? Этого еще не хватало!

Гомбо уместился с грехом пополам на спяну, приподнялся, ско-  
сил взгляд. Рядом кто-то горбатился и храпел, укрывшись с головой  
шинелью. По красным петлицам опознал... Затормозил, затолкал в  
бок. Из-под шинелки глянуло опухшее серое лицо, разжались губы.

— А-а, морячок! Живой?

Поднялся на колени и загрохал кулаком по кабине. Еще раз под-  
кинуло на ухабе. Гомбо показалось, что голова не выдержит — щелк-  
нет, как орех... Из кабины высунулся шофер:

— Ну что, друзья-однополчане? Не замерзли?

— Какое там замерзли! Согреемся! Постой маленько.

Содном наклонился к вещмешку.

— Где мы? — спросил Гомбо, оглядывая кузов, наполовину за-  
ставленный бочками.

— Нич-чего, — ответил интендант. — Не горюй! Чемоданчик твой  
цел, в кабине аккуратно заприходован. Мозги поправим, подремлем  
еще, а там скоро и дома.

— Может, мне вернуться? — неуверенно проговорил Гомбо.

— Куда ж ты вернешься? — ухмыльнулся Содном. — До станции  
отсюда далековато. Эй, шофер, дай-ка нам стакашек!

Они долго еще дремали в кузове грузовика, тряслись по бесконеч-  
ной степной дороге. Содном рассказывал о своих стариках, о том, что  
моряка примут так, как только в Алари умеют принимать, беспокоить-  
ся ему не о чем.

В улусе, куда попал Гомбо, он узнал, что такое архидашин. Сколь-  
ко было на гулянке у Соднома родственников и просто знакомых,  
столько потом было и застолий. Чуть не в двадцати домах побывал  
Гомбо, а может быть, и больше, поскольку на второй неделе он уже  
мало что соображал, и перед глазами днем и ночью виделся ему Сод-  
ном, целующийся и обнимающийся, и все с одними и теми же словами  
«Слабак ты, Гомбо! Ах, слабак...»

Утром, просыпаясь, он не знал, чем закончился вечер накануне.  
Но всегда он видел на кухне или в комнате перед кроватью, на кото-  
рой спали они с Содномом, хозяина очередного застолья.

Без Гомбо и Соднома архидашин продолжаться не мог. Хоть ка-  
кой ты есть, а присутствуя своей персоной, можешь — пожалуйста —  
спать за столом. А придет время — тебя возьмут под руки и потащат  
к новым гостям, и ты будешь там спать, и никого не увидишь, и никому  
слова не промочишь, но все равно дом будет греметь музыкой и  
песнями.

Все, кто принимал участие в этих хождениях, оставались всего лишь выпившими, были, как говорится, навеселе. Все они умели угощать друг друга, и все они умели настойчиво отказываться от архи.

Гомбо так ни разу и не увидел Соднома пьяным, хотя пил тот много. Его слова: «Слабак ты, Гомбо» сначала раздражали, потом Гомбо почему-то проникся к Содному уважением, и чернявый ежик волос смеющегося интенданта вызывал у него слезы умиления.

Старики Соднома уговаривали Гомбо остаться жить в улусе. Но само собой, остаться он не мог. Его ждал состарившийся отец, и еще надо было ехать потому, что — по всему можно было ожидать — дом стоял запущенным, сестра вышла замуж и уехала в Агинск, а мать умерла в прошлую зиму, и надо было как-то приводить хозяйство в порядок.

Перебирая в памяти все эти давнишние события, Гомбо пытался взглянуть на себя как бы со стороны, ему вдруг захотелось узнать, что думали о нем в том далеком сорок четвертом году те люди, с которыми судьба столкнула его в незнакомом улусе. В памяти ничего не сохранилось. Да-а... Вот Содном, тот с усмешкой, даже с какой-то пьяной ласковостью называл его «слабаком». Но ведь это еще ни о чем не говорило...

Гомбо не мог знать, что как-то поздно вечером, когда он спал пьяным, Содном подошел и смотрел на него, спящего, качая головой и говоря: «Я ведь почему его взял с собой? Такой он совсем молодой, а на войне его чуть не убили. Запросто убить могли. Сграшно, когда убивают мальчишек, таких вот, которые только подумали, что скоро им надо отцами стать. А может, и не подумали даже... Вот я и радуюсь, что еще один остался жив. Вот и угощаю его... За то, что повезло ему в жизни».

А что бы сказал Гомбо, если бы эти слова дошли до его сознания? Этого никто не может теперь знать. Сам Гомбо этих слов не слышал, а интендант ничего не слышал о штрафнике Сахалтуеве. Ну, а если бы Содном слышал о штрафнике, он бы тех слов над спящим Гомбо не произносил и в гости бы к себе не позвал, и те четвертинки со спиртом так и остались бы в вещмешке до самого аларского улуса.

Любимое словечко интенданта Гомбо привез в свой улус, но никому не пояснял, где добыл это словечко, и стал употреблять его сам так же по-русски, как когда-то и Содном, и в том же значении, и с той же усмешкой и пьяной ласковостью к другим, как было когда-то у Соднома.

Женился он на Мэдэгме. Думал, что после женитьбы перед ним откроется какая-то такая жизнь, что и не придумаешь. Умом он понимал, что ничего не случится, что жизнь пойдет самая обыкновенная как и у всех, но все же теплился какой-то махонький лучик: у него будет по-другому!

Все вышло, можно сказать, наоборот. Жизнь у них потекла не совсем самая обыкновенная, как у всех, а похуже.

Или это началось с того довоенного дня, когда с друзьями впервые распили по бутылке, или во всем виноват скандал в Иркутске, или крепко подвел сердобольный майор-интендант, или еще кто-то и где-то подвел... Разве теперь упомнишь? Как-то получилось незаметно. А теперь без стопки и дня прожить трудно.

Говорят в народе, у архи тринадцать поводов. Почему тринадцать? Чертова дюжина... А-а, не все ли равно, почему. И еще говорят, что архи — это сок семи<sup>1</sup> разных цветов и ягод, она притягивает человека и дурманит его, вызывая отрадные чувства. Но она же, архи,—

<sup>1</sup> Цифра «семь» в данном случае употребляется у бурят в том же значении, что «десять».

и кусок мяса бешеного быка, осколок копыта быстрого коня, язык пламени бушующего огня...

Пока был жив отец, старый Тэхэ-ахай, Гомбо все же не очень-то поддавался этим тринадцати поводам, все-таки он боялся отца: тот был строгим и не потерпел бы от сына ничего такого.

Тэхэ-ахай был большим дарханом. Его знали в самых дальних улусах по Онону и Ингоде. Еще бы! У Тэхэ-ахая в старые времена будто бы свои праздники были, свои боги-покровители на небе. Про это мать говорила. И еще говорила, что за отцом, бывало, из дацана упряжки лошадей посылали и просьбу — послужить бурханам, отремонтировать святую утварь, храм Будды. Да и по улусам Тэхэ-ахай нарасхват был. Кому поясной нож украсит узорами, кому — трубку с огнивом. Самый бедный из бедных раньше без поясного ножа да огнива не обходился. Это теперь ножей не носят, отошел обычай... Гомбо даже улыбнулся, представив себя с ножом на поясе. Или вот та же одежда, бывало. Хоть у мужчин, хоть у женщин — всякие бляшки под серебро, а то и чистое серебро на шубах, халатах, шапках. А нынче опять же охотников до этих самых блях поискать надо. Купил, скажем, ты шубу или платье в магазине, не пойдешь же после к дархану за бляшками. Как их нацепишь? Засмеют!

Гомбо помнил, что отец был дарханом и по железу, и по дереву. Что он вытворял только из простой березовой чурки! Все, почитай, сундуки, столики, шкафы в улусе с резьбой Тэхэ-ахая.

Последние годы, перед болезнью, старик не занимался ни ножами, ни бляшками, ни сундуками. Ремонтировал в колхозной кузнице плуги, бороны, культиваторы, сеялки. Подручным у него стоял Гомбо. Лучшего подручного во всем улусе нельзя было сыскать. И металл понимал, и сколько огня надо дать — понимал, а все же старик чем-то недоволен бы, а чем — не говорил. Видать, чего-то не находилось у Гомбо, и слова тут ничем не могли помочь.

После войны лет так через пять старик заприхварывал, а потом и вовсе слег. Лежал неделями, ни с кем не разговаривал, только внука Цэрэна держал возле себя. А потом умер. Легко умер, тихо. Резал из ильмового корня игрушку, резцом чирк-чирк — и сердце остановилось. Пальцы костлявые — когда-то гибкие и чуткие ко всему красивому — сжали игрушку, едва люди разжали, словно старик не мыслит расстаться с кусочком того, чему посвятил жизнь.

После смерти Тэхэ-ахая первым дарханом в улусе признали Гомбо. И жизнь для него пошла вовсе вольная и веселая. Кузница — что, с колхозных сеялок да граблей не разгуляешься. Вот при доме кузня — это ощутимо. То у ружьишка курки расшатались, то у кастрюли дно прохудилось, то еще что... Пить было на какие доходы. И с женой скилось будто бы ничего. С домашней кузни и семье перепадало, и сама Мэдэгма, бывало, не отказывалась от стопки.

Жизнь — она и короткая, и длинная. Прожили с Мэдэгмой столько лет... Старший сын школу закончил, выучился на шофера, подушка его белым пятном вот тут, скоро надо ждать его с ехора. У него, Цэрэна, те же годы, что и у Гомбо были тогда... Втроем с друзьями по бутылке взяли из любопытства, из лихости. В тот день впервые увидел Мэдэгму. Все повторяется. Было у Гомбо, будет у Цэрэна, его старшего... Потом подрастет младший, Жалсан. Все повторяется...

Гомбо вздохнул, вспомнил, что Цэрэн стоял перед матерью, чтобы отец вернулся в семью, в груди ворохнулась теплота, взбил подушку Цэрэна, подкинул сена рядом с собой.

«Все повторяется», — еще раз подумал он и уснул

В магазине Цэрэн увидел отца, робко стоявшего у прилавка. Кровь хлынула к голове, в глазах потемнело, на какое-то время он даже перестал различать лица. Как из тумана, дошли до него слова продавщицы:

— Что надо?

И он сразу угадал: эго отец протягивал ей деньги.

— Ого, сколько медяков!

— Раньше я столько видел на мандалах<sup>1</sup>.

— Теперь больше у табисы бросают.

Каждый что-то сказал и каждый положил свою щепотку соли на рану Цэрэна. Он не мог уже слушать того, что здесь говорилось, и вышел на улицу.

Хлопали двери магазина. Люди приходили и уходили, а Цэрэн стоял. Подошел Гармажап Нимбуевич, взял за локоть:

— Ты сильно-то не переживай.

— Да я ничего...

— Может, что-нибудь придумаем.

— А что тут придумаешь?

— Что-нибудь... Мало ли бывает... Да, вот что — трубку возьми. Отец твой выронил. — На ладони председателя лежала медная трубка.

— Это не его. Такой у него не бывало.

— Так он же выронил! Я видел, поднял, ну, а он уже ушел.

— Это знаете чья трубка? Жалсарая, сторожа.

— Это как же? Забавно, очень забавно, — покачал головой председатель. — И верно, помню, у старика была медная трубка, очень похожая на эту. А недавно я его видел с костяной трубкой. Да-а... Как же быть? Ну, ладно, зайду к нему. Обрадую старика.

Днем, занятый всякими делами, Гармажап Нимбуевич забыл про трубку, и лишь вечером рука наткнулась на что-то твердое в кармане. Вытащил — вот тебе на! Трубка! Пойти, что ли, к старику? Надо же его обрадовать.

Жалсарай сидел с чашкой чаю. У плиты возилась с чугунками Норжима-абагай.

После обмена приветствиями хозяин спросил:

— Что нового?

— Особых новостей нет. Шел мимо. Зайду, думаю. Что-то курить захотелось, а табак вышел. Не найдется ли у вас табачку?

— Найдется, как же. — Старик протянул гостю кисет.

Гармажап Нимбуевич начал набивать табаком медную трубку, искоса поглядывая на Жалсарая. Никакого результата. Хозяин подал ему кремь и трут — надо высечь искру. Кое-как высек, задыхаясь, закашлялся и положил трубку перед собой на стол.

Старик трясущимися руками поставил чашку и, как-то странно сбычизшись, стал отодвигаться от стола, не спуская глаз с медной трубки.

— Узнаете, Жалсарай-ахай? — спросил председатель.

— Где взяли? Бросьте! — прохрипел старик.

У хозяина был такой вид, что гостю стало не до шуток.

— Это ваша трубка? Что с вами? Я нашел ее на улице. Мне сказали, что...

— Бросьте! — повторил Жалсарай. — Бросьте на улицу!

— Н-ничего не понимаю, — развел руками председатель. — Зачем же ее бросать? Разве она уже ни на что не годна?

<sup>1</sup> Блюдо для жертвоприношения.

— Пусть простит меня гость, — сказал Жалсарай, вставая — Я совсем занемог, у меня и так весь день ломило поясницу.

— Эту трубку он не возьмет, — добавила старуха. — Вы сделайте доброе дело, если возвратите ее туда, где взяли.

Гармажап Нимбуевич пожал плечами: «Вот тебе и обрадовал старика!»

— Да что у вас случилось? — еще раз попытался узнать он. Хозяин шептал молитвы, не отвечая. Норжима-абагай вздохнула.

— Возвратите эту трубку туда, где взяли.

Председатель посмотрел на хозяев, постоял, подумал и молча вышел на улицу. Там он повертел в руках трубку, улыбнулся и похоронил ее в темноту.

Наутро Жалсарай собрался обновить изгородь у коровьей стайки. Он сходил за жердями, а потом стал обтесывать их топором.

Торопиться Жалсарая некуда, вот он и тесал помаленьку, отдыхал на бревне, выкурив трубку.

Мимо юрты проходил человек. Не узнать Жалсарая — кто. То ли солнце отвечивало, то ли глаза стали не те, что прежде. Человек наклонился, поднял что-то, увидел старика и — к нему. Ага, так это же партийный дарга<sup>1</sup>, фельдшер Доржи Номтоев! Рукой помахивает и улыбается.

Подсел Номтоев и подает старику медную трубку! Подает и еще говорит:

— Что же это вы разбрасываете? Ну, ничего. Бывает. Я вот тоже так-то потерял...

Замахав руками, Жалсарай попятился от фельдшера и скрылся за стайкой, чем и привел в полное недоумение Доржи Номтоева. Тот оглядел свою одежду, полагая, что в ней заключалась причина столь успешного и непонятного бегства старика, но ничего предосудительного не оказалось. Тогда он достал из кармана зеркальце и осмотрел лицо, но и лицо было обычное.

Доржи Номтоеву ничего не оставалось, как пожать плечами, осторожно положить злослучную находку на бревно и уйти.

А Жалсарай уже не мог тесать жерди. Он взволнованно ходил возле стайки, и у него дергалась щека. Перед мысленным взором его стоял человек в шелковом халате. «Что же это такое? — размышлял старик с грустью. — Почему все находят и приносят мне трубку? Не посылают ли их хозяин горы, чтобы испытать меня?»

— О, бурхан, отведи все беды, — сказал он тихо, — отведи все несчастья, надвигающиеся на мою семью.

«Чего теперь ждать? Или тот в шелковом халате снова пошлет старухе болезнь, или черный вихрь разрушит мою юрту, или бешеный волк поднимет меня, старого, на рога?..»

## 7

Из кабинета Гармажапа Нимбуевича только что ушел ветеринар из районной ветлаборатории. Дотошный такой ветеринар, все приказы и инструкции назубок знает. Сам маленький, худенький, никакого виду нет, а жужжит и жужжит. Хуже шмеля. Того хоть можно прогнать, а этого не прогонишь. Старый знакомый.

Ветеринар приезжал проверять, готовился ли колхоз к купке скота. Эта самая купка проводилась каждое лето. Где-нибудь неподалеку от реки рыли траншею, цементировали ее, ставили изгороди. Траншею заполняли раствором карболовой кислоты с гексахлораном и

<sup>1</sup> Начальник, руководитель.

купали там скот. Иные гурты и отары пригоняли за десятки километров. Дух от карболки шел из траншеи степью, добирался до улуса, и куда было от него спрятаться. Маленький и тощий ветеринар, всю жизнь боявшийся эпидемий, придирчиво следил за инструкцией, и не то что там лошадь или корова — ни одна овца и ни одна коза в те летние дни не оставались без купки.

Ну ладно — купать так купать. Все равно никуда тут не денешься...

Гармажап Нимбуевич подошел к окну, посмотрел на широкий затравевший двор, по которому конюх Дарма водил председательского коня. Ветеринар мало-помалу забывался, но какое-то чувство беспокойства, возникшее с самого утра, так и не проходило. «Что это? Будто бы в колхозе ничего такого нет, дома тоже. Хотя... Как в колхозе — нет? А кузница!»

Кузница стояла с потухшим горном уже давненько, чуть ли не с самой весны. Началось, как всегда, с запоя Гомбо. Надежды на Гомбо у председателя почти что не было. За все те годы, что прошли после войны, подводил его Гомбо на ремонте несчетно. И клятв, и обещаний было столько, что всех не упомнишь. Махнуть бы рукой... Так ведь такого мастера днем с огнем искать. В редкие недели просветления, когда Гомбо, бросив пить, принимался за дело — у него в руках все горело. И на всякие выдумки был горазд. Нынче зимой наладил ступицы у колес сеялок. Все годы эти ступицы заменяли новыми, а тут обошлись. На каждой ступице — семь рубликов экономии для колхозной кассы. Прошлым летом хитро отрегулировал скатную доску у жатки и добился двойных валков на косовице пшеницы. А что такое двойной валок? Это для комбайнера, считай, в два раза меньше заходов на подборке хлеба!

Только тех недель просветления ой как мало у Гомбо! Трезвость отпускала его скупой мерой, на доньшке.

Вместе когда-то в армию призывались, домой возвратились чуть ли не в одно время. Поначалу он считал Гомбо везучим. На фронте его не покалечили. Женился на Мэдэгме. Чего еще? А Гомбо-то оказался вроде яблочка, что с боков румяно, а внутри с неприметным червячком. С годами червячок проточил румяна. Не пошла бы Мэдэгма за Гомбо, кабы знала... Да что теперь об этом думать! Прежнего не вернешь.

Что к Цэрэну, что к Жалсану — у него всегда скрытое любопытство. Радовало, что в Цэрэне не находил ничего от Гомбо. А чего радоваться? Так и так — не его сын, и Мэдэгма не жена ему. А вот недавно у магазина постоял с Цэрэном немного — когда эту трубку подобрал в траве — показалось в прищуре глаз парня что-то от Гомбо. И неприятно вроде стало. А к чему бы? Глупости одни — только и всего.

Братся все же надо за Гомбо. А с чего начинать? Подходящих инструкций тут не имеется. Вспомнил ветеринара и сказал вслух, будто тот мог слышать:

— Никакого, братец, параграфа тут не подберешь.

За окном конюх Дарма все водил лошадей... Личность тоже памятная, в свое время наделавшая хлопот достаточно. Шел этот Дарма не то с конюшней, не то еще откуда-то. По ровному полю шел. И рядом с ним никого не было. Стояли эдак в отдалении бабы. Они-то и видели, что стряслось с конюхом. Закричал Дарма ни с того ни с сего дурным голосом, закрутился, как волчок, и упал. Подбежали бабы, помогли ему подняться, а он бледный и в поту весь. На одну ногу не ступает, висит она у него, словно плеть. Его спрашивают: «Что с тобой?» А он говорит: «Сам не знаю». Шел, мол, как обычно, домой. Не поскользнулся нигде, тропка без ям и без бугорков. Только почувство-

вал Дарма, будто ударил его кто по ноге, сильно ударил. Обернулся — никого нет. А тут боль от ноги по всему телу. В глазах потемнело — и бряк о землю.

Фельдшер определил перелом кости. А почему перелом без всяких причин? Ну и пошли по улусу слухи. Дарму-то, мол, духи накачали, давно в дацан с подарками не ходил, бурханов охаивал. Откуда-то лама заезжий объявился, ходил, косолапя, из дома в дом, шептал молитвы. А дня через три в контору примчался на велосипеде встревоженный учетчик из первой бригады. Там еще солому не всю с поля убрали, с ремонтом коровника забот по горло, а люди какой-то праздник справляли. Председатель в бричку — да туда. На берегу Угалзы, среди кустов, собирались кучками принаряженные колхозники, кое-кто уже был навеселе. Председателя встретили смущенно. При разговоре отворачивались, сваливали все на стариков да старух. После того участились выходы на табису. Дошло и до молебствия в дацане.

И все из-за этого Дармы...

Секретарю партийной организации Доржи Номтоеву на бюро райкома записали выговор «за забвение атеистической пропаганды». Решение бюро Номтоев выполнял энергично. Первым делом заставил убраться из улуса ламу, пригрозил ему судом «за срыв сельскохозяйственных работ». Потом отправил Дарму в город с запиской к хирургу. Там и раскрылось, отчего у конюха без всяких на то видимых причин случился перелом кости: витаминное истощение.

Стоял Гармажап Нимбуевич у окна, смотрел на конюха, вспоминал, а мысли ниточкой тянулись к Гомбо. Почему к Гомбо? Вроде бы никакой связи не было. Один когда-то ногу сломал, другой нынче пьянствует. Что между ними общего? А ниточка тянулась... Беспокойно и тревожно от этого на душе. По жизненному своему опыту чувствовал председатель, что с Гомбо не кончится так просто, зацепит он кое-кого. Дарма-то вот зацепил. Кто бы мог подумать?

## 8

Понутив голову, Гомбо сидел на камне и размышлял. Возле ног валялись бутылки, обглоданные кости, тряпки. Глухо шумел лес, косматые волны тумана цеплялись за сосняк и таяли на легком ветру.

— Дела-а,— прохрипел он и вздрогнул от звуков собственного голоса. — Хуже некуда.

С серого неба моросил дождь. Гомбо сидел, вслушивался. Будто бы машина прогудела на перевале. Нет, ослышался, просто в голове всякая чертовщина. Ворона, поди, каркнула, а он подумал, что машина. Нет, все-таки похоже, что гудки и мотор вот начал подвывать. Стало быть, машина на перевал лезет. Гомбо слушал, вытянув шею.

— Может, что и будет,— шептали губы. — Может быть. — Он погирал ладони, и слабая улыбка пробежала по его бледному, давно небритому лицу.

Шум мотора заглох. Видимо, машина остановилась там, у сосны, где табиса. Гомбо сделал несколько шагов и притаился. Доносились голоса. Кто-то говорил: «Сюда! Сюда!» Снова тихо, только дождь шуршал в листьях. Заурчал мотор. Опять голос: «Поехали, а то опоздаем». Машина прошумела за кустами. Скоро стихло, будто никто и не проезжал.

Гомбо вышел к табисе. Пусто! «Пожалели,— подумал он об уехавших на машине. — Жадюги! Гривенник пожалели бросить». А он-то торопился, лез по кустам, промок, как проклятый. Вот на этом камне когда-то лежала медная трубка, а теперь нет ничего, одна вода поблескивала в расщелине.



Надо побродить по лесу, согреться пока. Может, еще кто пройдет или пройдет, и тогда удастся чем-нибудь разжиться.

Он побрел по тропе, петлявшей среди валунов и корней деревьев. Табиса давала скудные сборы. Перевал обезлюдел. По долинам рек, сказывают, уже начали косить. Скоро сенокос всюду пойдет. Тогда и на перевале ждать нечего.

Гомбо скрипнул зубами. На душе муторно. Не то без водки томило, не то голод мучил.

Сквозь тучи пробилось солнце, в лесу посветлело и начало пригревать. От одежды Гомбо шел пар, тело наливалось усталостью. Блуждающий взор ни на чем не мог остановиться. Между соснами тускло отсвечивала паутина. В вязкие ниточки ткнулся зеленоголовый овод и отчаянно жужжал. Тусклый свет закачался, вздрагивая. Из-под лохматых веток весело скользнул паук и поспешил на жужжание.

«А ну-ка посмотрим», — подумал Гомбо и тут же огорченно вздохнул и чмокнул — овод порвал паутину и растаял в солнечном блеске, исходившем от моросных капель. А капель вокруг столько сияло, что лес был полон ими, и они при дуновении ветра шлепались с легким звоном о землю.

«А мне вот так не вырваться, как тому оводу... — подумал Гомбо. — Не улететь...»

Он выбрал поляну, где трава подсохла, и прилет отдохнуть. Голобу свертил один и тот же вопрос: «Как быть? Как быть?».

По камням и валежнику вытягивались сумеречные тени. На горе Батор вершины деревьев еще купались в затухающих лучах солнца, а в долине уже веяло свежестью, с Угалзы стлались зыбучие туманы. За рекой, в далеких лугах, скрипел коростель.

С фермы по дороге к Батору шли Мэдэгма и Дулма. Позади осталась машина — шофер менял колесо. Они решили не ждать, тронулись пешком.

— Устала я за день, — сказала Мэдэгма.

— А чего же так пешком и пойдем?

Дулме не очень-то хотелось вдвоем углубляться в лес. Впереди стеной вставали деревья, дорога круто поднималась и пропадала в тумане.

Они обернулись, пытаюсь разглядеть огоньки фар. Далеко вспыхнул свет и погас.

— Едет, — определила Мэдэгма.

— Пожалуй, что едет, — облегченно вздохнула девушка. — А жарко! Ночь, а все жарко. И комары. Прямо покоя не дают.

— Пойдем, — предложила Мэдэгма. — На горе комаров нет, там ветерок. А машина скоро догонит. Чего тут стоять? Или боишься?

В голосе что-то насмешливое проскользнуло. Дулма аж вспыхнула: ладно, что в темноте не видно. Сказала беззаботно:

— Само собой, чего тут торчать? — И косынкой махнула: Мне мол, что? Могу и пойти».

— Теперь и до улуса близко, — говорила Мэдэгма. — Перевал пройти, а там...

Замолчали. Серым неясным пятном просматривалась дорога, шумел в тер в мохнатой хвое кедровника, блеклые тучи вытянулись и застыли над перевалом.

Дулма почему-то подумала о своей свадьбе. Какая она будет, овалба? На поляне поставят столы... Возле отцовской юрты? Нет, лучше туда, где общежитие Баторской бригады. Или у Алтан-Булака? Старикам поднесут тоолэй<sup>1</sup>, а старушкам — уусу<sup>2</sup>. Она представила Цэрэна женихом...

— Дулма! Ты ничего сейчас не слышала?

— Ничего. А что?

— Да мне, видать, послышалось...

Мэдэгма посмотрела туда, где должны были показаться фары машины, и ускорила шаги. Ее тревога передалась и Дулме.

И вдруг леденяще скребнуло за сердце:

— Э-э-э-э!..

Клокочущий резкий звук выплеснулся из тьмы и загремел эхом. Дулма уцепилась за руку Мэдэгмы. Обе не дышали.

— Э-э-э-э-эй-е-е!..

Звук стал ближе, кричали у самой дороги. Дулма плохо помнит, что было дальше. Она ойкнула и бросилась бежать. Побежала и Мэдэгма. Позади ухало и завывало. Мэдэгме показалось, что она услышала:

— Хозя-я-я-ин Ба-а-а-тора!!!

Они остановились, когда лес кончился и бежать уже не было сил. Близко мигали улусные огоньки, слышался лай собак. Никто за ними не гнался, пустая дорога лежала под луной.

— Кто бы это мог быть? — спросила Мэдэгма.

Дулму била мелкая дрожь, она никак не могла придти в себя.

— Да ты успокойся, — говорила Мэдэгма. — Никого нет.. Сейчас дома будем.

— Нога что-то болит, — пожаловалась девушка. — Бежала когда... в яму попала, что ли. И голова болит.

— Ты как думаешь, Дулма, кто там кричал? Мне послышалось.

«Хозя-я-я-ин Ба-а-а-тора!» Тебе ничего не послышалось?

Дулма покачала головой.

— И голос вроде знакомый. Где-то слышала. А где — не вспомню. От страха ноги подкосились. Смотрю — ты побежала, ну, думаю, пропали. — Мэдэгма облегченно рассмеялась: — Да ты чего молчишь-то? Или еще не отошла?

<sup>1</sup> Баранья голова.

<sup>2</sup> Бараний крестец.

- Голова болит. И холодно почему-то.
- А нога?
- Нога немножко...
- Придется, девка, тебя отвести. В бригаду или к отцу?
- К отцу. Тут ближе.

Ночные крики на Баторе, так испугавшие Дулму и Мэдэгму, породили в улусе всевозможные разговоры.

— Померещилось, — уверенно заявляли одни. — Лягушка квакнула — они и походили с ума. Известно, бабы.

— Это филин напугал, — говорили другие. — Он, проклятый, до того жутко кричит — кого угодно в дрожь вгонит.

Старики и старухи придерживались своего мнения:

— Ночами не надо ездить на Батору. Хозяин горы сердится, быть беде. Мало богу молимся, а молодые и вовсе... Мимо табисы пройдут — голову не повернут, не то, что пожертвовать хозяину. А слышали, что Мэдэгма говорила? Будто бы кричал сам хозяин. Вот до чего дожили!

Стариков и старух слушали в улусе с улыбками, но, когда узнали, что Дулма заболела — лишилась голоса, улыбок поубавилось.

Осмострев Дулму, фельдшер сказал:

— Афония.

— Что такое? — переспросил Жалсарай.

— Афония. Расстройство речи, возникшее при психических потрясениях. Ничего. Пройдет. Надо постоянно внушать, что голос вернется, заставлять себя разговаривать и не думать о всяких бурханах и шуткурах.

Увидев, что фельдшер не выписал дочери никакого лекарства Жалсарай не поверил ни одному его слову. Он был убежден, что Дулма наказал хозяин Батора.

— Ишь, выдумал! — говорит он о фельдшере. — Афон какой-то. И сам-то не разумеет, как лечить. Вот старуху мою понимал, как лечить, дал порошки и вылечил. А тут выдумал... Афон! Внушать, говорит, надо. Ха! Внушать!? Спасибо хозяину Батора, все же смилостивился — немножко голоса дочери оставил. Хоть шепотом, да может. Ежели помолиться как следует, может, и выздоровеет Дулма.

Жалсарай наказал жене, когда его не будет дома, никого в юрту не пускать. Мало ли что... Еще эту медную трубку могут подбросить.

Обеспокоенная болезнью дочери, Норжима часто выглядывала из юрты, смотрела, не идет ли кто. Когда мимо проходил сын Гомбо, старуха выпезала на улицу, зорко поглядывала на парня: не подкинул бы медную трубку... Сын Гомбо остановился, спросил:

— Как здоровье, Норжима-абагай?

— Ничего, спасибо бурхану.

— Как здоровье Дулмы?

— Ничего, ничего, — недовольно пробурчала старуха. — Бурхан услышит молитву, поможет. Ты иди себе, куда пошел. Мне некогда разговаривать, у меня еще обед не готов. Иди себе...

Цэрэн еще раз проходил мимо юрты Жалсарая, но старуха опять смострела на него подозрительно и недоверчиво.

Дулма не поднималась с кровати — спала или читала. На ноги оказалось растяжение жил, и ходить она не могла. Кружилась голова. Голос почти совсем пропал, она говорила так тихо, что отец и мать с трудом разбирали. Странно, что кашель был громкий, как обычно, а слова еле слышны.

Фельдшер сказал, что не надо вспоминать ту ночь на перевале. А как ее забудешь?

Пришел отец из магазина и начал рассказывать про свой сон, когда к нему приходил хозяин Батора. Старик часто передавал улусникам, что он видел во сне, и незаметно для себя все реже упоминал, что это был сон. Постепенно у него стало выходить так, будто хозяин Батора приходил к нему наяву.

— Вот слушай, Дулма,— говорил Жалсарай.— Было это не так давно. Только поднялся я на перевал, смотрю, у самого утеса человек в шелковом тэрлике, на поясе серебряный колчан со стрелами, лук в руках. Замерло во мне все, и поклонился я тому человеку. Поднимаю голову. Помилуй, бурхан! Никого нет возле утеса. Только веточка березовая качается, знай себе, качается... А ветру никакого в лесу, нисколько! И понял я, что видел самого хозяина Батора.

Жалсарай посмотрел на дочь, желая убедиться, внимательно слушала или не очень. Лицо у Дулмы бледное, глаза закрыты. Не поймешь — заснула, а, может быть, каждое слово запомнила...

Доржи Номтоев сидел в кабинете у председателя колхоза. Он только что рассказал Гармажапу Нимбуевичу о болезни Дулмы, о тех разговорах, что возникли после ночных криков на перевале. Помолчали, каждый думая о своем.

— Кто их все же напугал?— спросил председатель.

— Случайность какая-то.

— Случайность? Помнишь, конюх ногу сломал? Тоже случайность...

— Ну, а что ты думаешь? Филин кричал, лиса плакала?

— Вряд ли.

— Так что?

Гармажап Нимбуевич поднялся из-за стола, опустил руку на плечо фельдшера.

— Мудрено, брат. У меня вот мать давно бурхана выкинула, еще до войны. А сегодня пошла из дома — побрызгала молоком.

— Ну?

— Вот тебе и «ну»! Фельдшер ты как фельдшер... Только не забывай, что ты еще и секретарь партийной организации.

— А что?

— Да вот эти всякие хозяева гор да побрызгивания молоком... По твоей, между прочим, части. Вот этот Гомбо еще. Пьет напропалую — и никаких. А кто ему деньги дает?

Фельдшер сидел, наморщив лоб, барабанил пальцами по столу, какая-то мысль не давала ему покоя.

— Тут что-то не так,— сказал он.— Вот слушай... Иногда будят меня рано. Солнце только-только взойдет. Ну, мало ли что... Захватил кто-нибудь или у больного кризис. И вот, представь, кого бы, ты думаешь, я встречал несколько раз возле Батора?

— Рано утром?

— Рано. И поздно вечером как-то наткнулся. На мотоцикле ехал. Фарами его высветил, а он отвернулся.

— Не представляю. Кого же ты?..

— Гомбо Сахалтуева! Хорошо, что ты его имя упомянул. А то я был бы. Тут что-то не так! Чего ему на Баторе делать ночью?

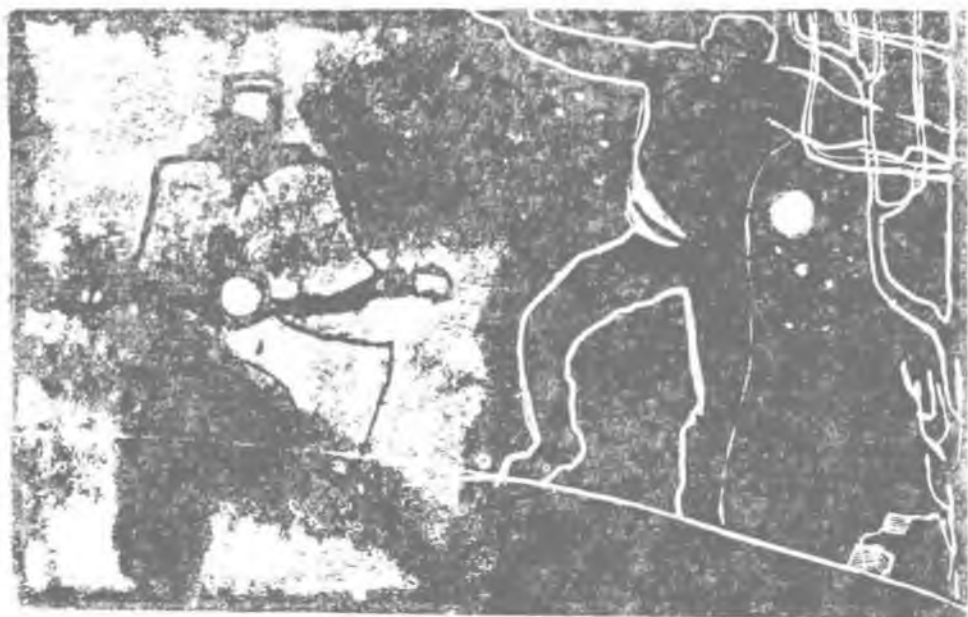
— Вот именно. Ты полагаешь, что это он напугал женщин?

— Ну, я не ручался. Но проверить надо.

— Как же проверить?

— Э-э, в чем другом, а в этом... Я тебя разве спрашивал, как бродячего ламу выжить из улуса? Ну вот. Это я беру на себя.

Гармажап Нимбуевич посмотрел на малорослого фельдшера,



улыбнулся, вообразив, как тот будет выслеживать и ловить Гомбо Сахалтуева.

Вечерние тени сгустились у подножия Батора. Но еще видны кусты, и каменные плиты древнего могильника, и озерко, спрятавшееся в осоке. Песчаная дорога желтела среди сосен, по ней, покачиваясь, уходила тень человека. Вот она качнулась... еще... Дорога, как язык дракона, сглотнула тень — и нет никого.

Из кустов вышел Доржи Номтоев, почесал затылок, подумал легко — на одних носках — заскользил меж сосен, туда, где дракон сглотнул тень.

...На перевале Гомбо Сахалтуев долго тер ладонью лицо, бормотал и ругался про себя. Тень его качалась на дороге, и рядом чуть шевелилась тень мохнатой сосны.

До Номтоева долетели слова:

— Иди ко всем чертям! Меня еще учить? Э-э-э... Гомбо матросом был!

Гомбо стоял у поляны, и на фоне светлого неба было заметно мельчайшее его движение. И вдруг он пропал, словно провалился сквозь землю. Доржи прислушался. Галечник заскрежетал под ногами Сахалтуева. Значит, к утесу пошел. Ну да, куда же еще? К табисе идет. Вот где он собирает мелочь и пустые бутылки! Ох и ночью тут шляется, людей пугал. Понятно, зачем. Чтобы в улусе поверили в нечистую силу, живущую на Баторе. Чтобы на табису почаще ходили, с подарками, понятно.

Доржи выглянул из-за сосны. Так и есть. Гомбо опустился на колени, нащупал бутылку, посмотрел на свет — пустая, зашарил руками, бормоча себе под нос.

«Я тебе покажу... я тебе...» — твердил про себя Номтоев, не зная толком, как ему поступить. «Если схватить — вырвется, не удержит. Разве напугать? Э-эх, припустит!» — Доржи улыбнулся. Подкрался поближе. Пора. Отдышался, успокоился. При полной тишине рывком по-медвежьи:

— Р-р-ры-ры-ух!!! Р-ры!!

Гомбо стрелой метнулся мимо Номтоева.

— Стой! Сто-ой!

И утес, и сосны повторили:

— О-о-ой!..

Доржи кричал вслед:

— Стрелять буду!

А у самого не то, что ружья, палки в руках не было.

Гомбо опять жил в старом зимнике, отдельно от семьи. Никто к нему не приходил и никто не видел, чтобы он к кому-нибудь ходил.

И вот как-то в зимник зашел Цэрэн.

— Пойдем. Председатель зовет, — сказал он, стараясь не смотреть на отца.

— Эт-то зачем? — спросил Гомбо равнодушно, а у самого сердце екнуло от обнадеживающего предчувствия.

— Не знаю — зачем.

— Ну что же, — зевнул Гомбо, спуская ноги с кровати. — Можно и пойти. Отчего не пойти? — и снова зевнул, будто не выспался.

По улице шли, не разговаривая. Цэрэн торопился — поскорее бы до конторы добраться.

У Гармажапа Нимбуевича был Номтоев.

Отец и сын присели на краешки стульев. У Гомбо вздрагивала небритая щека, глаза, прикрытые веками, искали что-то под столом.

— Скажи честно, Сахалтуев, — начал Гармажап Нимбуевич. — Стыдно тебе?

— Что и говорить...

— Ты не крути. Стыдно тебе?

— Ну да.

— Мастером еще называешься, — проговорил Номтоев. — Копеечки подбираешь... Тебе что — работы не дают в колхозе?

— Что нам с тобой делать? — спросил председатель. — Судить бы тебя надо. Ты вот дочь старика Жалсарая напугал. Может, человек инвалидом останется по твоей глупости.

— Это не глупость, Гармажап Нимбуевич, — вмешался Номтоев. — Тут хулиганством пахнет.

— Хулиганство и есть. Судить будем тебя, Сахалтуев. Как ты смотришь?

— Дело ваше, — тихо сказал Гомбо.

— Вот посмотрим, что Дулма скажет, — продолжал председатель. — Если она простит тебя... А с водкой как думаешь?

— Решил не пить. Покончил.

— Это который раз «покончил»?

— Теперь все. Денег у меня нет.

— Найдешь где-нибудь. Была бы охота...

— Дайте работу. А я... слово даю.

— Работу дадим, Сахалтуев, — сказал жестко председатель. — Пойдешь в кузницу, на свое дело. Что зарабатываешь — выдавать жене будем.

— Я с ней не живу.

— Пить перестанешь, так она тебя не протонит. Верно, Цэрэн?

— Ну да, конечно, — торопливо подтвердил Цэрэн. — Переходи к нам, нечего в зимнике валяться. С матерью я поговорю.

— Смотри, Сахалтуев, поверим твоему слову в последний раз. Оправдаешь доверие — хорошо, не оправдаешь — пеняй на себя.

Когда Гомбо и Цэрэн ушли, председатель рассмеялся:

— Нет худа без добра! Гомбо, пожалуй, угробил табису. Как альмо с глаз снял. Кто теперь будет там жертвовать? И молиться тут не пойдут.

— Старикашка Жалсарай хоть помолчит теперь со своим хозяином Батора.

— Может, собрание проведем? Поговорим о религиозных пред-рассудках. Обсудим — что и как.

— Стоит ли? Табисе, ты сам говоришь, — гроб. Верующих у нас не так уж и много. А Жалсарай на наше собрание все равно не придет и старуху свою не пустит. А вот о стрижке овец поговорить следовало бы. Оренбургскому методу чабанов мы еще не учили? Не учили. С нас за такое упущение спросят. Ты как считаешь?

— Ну давай... стрижку, так стрижку.

— У нас кто из Баторской бригады ездил на семинар?

— Смотреть оренбургскую стрижку? Дулма ездила. А теперь она болеет.

— Дулма больше недели не пролежит. Успеем обучить кого надо.

— Договорились, стало быть?

— Договорились.

Вечером к Гармажапу Нимбуевичу в кабинет зашел конюх Дарма.

— Чего ты переминаешься с ноги на ногу? — улыбнулся председатель. — Говори, чего надо.

— Отпустите меня с конюхов.

— А эта работа чем тебе не по нраву?

— Так бы ничего, с малолетства привычная. А только нога не дает. С этими лошадьми беготни много. Я уж и так думаю, и эта... Не выходит.

— А чего выходит?

— Отпустите в кузницу. Слух есть, будто вернулся туда Гомбо. Подручный ему нужен.

— Он сам тебя послал?

— Да вроде так... — замялся Дарма.

— «Вроде так»! — рассмеялся председатель. — А в кузнечном деле хоть смыслишь?

— Что вы, Гармажап Нимбуевич! Приходилось с малолетства. Привычно.

— У тебя все привычно, все с малолетства. Пьешь?

— Что вы!

— За Гомбой посматривай. Никаких ста граммов! Если кто придет... с этим самым... подбивать начнет — молотком по шее. Понятно?

— Как не понять.

— Завтра пойдет кузница?

— Пойдет. Мы уж и угольком запаслись.

— Ладно. Перевожу в кузницу. Смотри, ногу там не поломай. Про витамины не забудь?

— Не-е, — улыбнулся Дарма.

— Смотри. Скажи жене, чтобы мангиром кормила, что ли. Еще мангир-то?

— Ем. — Дарма опять улыбнулся.

— Ну иди тогда. Завтра подыщу тебе замену.

«И верно, может, к лучшему, что Гомбо побирался на табисе», — подумал Гармажап Нимбуевич. — И для него это урок, и таким, как Жалсарай, мозги продует».

В Угалзе кузница не какой-нибудь сарай, крытый дранкой. Из бутового камня поставлена. Гомбо так и звал ее — каменушка.

В улус Гомбо ходил только ночевать. Выпивал кринку молока и хлебом и шел в сарай, на сено, дожидаться утра. Он и во сне ждал

утра, снилось, как кузнечный мех дышал, как угли каленые потрескивали, как молот с гулким звоном опускался на железо.

В свою каменушку Гомбо уходил, когда Мэдэгма доила корову. Улус еще спал, а Гомбо уже качал мех, не дожидаясь Дармы. Бросал в огонь заготовки, чтобы к приходу молотобойца все было как надо.

В те ранние часы, пока он был один в кузнице, Гомбо мастерил для младшего сына водяной велосипед. Давно как-то в Чите видел он мальчишку на велосипеде, и вот пришла мысль сделать такой же для Жалсана.

Жалсану все не терпелось посмотреть, как делаются колеса. Он видел, что отец варил в мутной воде березу, потом подогревал ее на костре и она легко сгибалась. А как получились колеса, Жалсан не видел. Когда в обед принес отцу узелок с едой, два новеньких колеса с лопастями лежали на чурбане у порога и от них пахло краской.

— Вот поедешь по реке на велосипеде, — говорил отец, — не напугай гусят. А то тебя тети заругают.

— А я возле дома, — отвечал Жалсан.

Из каменушки вышел Дарма, потный и грязный. Только зубы блестели.

— Ты, Жалсан, далеко не ездил. Сломается машинка — еще утонешь.

— А я возле дома, — твердил Жалсан.

Дарма рассмеялся, присел на порог. Вытащив трубку и набив ее табаком, он стал рассказывать Гомбо:

— Жил один дархан давно. Шойбоном звали. Семья у него прожорливая... Вот таких, — он указал на Жалсана, — полная юрта. Да-а. Ну так вот, встретил он купца. Дело-то до революции было. Тот возьми да закажи дархану велосипед. Дал ему какую-то книжку с рисунками этой машинки. Ну, сделал Шойбон велосипед для купца и захотелось ему для себя такой же сделать. Задумал — исполнил. Стал ездить на нем по русским деревням, продавать лопаты, корыта, грабли и всякое такое... Торговал хорошо. Народу сбегалось много, когда он на самоходной телеге появлялся. И все бы продолжалось хорошо, только почему-то не взлюбили этот велосипед ламы. Почему не взлюбили? Нечистая сила, говорят. Этот Шойбон, мол, затевает дрянное дело. Телега без лошади — что это такое? Это, говорят, нечистая сила добирается до лошади Шойбона. Но той лошади ей будет мало, и нечистая сила доберется до всего улусного табуна. Останетесь без лошадей, с одной чертовой телегой. И ведь сговорили народ. Приходили к Шойбону люди, просили сломать тот велосипед, он не послушался, жалко рушить такую машинку. А все равно лишился.

— Сломали все же? — спросил Гомбо.

— Да нет, не сломали. Сожгли. Пришли ночью и сожгли.

— У меня не сожгут, — сказал Жалсан. — Я на замок запру.

Дарма закатил глаза, прогянул, оттягивая губы:

— М-м-да. У тебя, конечно, не сожгут. Замок — это вещь. А вот Шойбон-ахай про замок не догадался.

Дарма покачал головой, улыбнулся и крихти поднялся.

Жалсан присел на порог посмотреть, как отец и дядя Дарма возмущаются ковать железо. Интересно...

— Уф, уф! — это дядя Дарма качал мех.

Угли вспыхивали сплошным голубоватым огнем и гудели.

— Гу-у-у!

Железная труба, изгибаясь, сбегала с потолка и по ней, как думалось Жалсану, катились эти звуки:

— Уф, уф!

Пахло железным нагаром, едким дымом и еще чем-то горячим.

Отец брал щипцы, вытягивал из огня красный кусок железа и ложил его на наковальню. Тогда дядя Дарма бросал качать мех, хватал из угла молот и бил по красному железу. Во все стороны летели искры. Иногда отец коротко говорил:

— Посильнее! Еще!

Отец в кузнице был сердитым, разговаривал мало и не смеялся. Такой отец Жалсану нравился. Ясно, что трезвый. Мама будет снова веселой и даже если он, Жалсан, провинится в чем-нибудь, она его не сильно отругает и гулять отпустит. И еще мама отца ругать не станет, и он не закричит на нее. Дома хорошо тогда...

Жалсан готов отказаться от велосипеда, лишь бы отец не пил и дома всем стало хорошо. Он надумал было сказать об этом отцу, но сдержался, почувствовал, что отцу это не понравится.

Скоро все запахи кузницы переселились во двор Сахалтуевых. И трава, и изгородь пахивали дымом и горелым железом. Это потому, что отец раздевался и умывался во дворе. Жалсан подавал ему воду в ковше и, наверное, вместе с мылом и водой дым со щек отца уходил в траву. Жалсан удивлялся... Сколько бы отец ни мылся, все равно лицо и руки у него оставались бронзовыми и напоминали остывающее железо на наковальне.

Вечерами заходил председатель колхоза. Дядя Гармажап и отец садились во дворе на бревна, курили и разговаривали о сенокосилках. Ни о чем другом они не говорили. Один только раз Жалсан слышал, как дядя Гармажап ругал ветеринара, а отец смеялся. Жалсан знал этого ветеринара и догадался, что на берегу речки будут купать скот. Прошлым летом так было. Жалсан ходил на берег смотреть, как загоняли в яму коров. Коровы громко мычали и не хотели купаться. Такой шум стоял! Пастухи кричали, хлестали коров хворостинками. Жалсан много раз там бывал, пока мать не отшлепала за то, что перепачкал в карболке ноги.

Когда дядя Гармажап ушел, Жалсан спросил отца:

— Скоро ветеринар приедет, да? Опять будут коров купать?

— Приедет, — ответил отец, а сам и не посмотрел на Жалсана.

До самой темноты отец просидел на бревнах и все думал, и мама еле дозвалась его, чтобы шел ужинать.

За ужином отец сказал Жалсану:

— Ты уж подожди с велосипедом. С недельку... Некогда мне.

— А что такое? — спросила Мэдэгма.

— Да вот председатель просил что-нибудь придумать... Скот надо купать, дело это канительное.

Пришел с работы Цэрэн. Пока переодевался, мылся, отец передал ему разговор с председателем.

— Да-а, эта купка... — неопределенно протянул Цэрэн. — Канители тут хватает. Попробуй-ка за лето со всех стоянок гонять гурты по старым туда и сюда. Милое дело — устроить передвижную купальню. Где скот пасут, туда и ехать.

— Трапшею в каждой пади рыть не будешь.

— Надо придумать. Что-то вроде дождевальной установки.

— Вот я и хочу заняться.

Цэрэн подмигнул брату:

— Ничего... Подождешь с велосипедом. Ладно?

Жалсан мотнул головой.

Мэдэгма, разливая суп по тарелкам, поглядывала украдкой на мужа и сыновей. Не верилось, что совсем недавно жизнь была иной.

В юрту Жалсарая зашел Гармажап Нимбуевич узнать о здоровье Дулмы. Бабка Норжима председателя не посмела не пустить.

Дулма выздоравливала, чувствовала себя намного лучше. Но одеялу разбросаны журналы, книги... После того, как она узнала, что ночью на перевале кричал Сахалтуев, ей было неприятно и досадно. Все же он отец Цэрэна... Но зато спала пелена таинственности и неизвестности. Хотя Дулма и не верила наговорам и молитвам отца, все-таки что-то оставалось на душе тревожное. Теперь ничего этого нет, как и нет никакого хозяина Батора. В жизни все стало как обычно. Все стало проще, чем думалось в минуты испуга.

— Давай, давай поправляйся, — улыбался председатель. — Мы тебя ждем.

— Дядя Доржи говорил, что надо еще дня два полежать.

— Ну-ну. Два дня можно, — снова заулыбался председатель. — Мы ведь ждем... этот самый семинар провести... Маленько припоздали.

— Не так уж и много времени займет...

— Да успеем, успеем. Ты поправляйся. Вот не думал, что человека так напугать можно.

— Я сама не думала.

Бабка Норжима поставила перед гостем стакан чая, спросила, обиженно поджав губы:

— Этот пьяница, говорят, опять в кузнице? Чтоб ему на том свете переродиться в змею!

— В кузнице, Норжима-абагай, в кузнице. Слово дал. Обещал не пить. Последнее слово. Хорошо работает, ничего такого не скажешь. Вину свою, видать, прочувствовал.

— Он таких обещаний столько выкладывал, сколько на иной сопке камней. Кому хочешь — выложит. Скоро опять сопьется, — убежденно заявила хозяйка.

Дулма молчала, полуприкрыв глаза. Отец и мать настаивали, чтобы она подала в суд на Сахалтуева. Ну нет... На отца Цэрэна... Да и перед Мэдэгмой неудобно. Вместе были на перевале, вместе бежали. Мэдэгма и Сахалтуев помирились, живут снова вместе, а она одна... в суд. А главное — Цэрэн... Да и зачем судиться? Все кончилось благополучно.

Председатель посидел немного и ушел.

Дулме надоело лежать, и она вышла на улицу.

Подождал отец, спросил, не холодно ли ей. Он вынес для дочери из юрты скамейку, поставил с подветренной стороны. Посидели, помолчали.

— Председатель был?

— Недавно.

— Ну-ну, — удовлетворенно заключил Жалсарай. Ему льстило, что сам председатель наведывался к дочери. — Наш Гармажап-то хозяйственный и политический, дай бог...

— Не политический, — поправила Дулма. — Надо говорить, что политически подготовленный.

— Так я про то и говорю. Только не пойму, почему он пил пьяницу в колхоз? Разве из-за Мэдэгмы...

— Почему из-за Мэдэгмы?

— Он же ее любил когда-то. Жениться собирался, а тот Гомбо каким-то путем опередил его. Этому Гомбо все с рук сходило. А то, что святое место осквернил... табису обворовывал... это ему так не проиграло. Дух горы накажет. Да-а. Так вот он, Гомбо-то, пьянче мне попался, шел с этим... Как его? С Цэрэном, со старшим сыном. Прошли мимо и посмеялись. Чую, что надо мной. Глупый, мол, старик, верит в бурханов и нечистую силу. А может быть, и над тобой посмеялись. Ну, то, что погуляли...

— Ну вряд ли так... Мало ли, что смеялись. Причины сколько угодно.

— А мне вроде как шепнул кто: «Над тобой, Жалсарай, подсмеиваются». Шепнул кто-то, а никого рядом не было. Это сами духи подсказывают.

— Сахалтуев — еще понятно... А Цэрэну зачем смеяться?

— Ха, зачем? Он ходил с ним в правление, он, надо думать, и председателя уговорил. Ему что? Мать-то у него не заболела, а до тебя ему какое беспокойство? Хоть бы ты и без языка жила, так ему это... Он все чего-то с нашей матерью заговаривал, хотел, поди, узнать, будем мы в суд писать на его отца или... А узнал, что не пишут — и смеется теперь. Ему что?

Дулма поднялась.

— Что-то холодно. Пойду полежу.

— Иди, иди. Как же... Отдохни.

В дымоходе юрты голубой осколок неба. «Сосчитаю до ста», размышляла Дулма. — Если ветер не пошлет облаков, тогда Цэрэн любит меня. Она считала и улыбалась своей маленькой хитрости. Откуда же быть облакам, когда все небо чистое-пречистое? Она не досчитала до ста, бросила. К чему выдумывать? Не пришел... А как он мог придти, когда в юрте все время родители? То мать, то отец. Он может быть, проходил мимо, и не решился. Может быть, он даже спрашивал мать или отца, спрашивал о ней... Узнать у матери... А как?

— Мама! — позвала Дулма.

— Ну.

— Меня никто не спрашивал?

— Тебя? Э-э... Не помню. А кто мог спрашивать?

— Да так... Мало ли кто.

— Будто бы никто.

Дулма смотрела на голубой осколок неба, в голове вертелось одно и то же: «Не пришел. Не пришел».

«Мать могла забыть, что приходил Цэрэн, — думала Дулма. Вдруг и верно забыла? Что ей Цэрэн? Но все-таки... Как бы то ни было, а не пришел! Захотел — пришел бы. Надо — пришел бы. Ни кто не остановил бы. Может, отец и прав, что Цэрэн смеялся?.. Но не явился — все можно думать. Ему свой отец ближе, своя мать дороже. Лишь бы у себя в семье хорошо... А что ему я? Из резины стрелял в школе... Он всегда такой... ему верить нельзя. Не пришел ведь! К черту причины! Какое мне дело до причин? Их можно выдумать в любое время, они легко приходят в голову, когда нужно. Не-ет... Все понятно. Главное, основное — это то, что не пришел. Фатальное — так себе...»

## 10.

Семейная жизнь у Гомбо налаживалась, постепенно забывалось прошлое. Но вот вдруг он сам почувствовал, что прошлое не уходит безвозвратно, не-ет, не ушло. Он ждал, что это случится, потом как-то поверил, что все обойдется. Напрасно поверил. Где-то сосал и тянул червячок... Все сильнее хотелось выпить архи, ощутить легкую бездумность, стать веселым, беззаботным. Но он-то знал, чем это кончится. Надо выбросить из головы всякую мысль об архи, заставить себя стиснуть зубы. А червячок все сосал и тянул...

Гомбо старался думать только о передвижной купальне для скота. Вечерами уходил на берег Угалзы, чтобы никто не мешал. Но думать и думать он не мог — давал знать о себе червячок... Надо ходить возле воды, бросать в речку камни. Что хочешь — только не сиди

И он ходил, и бросал. И думал. Автомашинна и бак с раствором, электродвижок. Движок подает раствор. Дальше что? Шланг? Нет, шланг не годится. Обливать каждую овцу, лошадь... Это долго, надо побыстрее как-то. Чтобы сразу поставил несколько овец и — включил движок. Надо вроде дождя и еще, чтобы раствор подавался со всех сторон. Взять обыкновенную лейку? Десятки таких леек... Если прогнать трубы с мелкими отверстиями, как у леек? Да, пожалуй. Что еще придумаешь? Лейки становятся трубами. А трубы можно поставить так, что раствор пойдет снизу, сверху и с боков. Очень просто. И хорошо.

Что еще? Да, а как быть с раствором? В траншее он расходовался экономно. Цемент держал раствор. Но траншею с собой не возишь. А если этот дождь из труб-леек пустить на землю, то... Нет, это никак не годится, нет смысла и трубы просить у председателя.

Как же удержат раствор?

Помог случай. С вечера забыл на изгороди брезентовую куртку, в которой ходил в кузницу, а ночью был дождь. Утром Гомбо поднял куртку из травы, повертел в руках, раздумывая, надевать или нет. Надо, пожалуй, сушить. Крикнул, было жену, и замолчал, смотрел на куртку, вспомнив, что осталась после дождя на брезенте лужайца. А что, если?... Расстелить на лужайке брезент, поставить трубы... Похоже, что получится. Надо проверить, попробовать.

Гомбо кинул куртку на изгородь, заторопился со двора.

Цэрэн оставил машину у общежития Баторской бригады. Свет фар уперся в березовые жерди изгороди, за которыми толкались и слепили овцы.

Старик сидел на крыльце и дымил трубкой, с любопытством поглядывая, как Цэрэн вылезал из кабины.

— Дедушка, Галдан дома?

— А вон там, — старик показал на темневший неподалеку колодец, откуда доносилось легкое гудение мотора — Возится с насосом.

Цэрэн пошел туда, не совсем ясно представляя, о чем говорить с Галданом. Когда-то были дружками: и на улице вместе, и на ехоре вместе. А потом что-то у них расклеилось. Галдан теперь никуда не ходил, жил в бригаде, а будто людей возле себя не видел, всех сторонился и больше молчал. Свободное время Галдан проводил в улусе, где жила его больная мать с двумя малолетними дочерьми. Цэрэн бывал там не раз, жалел, что все так неудачно у Галдана... Мать его почти не вставала, лежала худая, бледная, с синими прожилками на выступающих руках. В юрте у них устоялся запах лекарств, отчего у Цэрэна кружилась голова, и он не мог долго там оставаться. Он как-то спросил Галдана, почему бы не отвезти его мать в больницу, а тот сказал, что бесполезно. И больше ничего не добавил.

Встречались они все реже — только случайно, общих интересов у них не было, и Цэрэн обычно испытывал неловкость при встречах. Главным сам в чем-то виноват перед Галданом. А иногда ему хотелось поговорить с ним. Галдан такой добрый, уступчивый во всем. Раньше, случалось, эта его уступчивость раздражала, а теперь Цэрэну вроде бы не хватало мягкости и теплоты Галдана.

Галдан подошел к нему, вытирая руки тряпкой. При сумерках хорошо видно, но все же Цэрэн заметил усталость и равнодушие на его лице. Будто бы он и не узнал Цэрэна. Но нет — узнал.

— Ну как жизнь? — спросил Галдан.

— Да ничего. У тебя?.. С матерью что?

— Как всегда.

— Может, в клуб сходим?

— Мне нельзя.

Ответил так, что и уговаривать уже не хотелось. Зря заехал. Зайти в общежитие? Или уехать?

— Ну-ну. Я поеду тогда.

— Давай.

Цэрэн залез в кабину, нажал на стартер. Разворачивая машину, разглядел в пучке света девушку.

«Дулма!» — пронеслось в голове. Он был почему-то уверен, что это она. Девушка вроде бы скрылась за кошарой, там проходила дорога в улус.

Цэрэн газанул, прощупывая фарами степь. Сердце гулко стучало. Он приоткрыл дверцу и все смотрел, готовый сразу же остановить машину.

«Она! А если нет? Она!»

Цэрэн резко затормозил и не помнил, как выскочил на тракт. Теперь он узнал Дулму по косынке — по острому козырьку. Она так заязывала...

— Здравствуй! — проговорил он глухим от волнения голосом.

— Кто здесь? — она остановилась. — Это ты?

— Да.

— А-а... Я думала, чья машина? Здравствуй.

Дулма прошла мимо, не остановившись. И он пошел за ней.

— Как себя... чувствуешь?

— Хорошо.

Он ощутил в ответе холод и будто бы высокомерие.

— Я заходил к тебе... тогда.

— Да? — спросила она все так же холодно, но, кажется, без высокомерия.

— Заходил, но твоя мать... Вот... Дважды был, спросил про тебя.

Дулма усмехнулась:

— Да уж ладно. «Спросил...»

Холода в голосе не было.

— За Галданом заезжал?

— Звал в кино. Отказался... Он какой-то...

— Какой?

— Ну... никуда не вытащишь.

— А что ему? Он с Цырмой... Вот она его вытащит куда угодно.

— С Цырмой?! Ну уж не подумал бы. — удивился Цэрэн.

— Это почему же?

— Так, вид-то у нее... Рыжая какая-то. Волосы на глаза нависают, а глаз и так не видать, они у нее одного цвета с волосами и с лицом. Вечно кого-то боится или стесняется. Чего он в ней нашел?

— Ну это ты лишнее. Она ничего, только... Ну, конечно, бывало. Странности у ней есть. Может, потому что без подруг ей скучно. У ней нет подруг. Понимаешь? Как-то она брала у моего отца буддийские книги. А когда я спросила ее, ответила, что интересно узнать, что в них пишут. Вот уж не подумала бы время терять.

— Может, погуляем?

— Что-то не хочется.

— Ты зря сердишься. Я же приходил тогда. Твоя мать...

Дулма повернулась к нему и заговорила быстро:

— Ну и что мать? Что? Дело не в том... Мне и не нужно... Я ждала никого. Подумаешь! Что — мать? Не пришел — это так. А чем объяснять, оправдываться? Зачем? Разве кто просит об этом?

— Ну, виноват. Ну, что сделаешь? Я же без умысла.

— Да я ничего, просто говорю. Пойду я... А го поздно да и холодно что-то. — Дулма вздохнула и направилась к общежитию, не оборачиваясь.

До Жалсарая дошли слухи, что в дацане собираются верующие на молебны в честь будды Майдари, и старик не усидел дома. Оставив жену сторожить магазин, Жалсарай на попутных машинах добрался до дацана.

Это моление для него как раз кстати — надо обрести в душе спокойствие и укрепить веру в богов. События на табисе внесли кое-какое смятение в привычный склад его мыслей, и он желал поскорее избавиться от этого смятения.

Ламы всегда учили, что жизнь, есть страдание. Что верно, то верно. В детстве Жалсарай чуть не умер, тогда повально болели все дети в улусе. Такое повторялось часто... Не то, что семьи, а целые улусы лишались детей. Они рождались и скоро умирали.

Надо было как-то прятаться от нечистой силы или звать на помощь бога Дамдина. Но в те времена бог Дамдин, который только тем и должен был заниматься, что подавлять нечистую силу, не подавал о себе никаких признаков. А как без него уберечь детишек? Куда спрятать? Сказали, что надо давать сыновьям такие имена, чтобы одно произношение имени вызывало чувство презрения. А дочерей нарекать так, чтобы при их именах появлялось чувство брезгливости. Тогда, мол, нечистая сила оставит в покое мальчиков и девочек бурятских улусов, и они продолжат род свой. Вот такая была жизнь...

Всего насмотрелся на своем веку старый Жалсарай. Часто приходилось потуже завязывать кушак — то летняя засуха выжжет травы в степи, то весной нагрянет дзуд<sup>1</sup> и погубит последний скот. Две войны пришлось пережить...

И в колхозе долго не ладилось, пока Гармажап не взялся за хозяйство. А теперь ничего, жить можно. И на стол что подать, и надеть на себя есть что, и дети не умирают. Не слышать что-то. Уже давно не говорят, что вот там-то умер чей-то сын или умерла чья-то дочь. Удивительно. Не умирают и все. Жалсарай, можно сказать, даже отвык от того, как это бывает, когда детей хоронят.

В бога Дамдина он теперь не очень-то верил. Правда, не отказывал ему в молитвах и приношениях, а в душе все же на него не надеялся.

Собираясь в дацан, он перебрал год за годом свою жизнь и вынес мнение о том, что он праведный верующий, но и не без грехов. Праведный — потому, что страдал много в жизни. А откуда причины страданий? Ламы убеждали, что все беды от благодатных желаний и страстных влечений. Не надо заполучать земных благ, не следует возбуждать в себе влечений. Надо подавлять и то и это. А он не всегда подавлял. Но если разобраться, так уж не столь и тяжки его грехи. Ну, скажем, возмечтал о том, что на сторожевом его доме возьмут да и заменят ему старую берданку на карабин. Тогда бы он пошел в тайгу и, может быть, подвалил бы там сохатого. Ему со старухой было хватило бы на всю зиму. Грех это или нет? А как же! Нечего о тайном и запретном думать, о корысти и богатстве. Он и старался не думать, а все же карабин, бывало, и во сне, проклятый, снится, не давал покоя.

Ну, это ничего. Он в дацане помолится, укрепит в себе веру и пойдет для себя пути спасения души.

Дацанские крыши, словно крылья сказочных неведомых птиц, распластались над толпой верующих. Того и гляди, что эти крылья в буйном ветре поднимут все двухэтажное каменное здание и унесут за облака, к небожителям.

<sup>1</sup> Гололедица в степи.

Жалсарай, всякий раз, когда бывал здесь, почему-то так думал об этих крышах, и сердце его наполнялось смутной тревогой. Слава бурханам и святым ламам, что простых смертных они лишили дара предвидения, дара угадывать мысли человека, а то для Жалсарая — ой-ой! — как много было бы неудобства. Попробуй, скажи кому-нибудь, что его мучает... Лететь или не лететь к небожителям вместе с ламами, если бы так вдруг все произошло? Как добропорядочный верующий, он обязан лететь с желанием, но, увы... Этого желания никак не было. Как его примут небожители — это еще неизвестно, а то, что у себя в юрте ему неплохо, так это так и есть.

Жалсарай потолкался среди верующих, покрутил хурдэ<sup>1</sup>. Удобно и времени много не требуется. Попробуй-ка перечитай, перескажи все молитвы, которые упрятаны в хурдэ. На это и дня, пожалуй, мало. А тут подошел, жертвоприношение сделал, крутнул священное колесо — и боги тобой довольны.



После хурдэ Жалсарай зашел в дацан, шептал вместе со всеми.

— Ом-мани-пад-мехум!

Склонял голову перед медноголовыми сонными бурханами, слушал хор лам. Ламы басовито рокотали о райском царстве — «светлой земле», о тамошнем владыке Амитабе. Чтобы попасть в райское царство, надо избавиться от искушений свиньи, змеи и курицы, которые несут в себе причины всех пороков человеческих. Потом ламы запели о том, что жизнь на земле — не вся жизнь, что здесь надо быть умеренным и терпеливым, отказаться от греховных радостей и соблазнов, думать о нирване<sup>2</sup>.

Жалсарай, положив на жертвенное блюдо деньги, вышел из дацана.

Кто-то тронул его за локоть. Старик обернулся. Перед ним стоял пожилой бурят в светлом костюме и лаковых ботинках. С узких поджатых губ стекала неумеренно улыбка.

— Вы ли это? Жалсарай?!

Где-то он видел эти узкие бескровные губы. Где? И в голосе — мягком, покровительственно-дружеском — тоже что-то знакомое.

— Не узнали? — продолжал тот. — Да и как узнать? Столько лет прошло, а-я-я-яй! — Он сцепил руки и чуть покачивался, разводя колени.

И сразу же в сознание Жалсарая вошел этот пожилой бурят: ой! Ну да, он! Только тогда он был не в костюме, а в ламском одеянии с орхимжо. Это же Гатаб, лама Цугольского дацана. Он же родом из Угалзы. Вот так встреча!

<sup>1</sup> Молитвенное колесо. Внутри его бумажки с текстами молитв. Крутить колесо — означает читать молитвы.

<sup>2</sup> Загробной жизни.

Гатаб повел Жалсарай по тропинке, все время ахал, удивлялся, что повстречал земляка.

Гатаб спрашивал, кто из стариков жив, кто — помер, какие семьи уехали из Угалзы. Сам он там давно не был, с тридцатых годов Жалсарай знал, что в давние времена Гатаб жил при Цугольском дацане на берегу Онона, в просторном доме, ему прислуживали несколько хуvaraков-учеников, он числился одним из видных габжей<sup>1</sup>. С тех пор много из Онона воды утекло, дацан Цугольский закрыт по повелению тамошних бурят. Старика так и подмывало спросить невесть отцу, взявшегося габжу, кто он теперь и где проживал все эти годы. Но так у бурят не заведено и приходилось ждать, когда заговорит сам Гатаб.

Узнав о смерти Тэхэ-дархана, Гатаб сокрушенно покачал головой, но тут же заметил:

— Боги нуждались в таком мастере. Он живет на светлой земле. Великий Амиитаба, надо думать, наделил золотыми руками его сына. Его Гомбо звали? Так?

— Так, так. Гомбо.

— Ну и как он? Что подделывает?

— Кузнецом в колхозе.

— Славный мастер?

— Да, да. Как же...

— Ну вот, я же говорил... Амиитаба велик своей справедливостью и прозорливостью.

Жалсарай подумал о том, что Амиитаба тут ни при чем, владыкья рая не станет дархана перевоплощать в пьяницу. Но почему-то не хотелось рассказывать плохое о Гомбо. Сахалтуев все-таки жил вместе с ним в Угалзе и какой бы там ни был, а свой. А габжа... Кто его знает, что это за человек теперь. Лучше помолчать, послушать.

— Как народ живет в Угалзе? — спросил Гатаб.

— Так живет... Разно живет.

— Хорош ли доход, есть ли что подать на стол гостю?

— И доход ничего, и гостей принять можно.

— Это ладно. Вижу, молитесь с усердием. Я-то из дацана ушел. Что поделаешь? Теперь и дацаны не те, и служба не та. В военное смутное время жил под Красноярском. Подумал, пожевал губами, но так и не сказал Жалсарай, что сидел в лагерях те долгие годы. Потянуло в родные края. В Цуголе, сами знаете, дацан прикрыли. Поехал на Шилку, рудник там. Устроился на мирской должности.

Снова подумал, пожевал губами и вроде бы забыл, что не один шел по тропинке.

— Заработки-то на том руднике какие? — не утерпел Жалсарай — И жительство там свое? Или поселились у кого?

Гатаб усмехнулся, придержал шаг.

— Видите, какой костюм... ботинки? Ну вот. Еще кое-что имею. Жить везде можно, была бы голова на плечах да молитвы не иссякли.

— Это верно. — согласился Жалсарай, а про себя прикинул: «Видать, хитер этот Гатаб. О себе не очень-то рассказывает. В улусе про него спросят, так и ответить нечего».

— В дацан-то часто из Угалзы ездят? — поинтересовался Гатаб.

— Да нельзя сказать... И не близко, и времена не те.

— Времена не те. Да-а. Люди плоть свою улащают, а надо бы думать, что их ждет на том свете. Грехов много.

<sup>1</sup> Ученая степень хамга.

Жалсарай вспомнил о табисене Баторе, губы сами произнесли молитву:

— Ом-мани-пад-мехум! Старики помрут, годы-то берут свое. А молодые не очень охочи молиться. Что будет? Что будет?

— Старый человек — правая рука посланца Будды на земле. Надо вразумлять кое-кого... святые книги читать. В грядущем перерождении зачтется вам, Жалсарай-ахай.

— Перерождении? Вы так сказали?

— Да, так. Тот, кто верно служит дацану, после перерождения появится на земле с властью, почестями и богатством.

— Хорошо бы так.

— Я побываю у вас скоро. — На недоуменный взгляд старика добавил: — В Угалзе побываю. По нуждам своей мирской должности. Тогда и поговорим обо всем — о нашем перерождении, о тех, кто еще не постиг нашего великого учения.

Гатаб слегка поклонился старику, пошел, косолапя, в лакированных ботинках. Старик смотрел ему вслед, не знал, радоваться такой встрече или все это ни к чему... От дацана в горячем воздухе слышались трубные звуки. Ламы звали верующих слушать молебствие.

## 11

Гомбо и теперь вспоминал о тех тринадцати поводах... «За какой повод дернешь, — говорили в улусе, — то и получишь». Лучше всегда дергать так, чтобы выходило семь разных цветов и ягод. А как угадаешь? Он-то знал, что ему не дано угадывать. А все же попробовал. Ну и ничего, обошлось. А попробовал вот при каком случае.

Поехали с председателем колхоза на фермы в Аягу. Надо же посмотреть, как пойдет механическая купка скота. В Угалзе пробовали — удачно. Гармажап Нимбуевич руки потирал и про того докучливого ветеринара упоминал уже в самых добродушных выражениях. Нехитрое приспособление придумал Гомбо Сахалтуев, а и то облегчение для хозяйства.

В Аяге пять стенок скота — овцы и лошади табунные. Пробовали купать овец. Расстелили брезент, трубы поставили. Чабаны загнали в изгородь овец, пустили насос. Две-три минуты, и готово. Чабаны очень уж довольны, что в такую жару не надо гнать скот в Угалзу.

— Все бы ладно, да вот дышать нечем с этой купкой. — проговорила чабанка, жена бригадира. — Хоть с фермы беги.

— А мы, тетушка, этот дух аракушкой запиваем, — отозвался Гомбо.

— И начисто запахи отбивает! — поддержал Дарма.

Дарма, подручный Гомбо, ездил вместе с ним, помогал устанавливать трубы, сливать с брезента раствор. Он хотя и помнил предостережение председателя — не пить с Сахалтуевым, но не придавал подобным словам значения. Дарма считал, что всякому дарге положено поучать и вразумлять. Такая уж должность...

Тетушка выставила бидончик молочной водки. Гармажапа Нимбуевича в ту минуту уже не было — уехал на сенокос со спокойной душой, поручив Сахалтуеву закончить на неделе купку скота в Аяге.

Дарма, не задумываясь, налил в стакан, выпил и похвалился женой.

Сахалтуев невольно потянулся за стаканом.

Дарма, закусывая молочными пенками, рассмеялся:

— В степи автоинспекторов нет! А ты выпей, Гомбо. Ерунда! На такой карболовке работать и без этой самой штуки... — Он снова рассмеялся и махнул рукой. — Мы же так... немного.

Сахалтуев, выпив два стакана, слегка охмелел, развеселился — Ты, Дарма, почаще прикладывайся к аракушке, — говорил он. — Б ней, как утверждает наш фельдшер, полно витаминов. А то смотри... Как бы на второй ряд ногу не свихнуть!

Захохотал. И тут же умолк. Смутная тревога закрадась в его сердце, сверлила голову: «Не зря ли?» Давно тянул тот червячок, танцующий Душу выворачивал и вот...

— Беда моя вся тут — не знаю меры. Беда...

— Ну ничего, — успокоил Дарма. — Мы же немного. За твою премию

— Какую еще премию?

— Так Гармажап говорил... За это самое, — он кивнул в сторону машины. — Механизировал, ничего не скажешь. Полагается премия

— Ладно, премия... — ответил Гомбо, в душе радуясь словам Дармы. — Пора ехать. Солнце-то, гляди, высоко.

На исходе недели, когда председательские сроки подпирали всю, Гомбо остановил машину перед мостиком через какую-то речку. Названия которой никто не знал, а, может быть, эта струя воды, бурлящая между кустарниками, и не имела своего названия.

Было очень жарко. Над степью дымилось и дрожало марево. Гомбо вышел размяться, согнать сон, который обычно наваливался на него, стоило ему забраться в кабину. Из густой травы вырвался табунок степных жаворонков и растаял в небе. Дарма снял сапоги и полез в ручку, фыркая и плескаясь от удовольствия. Гомбо, от нечего делать, побрел по берегу. Внимание его привлек серый в крапинку камень, наминавший верблюжью голову. Сам, не зная зачем, он поднял камень и швырнул его в воду. Гомбо смотрел на круги на воде и думал почему-то о камне — о том, что камень лежал, может быть, века на берегу этого безвестного ручья и никто не трогал его и, может быть, пролежал бы еще века, если бы ему, Гомбо, не взбрело в голову поразмяться здесь. «Так вся жизнь состоит из нелепых случайностей», — думал Гомбо, в чем-то оправдывая себя подсознательно.

И когда машина тронулась, тот камень — верблюжья голова — все не выходил из головы Гомбо, и он размышлял о том, что теперь камню суждено лежать на дне ручья, его занесет, может быть, песком и, кто знает, что из него будет потом, когда пройдут годы. Как просто — бросить камень... Но какие странные приходят мысли после того, когда таких мыслей не было. Во всем этом — перемещении камня с берега в воду — он видел что-то непростое, трудное и непонятное для себя. Сказать о своих мыслях Дарме он не захотел, понимая, что тот посмеется над ним и не задумается нисколько над тем камнем. Так не задумывался над всем тем, что постоянно чувствовал или видел всю жизнь и к чему привык, как к своему имени.

После того, как закончилась купка скота в Аяге, Гомбо и Дарма трусили в кузницу, и потянулись прежние дни. Со стороны казалось, что в жизни Гомбо ничего не изменилось. Но он-то знал, что изменилось многое.

Вечером, дождавшись ухода Дармы, он вытаскивал из сундучка бутылку водки, выпивал стакан, а иногда добавлял и еще. Посидев и выкурив трубку, он не спеша шел домой к ужину. Гомбо старался больше говорить с домашними и ни к кому близко не подходить. Идущая же, словно с умыслом, затевала с ним всякие разговоры, то подходила к нему, смеялась и шутила, а он под каким-либо предлогом отворачивался от нее, чтобы она не почувствовала запаха. Такие минуты жена раздражала его, в нем все закипало, он был убежден, что она проверяла его. Но вот она накрывала стол, Гомбо са-

дился, брал пучок дикого лука и облегченно вздыхал: не заметила.

Гомбо получил за свои труды премиальные. Все деньги в сохранности принес домой. Мэдэгма сама сходила в магазин и купила пол-литра. Ей хотелось сделать ему приятное, чтобы он обрадовался, и она не знала ничего другого, что бы его могло обрадовать. И еще она полагала, что от одной бугылки вреда не будет. Они посидели вдвоем — сыновей дома не было. Посидели в тишине, чувствуя теплоту друг к другу. Мэдэгма спела негромко старинную грустную песенку. Эта грусть нужна была им обоим потому, что от песенки веяло полузабытым прошлым, давно ушедшей молодостью. Перед глазами Мэдэгмы стоял цветок с белыми сплюснутыми лепестками — когда-то в школе еще засушивала такие между страницами учебника...

А на другой день Гомбо и Дарма уехали купать скот на дальние гурты в Тангарак.

Погода стояла знойная. С утра и до вечера над степью висела пускля-голубое, словно вылинявшее, небо. По горизонту густела дымящаяся наволочка — где-то горели леса.

Вечерами, устав от мычания скота, от жары и оводов, которые всюду не отставали от стада, Гомбо уходил подальше от фермы, от людей, садился на взгорок или могильную плиту. В голове стучало и давило что-то горячее и жаркое. Гомбо крепился эти дни, не пил, но чувствовал, что его ненадолго хватит. Все сильнее свербило внутри.

И то, к чему стремился и чего боялся Сахалтуев, — пришло.

Бригадир Тангаракской бригады, обычно молчаливый и скуповатый, вдруг ни с того ни с сего угостил Гомбо и Дарму. Слегка захмелев, бригадир объявил им, что «это по случаю перекочевки на горные пастбища». Гомбо нашел, что причина уважительная.

Хозяин хлопал Гомбо по плечу:

А ты не дурак. Я всегда говорил, что ты... Бросил пить — одобряю, и руки у тебя редкостные. Из всякой штуки можешь что-то выдать.

— И пулю, и конфету, — подмигнул Дарма. — Я же с ним у тебя на. Я знаю.

Понемногу оба похваливали Гомбо. И дархан-де умелый, и сын воли есть: захотел бросить пить — бросил. А то, что сейчас пил с нами, — это в счет не шло.

У Гомбо кружилась голова, от приятных слов подмывало на что-то. «Чего бы такое рассказать им?» — подумал он, вяло улыбаясь. Гомбо опрокинул в рот стопку водки, чмокнул дно стаканчика.

— По-матросски!

Дарма захохотал.

— Вот я скажу, — заговорил Гомбо. — Убили у нас ротного. Дарма убили. Ну пошел я, командира же нет. Понимаете? Бомбят жутко.

— Куда пошел? — не понял бригадир.

— Ну, туда... Это самое... Адьютант заходит: «Ужинать будет». А-а, — думаю, — черт с ними, пусть бомбят, жрать тоже надо». Он носит он курицу и фляжку. «Это зачем?» — показываю на фляжку. «Вам, — говорит, — положено, раз заменяете командира». Я отказался. Н-нельзя. Понимаете? На фронте н-нельзя! И пошли тут мне награды...

— Какие награды? — спросил внимательно слушавший Дарма.

— Всякие. Ордена, медали...

— А где у тебя ордена?

— Ха! На фронте разве до орденов? — Гомбо с удивлением смотрел на Дарму и хозяина, в голосе звучало пренебрежение. — На фронте воевать надо. По-матросски, вот так! — и он опрокинул одним глотком стопку.

— Завтра куда ехать? — спросил хозяин у Гомбо.

— Домой.

Тот хлопнул ладонью по лбу:

— Э-э, совсем выпустил из памяти! У меня же гурт стоит в нади Алсак. Не купали еще. Как же быть?

— Чего ж ты молчал? — недовольно заговорил Дарма. — У нас с обедом время сколько пропало..

— Далеко ехать? — спросил Гомбо.

— Да полчаса..

— Поехали! Не хочется завтра возиться. Поехали!

— Не лучше ли спать? — сказал Дарма. — Утром бы туда заехали. в этот Алсак. Какая охота тащиться?

Гомбо встал из-за стола, пошатываясь, вышел. За ним поднялся Дарма. Хозяин сидел, откинувшись на спинку стула. Дремал, прикрыв глаза. То ли не видел, что те ушли, то ли лень подниматься.

Ехали степью — такой ровной, что гони машину в любую сторону. Ни бугорка, ни рытвины. Выбрались скоро на дорогу. Вдаль темнел лесок, а повыше каменные плешины сопки.

— Ты не торопись, мало ли что, — говорил Дарма, не особенно доверяя Гомбо.

— Не ночевать же там, — ответил Гомбо, переключая скорости. Машина пошла еще быстрее.

— Да успеем. В Алсаке у пастуха мальчишек полная юрта, мы их мобилизуем, а потом...

Что будет «потом» — осталось не сказанным. Машину тряхнуло от удара, она развернулась поперек дороги и скатилась в кювет. Гомбо помнил, что его бросило на руль. Бежавшая только что навстречу дорога рассыпалась брызгами, небо ушло вверх. Перед глазами потемнело, вспышка огня и все...

Дарма с трудом открыл дверцу машины, вытащил Гомбо, положил на траву. По его лбу, заливая глаза, текла кровь. Лицо Сахалтуева — бледное, грязное. Трясущимися руками Дарма достал платок, осторожно вытер кровь.

— Гомбо! — позвал он. — А, Гомбо? Живой?

Сахалтуев застонал, потянулся рукой к груди, открыл глаза.

— Ты? — спросил он, будто не узнал.

— Я, — торопливо сказал Дарма и слезы потекли у него из глаз. — Живой, живой!.. — твердил он радостно. — А я уж думал... Ты встать можешь?

— Что с машиной? — Гомбо приподнялся на локте, морщась от боли.

— Радиатор в гармошку. Помяло, конечно... У тебя как с головой?

— Голова ничего, а вот ребро, пожалуй, того... А у тебя?

— У меня так... удачно. Колено поцарапал.

Заглушая боль в груди, поднялся откуда-то тягостный холодок. Тот и все, — ворохнулись мысли у Гомбо. — Теперь все. Разбил машину. Никакого оправдания. Скрыть? А как? Лучше бы лежать в бессмысленности, не открывать глаз, не видеть этого плачущего дурака.

— Что делать будем? — спросил Гомбо.

Дарма еще был хмельным, он радовался, что они с Гомбо остались живы, а до остального... «А что делать? Ничего». Он, Дарма, тут ни чем. Не он же вел машину.

— У нас водка осталась? — спросил Гомбо.

— Какая? Где?

«Совсем дурак! — подумал Сахалтуев. — Испугался за свое тол-

стое и жирное тело, а теперь доволен, что не покалечило. И знать уж ничего не желает».

Гомбо закрыл глаза. Не хотелось ни разговаривать с Дармой, ни встать...

Там, где дорога круто поворачивала, минуя последние дома Угалзы, кто-то посадил тополек. На неудачное место посадил. На повороте то кузов автомашины, то телега задевали деревце — ломались ветки. После дождя листья тополька залепляло грязью, а если дождя долго не выпадало, то листья висели серые от пыли. И от коз не было ему пощады потому, что на окраине редко какая добрая душа прогоняла их от деревца.

Так и рос тополек... От одной напасти не справился, а тут уж другая. И хотя вместо сломанных ветвей отрастали новые, все же не то. Приходилось расти и выквив и вкось, а после того, как сломал самую вершину, деревце уже походило бог знает на что.

...Гомбо Сахалтуев, возвращаясь в улус, стоял возле того тополя, как, с недоумением и не осознанной еще жалостью смотрел на то, что осталось от когда-то стройного и веселого деревца. Он никак не ожидал, что в последующую минуту зрелище станет еще более непримечательным. Из-за угла вылетела машина с лесом, и беспечный шофер не только ударил бревнами по веткам, но еще и придавил задним скотом ствол тополя.

Смотреть уже было не на что... Что-то кольнуло в груди Гомбо. Он выругался сквозь зубы, посмотрел вслед машине и медленно побрел к дому.

«Вот ведь как... — невесело размышлял он. — Этот тополь разве ожидал, что его так... Сколько же можно? И то всю жизнь его здесь покалечило и рвало. И меня тоже... Свой не свой, а на дороге не стоять. Не стой! А где стоять? Сам виноват. Тополю куда деваться? Куда икнули — там и стой. А я сам виноват кругом. После табисы, после этой аварии... Обещал, клялся. Все полетело, все раздавлено! Камень тогда поднял в степи, бросил в речку. Тысячу лет, может, камень там пролежал на берегу. А он, Гомбо, поднял и кинул в воду. Что из того? Смешно... Кому тот камень нужен? Никому. Разве птица не тащит ветку или клочок овечьей шерсти на гнездо? Что из того? Вот до какой чепухи жизнь дошла».

Уже никуда ноги не несли и видеть никого не хотелось. Такое состояние, будто торчал посреди выжженной степи. Нет места, чтобы шаг сделать... Одна гарь да пал вокруг. Оправдываться не стоило. Ни кто ни во что не поверит, да и самому себе можно ли верить — невестно. Взять и заявить: «Так вышло — делайте, как хотите и что хотите». Отыные приму на себя все... Как скажут, так и будет. Заплачу за ремонт машины и уеду. Куда? Куда-нибудь.

Это, казалось ему, было единственно разумным из всего того, что он мог еще дать семье. Все остальное они — жена и сыновья — уже могли принять, и он не думал ни на чем настаивать.

Ну что же... Гомбо пошел к председателю. Должен наступить какой-то конец.

Гармажап Нимбуевич посмотрел на него исподлобья, сухо сказал, что ему некогда с ним обсуждать — как и что, но в бухгалтерии, кажется, определили стоимость всех убытков, туда можно зайти и узнать, а что касается остального... то решено его, Сахалтуева, судить общественным судом. Пусть, мол, народ свое слово скажет.

Гомбо часами сидел на пороге кузницы, курил, смотрел на пустую дорогу и думал, думал... Иногда он брал колеса, изготовленные из детского велосипеда, но работа у него валилась из рук. Да и какой

тут велосипед! До этого ли? Еще подумает жена, что задобрить ее хочет через Жалсана.

Первое потрясение души, вызванное аварией, проходило. Он уже не вспоминал о том дне, когда наблюдал гибель тополька возле дороги, все реже приходила ему в голову мысль о том, что самое лучшее, что он мог сделать для близких — это быть от них подальше. И нельзя сказать, что он стремился во что бы то ни стало восстановить недавнее к себе отношение в семье. Не-ет. Он по-прежнему полагал это невозможным.

Жизнь медленно, но неумолимо отбрасывала все то, что было переменным, наносным у Гомбо, все то, что было для него случайным, принесенным событиями последних дней. Постепенно, сидя на пороге кузницы, он становился самим собой, и степь, лежащая рядом, не казалась уже выжженной, он просто не обращал на нее никакого внимания. И он снова убедился в том, что тринадцать поводов держали его, и чем больше дней отдаляло Гомбо от аварии, тем сильнее он испытывал на себе тяжесть этих поводов...

В полдень к кузнице подкатил зеленый «москвич» и из него вышел незнакомый Сахалтуеву мужчина плотного сложения, с узкими бесцветными губами. Одет он был в легкий чесучовый пиджак, на затылок съехала соломенная шляпа. Лаковые ботинки приезжего как-то неестественно и вызывающе блестели из серой жухлой травы, росшей на краю дороги.

— Вы меня не можете помнить, — сказал приезжий. — Меня зовут Гатаб. Я давно из Угалзы. Моего отца Базарсаду, может быть, знали?

Да, Гомбо помнил старика, который ходил, низко пригнувшись к земле. В улусе еще смеялись, что Базарсаду наказали боги за то, что он долго искал клад в земле и не нашел... За жадность наказали. Потом Базарсаду раскулачили и увезли куда-то. В Угалзу он не вернулся, говорили, что умер в ссылке. У него был, кажется, сын. Вот оно что...

— Посмотреть приехали? — спросил Гомбо. — Просто так? Или по службе послали к нам?

— Просто так, — усмехнулся Гатаб. — Всякого тянет туда, где его когда-то нянчила мать. Хоть немножко побыть в прошлом. Надоедает, знаете ли, одно и то же.

— Надоедает, — согласился Гомбо. Он сам-то готов был навсегда убраться в свое прошлое. Приезжий показался ему вполне приятным собеседником и не хотелось, чтобы тот взял да и уехал по своим делам, оставив Гомбо одного коротать время в кузнице. — Мой отец, помните, хорошо был знаком с Базарсадой-ахаем. — Гомбо, конечно, говорил наобум, но он ничем и не рисковал, потому что Тэхэ-дархан был настолько уважаем во всей округе, что уж как ни знатен был родом Базарсада, все равно не отвернулся бы от Тэхэ, посчитал бы за честь выкурить трубку с мастером.

— О-о, вы правильно говорите! — воскликнул Гатаб. — Я знаю, какие они были друзья. Вместе ездили в Цугольский дацан.

— Отчего бы им не ездить! Ездили, — заулыбался Гомбо. — В старые времена моего отца звали по всем дацанам — дуганы чинить, Бурханов делать...

— О, да-да! Великий был мастер. Нынче летом пришлось мне бывать в дацане. И, знаете ли, там помнят его, спрашивали. Как же. Но, думаю, что боги не оставили, не могли оставить нашу землю без великого мастера. В сыне Тэхэ они воплотили таланты и искусство отца. Я так слышал.

— Ну что вы, — скромно, как мог, произнес Гомбо. — Трудюсь, как и все.

— Ну уж, не как все, — с улыбкой настаивал приезжий.

«Неужели ему все про меня известно? — пронеслось в голове Сахалтуева. — Но откуда? Как? Почему? Не-ет, не может такого быть».

— Мы почти не знакомы... — начал Гомбо.

— Это нетрудно исправить. Если вам ничто не мешает, мы можем, право, приятно провести время. Я в Угалзе проездом. — Он скрестил руки и заиграл пальцами, словно перебирал четки. — Вспомним наших отцов...

Гомбо растерялся, не зная, как быть. Но и на раздумье времени не было. Он боялся, что Гатаб уедет без него и вместе с тем он боялся пригласить его к себе, не представляя, чем он сможет угостить приезжего, и как ко всему этому отнесется Мэдэма.

— Мешать-то мне никто не мешает. Но как и лучше — не знаю... — Гомбо замялся, подыскивая слова и мучительно краснея.

— Я понимаю, что вы не готовы. Ничего. У меня в багажном ящике кое-что найдется.

— Неудобно как-то... Все очень уж неожиданно. Не знаю, как и сказать. Ну, если уж за знакомство со мной... Это самое... Я откровенно скажу. Жена как бы... Кто ее знает? У меня, видите ли, неприятности кое-какие.

— Неприятности? А что такое?

— Ездил на машине — авария. Побил радиатор. От жены всякое такое... — Он махнул рукой.

Но приезжего несколько не огорчили неприятности кузнеца. Он прошелся по обочине дороги, с удовольствием оглядел степь с поникшими от жары травами.

— Что такое жизнь?

— Жизнь? Ну, как сказать... — Гомбо пожал плечами, не догадываясь, куда клонил Гатаб.

— Это сплошное страдание. Тут ничего не поделаешь. А страдания происходят из желаний и влечений. Все люди чего-то желают. Ваш председатель желает наказать вас и получить с вас деньги за радиатор. Это желание он не может в себе подавить, ему просто не позволит. Такова жизнь.

Гомбо слушал и не понимал, о чем хотел сказать этот Гатаб. Прогоню его голоса он как будто бы сочувствовал Гомбо, а остальное... Какие-то неясные слова о смысле жизни. Но слова не интересовали Гомбо. Сын Базарсады, видимо, ученый, а такие люди всегда мудрят. Но тут дело проще простого! Совершил аварию — ремонт за твой счет. Какие еще желания нужны? Плати и все.

— Ну так что же? — сказал Гатаб, поджимая губы. — По случаю нашего знакомства, в честь памяти наших отцов... Я думаю, что ни чего такого... — Он выразительно повел бровью и рассмеялся.

— Да я что? — смутился Гомбо. — Я разве против...

— И отлично. Тогда поехали.

Гомбо повесил на двери кузницы замок, несмело подошел к маленькому «москвичу»: не запачкать бы чего-нибудь...

— Сюда, — предупредительно показал Гатаб. — У меня пассажирское место на заднем сидении.

Сахалтуев, залезая в кабину, увидел девичье лицо с большими строгими глазами. Поздоровался. Та ответила. Ее голос — тонкий, много вроде испуганный — как-то не вязался со строгим взглядом.

— Это дочь моей соседки. Зовут ее Лхама-Сурэн. Ездил к родственникам в Харашибирь.

Гомбо поежился в предчувствии той неизвестности, которая сидела да его нынче...

Снова Гомбо в зимнике. Только стекло здесь уже вставлено, пол вымыт, паутина из углов убрана, постель застлана плюшевым одеялом. На ней вчера спал неожиданный гость с берегов Шилки. Зачем он приехал в улус? Мэдэгма никак не могла этого понять. Словам Гатаба о том, что он соскучился по родным степям, она не очень-то поверила. Но как бы там ни было... Гостя надо принять как следует, и она прибрала зимник и ни в чем не упрекала мужа.

Мэдэгма не могла знать, что в желтом чемодане гостя, сунутом под кровать, лежали туго набитые фотографии и репродукции с изображением бурханов и лам. Были там и далай-лама, и какой-то знатный ламма с острова Цейлон, и цветные картины, на которых запечатлены «Колесо мира»<sup>1</sup> и город Лхаса с его многочисленными дацанами. И откуда ей, Мэдэгме, было знать, что бывший габжа распространял по улусам всевозможные атрибуты буддийского пантеона, изрядно наживаясь при этом.

Не знал всего этого и Гомбо, который накануне довольно выпил за счет щедрот полузабытого всеми в улусе сына Базарсады и теперь спал.

Хозяйка с утра прибрала в летнике. Ей помогала Лхама-Сурэн, девушка, приехавшая в Угалзу с Гатабом. Она помогала Мэдэгме быстро и очень умело. Но в разговоры с хозяйкой вступала без особой охоты, сказала, что живет в поселке с матерью и младшими братьями.

Мэдэгме она понравилась. Держалась Лхама-Сурэн почтительно, робко. И Мэдэгма невольно подумала, что так и так когда-то у нее должна быть невестка и, что если уж быть тому, то лучше Лхамы-Сурэн и желать бы некого. Она грустно улыбнулась своим мыслям, потому что в улусе кое-кто поговаривал о том, что ее Цэрэн среди девушек Угалзы выбрал дочь Жалсарая. А говорить зря не будут.

За окном стоял «москвич» в окружении мальчишек. В кабине важно — на правах хозяина — сидел Жалсан и время от времени подавал требовательные гудки. Мэдэгма не раз просила гостя, чтобы тот не позволял ее сыну сидеть в машине, но Гатаб только посмеивался: «Пусть. Не часто мальчику выпадает такой день, когда он может выдавать себя за шофера».

Гатаб не стал ждать, когда проснется Гомбо. Он выпил предложенный хозяйкой стакан молока и сказал, что едет к старику Жалсарая: надо, мол, повидать сверстника своего отца, поговорить, вспомнить прошлое. Мэдэгма хотела было пожарить для гостя мяса, но тот очень спешил, ссылаясь на то, что Жалсарай мог куда-нибудь уйти, и на то, что по своей давней привычке он утрами не принимал мясной пищи. Мэдэгма собралась показать Гатабу, как проехать к юрте сторожа, но гость опять-таки отказался от ее услуг, сказав, что дорогу ему укажет Жалсан.

Гатаб взял из зимника желтый чемодан, бросил его в машину и уехал вместе с Жалсаном.

Вскоре встал Цэрэн. Он вернулся из рейса ночью и еще не видел гостей. Мать познакомила его с Лхамой-Сурэн.

— А я вчера проезжал через ваш поселок, — сказал Цэрэн девушке. Он говорил то, что первым приходило в голову. Он и в самом деле проезжал через тот поселок и сказал об этом, хотя понимал, что сказанное не имело никакого значения.

— У вас дышитесь легче, — ответила девушка. — А у нас трубы...

— Да, трубы дымят, — согласился Цэрэн и попытался вспомнить, дел ли он там трубы, но так и не вспомнил.

<sup>1</sup> Картина, по которой буддисты объясняют различные явления мира.

После завтрака Мэдэгма сказала сыну:

— Ты бы показал госте улус. Ей одной скучно. А вечером...

— Мы вечером, может быть, уедем,— встала Лхама-Сурэн.

Цэрэн не понял гости. Или надо ее пригласить посмотреть улус, потому что вечером она уедет и ничего не успеет посмотреть, или она намекает на вечерний отъезд потому, что раз она уезжает, то ей не интересно знакомиться с улусом.

— До вечера еще далеко,— улыбнулась Мэдэгма.

...Она все-таки отправила Цэрэна с гостей.

Где у вас красивые места? — спросила девушка Цэрэна. Ей явно было неудобно ходить с парнем по улице.

— Можно сходить на реку,— предложил Цэрэн. — Вот этим переулком.

И он повернул с улицы в переулок, жалея, что так делает. На реке наверняка попадутся мальчишки с удочками. Будут смотреть во все глаза...

Когда из-за окраинных домиков показалась березовая рощица, Цэрэн еще раз пожалел, что свернул в переулок. Справа до самой реки тянулся калтус<sup>1</sup>, заросший березами, и туда идти невозможно, а если повернуть налево, то не миновать того овражка, где строили водонапорную башню.

Ему пришлось рассказывать Лхама-Сурэн, что колхоз ставит здесь насос, а подальше, в том овражке, построит водонапорную башню. Говорить все равно не о чем, так хоть о башне.

— Насос подаст воду на башню. Там наверху бак.

«А ты и не увидишь ее»,— подумал Цэрэн, но вслух сказал:

— А я не вижу никакой башни,— пожал плечами девушка.

— Так она еще строится. Сначала надо фундамент. — Он замолчал, не представляя, знала или нет эта Лхама-Сурэн, что такое фундамент водонапорной башни.

— Ну и что?

«Не знает»,— решил он.

Чем молчать или придумывать какой-нибудь никчемный разговор, лучше рассказать ей про фундамент. Он, Цэрэн, тут ни при чем. Сама захотела красивые места посмотреть.

— Понимаете... Основание башни глубоко в земле. Башня круглая, и вот копают колодец и железобетонные кольца по диаметру башни опускают, чтобы прочно было. Но проектировщики почему-то ошиблись... В этом овраге оказались подпочвенные воды. Когда до нужной глубины дошли и кольца поставили, вода где-то прорвалась, и дно котлована уже нельзя забетонировать.

— Интересно. А что же дальше? — Лхама-Сурэн спросила, а сама нагнулась и стала рвать цветы.

Цэрэн вспомнил, что когда-то еще в школе учитель объяснял, что эти цветы называются мышиным горошком, и ему стало смешно. Ибо, посмотрев на ее худенькую спину, тонкие руки, он подумал: «Сама ты мышиный горошек...»

— Что дальше? Ну, стали думать. И вот придумали сделать конус металлический. По диаметру колодца. Опустить его сверху, прижать воду. Конус соединить с трубой, а по трубе под давлением подавать бетон. Я вчера и ездил за этим самым конусом.

— Мы туда пойдем? Хочется взглянуть, как они все это делают. Она покачивала букетом мышиного горошка и, казалось, в эту минуту ее ничего не привлекало, кроме как посмотреть, как пойдет бетон под давлением и как металлический конус прижмет воду.

<sup>1</sup> Калтус — заболоченное место.

Тропа вывела их к берегу, и они пошли мимо лодок, от которых пахло смолой. Тут и там попадались остатки костров, в траве поблескивала рыба чешуя. Где-то совсем рядом шумел мотор автомашины. Берег становился все круче, и Цэрэн повел девушку в сторону от воды, потому что дальше берег совсем нависал над рекой.

Поднявшись на лужайку, Лхама-Сурэн увидела неподалеку автомашину, которая поднималась задним ходом по дощатому настилу. Настил заканчивался переплетением строительных лесов и там стояли люди, ждавшие автомашину.

— Это бетон подвозят.

— Надо посмотреть. Интересно.

И Лхама-Сурэн ускорила шаги, оставив Цэрэна.

Машина, забравшись наверх, стала, и рабочие принялись лопатами сбрасывать бетон в бункер, от которого в колодец тянулась труба.

— Привет, Цэрэн! — крикнули с лесов.

— Неужели это Цэрэн?

— Не может быть!

Рабочие острили и подшучивали над Цэрэном.

Цэрэн улыбался и не отвечал, зная, что молчание — это самое лучшее, что он мог придумать. Лхама-Сурэн догадалась, почему смеялись рабочие, и у нее потемнели скулы и начали вздрагивать пальцы, державшие букетик.

— Какие цветы! — сказали сверху восхищенно.

— Это для бригадира.

— Для меня?! — и между досок просунулось улыбающееся, бронзовое от загара лицо.

Раздался звонкий стук лопаты о бункер и тревожный вскрик:

— Заело! Бетон заело!..

Бронзовое лицо исчезло, и повисла тишина.

— Что у них случилось? — удивилась Лхама-Сурэн.

Цэрэн взбежал по настилу. Рабочие стояли вокруг черной дыры колодца, глядели туда... Цэрэн подошел. Внизу колыхалась и пенясь вода.

— Почему не идет бетон?

— Труба держит. Заклинило.

— Камешек вот такусенький подвернулся и, пожалте... Заело.

— Надо вытащить трубу и прочистить, — предложил Цэрэн.

На него посмотрели, как на чудака.

— А что?

— Пока с трубой возимся, бетон застынет. — Бригадир кивнул на колодец. — Тогда все начинай сначала.

— Я полезу.

Цэрэн обернулся. Невысокий, шуплый паренек расстегнул ворот и стал снимать рубаху. Все молчали, смотрели на бригадира, ждали, что тот скажет.

— Попробуем.

Шуплому пареньку подали ломик, для страховки обвязали веревкой. Тот лез в колодец, ни на кого не смотрел, а на него смотрели. Бригадир поднес к глазам часы. Бежали секунды. Медленно, оче-

— Полминуты.

Бригадир вздохнул, и тут же выскочил из воды паренек. Он тяжело отдувался и таращил глаза.

— Ясно, — произнес бригадир. — Калибр у тебя не тот. Ломик не пошел? Ну, ничего... Как там?

— До выходного отверстия дотянулся... и не успел. Воздуху не хватило.



Еще один начал через голову скидывать рубаху. Был он мускулист и плечист. Продержался под водой сорок секунд, но и его вытащили...

— Ладно,— сказал хмуро бригадир. — Нечего зря лазать в грязную воду. Если уж Чимит-Доржи не мог, никто не прочистит.

— Почему? — спросил Цэрэн.

— Бетон мешает,— виновато сказал Чимит-Доржи. — Ноги вязнут.

— Он у нас чемпион,— добавил для ясности щуплый. — Нырлящик-чемпион.

Цэрэн усмехнулся. Сорок секунд... Он мог пятьдесят секунд держаться без воздуха. И почему-то холодно стало в груди. Сначала холодно, а потом жарко. Он еще ничего не решил, потому что так-то просто... Он в этом колодезе не работал, с железобетонными

кольцами не знаком. В реке он просидел бы пятьдесят секунд, а тут лезть в черную яму, в теплый, не застывший еще бетон... А над головой нависнет металлический конус и, чтобы вынырнуть из этой бетонной грязи, надо нащупать отверстие—метр длины, полметра ширины. Да, он еще ничего не решил, но заранее чувствовал, что так тому и быть, что раз в голову все это пришло, то нельзя распускать нервы. И когда за его спиной раздался нетерпеливый голос Лхамы-Сурэн: «Что же у вас все-таки случилось?» — руки Цэрэна сами собой потянулись к вороту рубахи.

— Отвечать бы за тебя не пришлось,— сказал бригадир.

— Не маленький. — Цэрэн отстегивал пряжку ремня.

— А калибр у него ничего,— проговорил тот, который спускался в колодезь первым.

— Делай шаг шире,— сказал Чимит-Доржи. — Сразу, чтобы до тянуться до трубы.

Цэрэн при общем молчании спустился в колодезь. Вода залила конус, и он, держась за трубу, осторожно нащупал около нее отверстие. Спустил одну ногу, вторую. Холодные иглы пронзили тело. Он медленно опускался в воду. Перед тем, как уйти вглубь с головой, не лишне отдохнуть, отдышаться. Почувствовал, как ноги увязли в теплом и густом месиве. «Бетон,— подумал он. — Надо так оттолкнуться, чтобы очутиться возле трубы». Вода подходила к горлу.

Цэрэн набрал полную грудь воздуха, ушел под воду и, уже будучи под конусом, сильно оттолкнулся рукой от края отверстия в сторону трубы. Ему удалось найти выходное отверстие, он поудобнее перехватил ломик... Желтые круги наплзали со всех сторон и давили на грудь, так давили, что казалось, разорвут на части. Цэрэн почувствовал, как продвинулся ломик вверх по трубе, и тут же дернул ломик и свободной рукой потянулся к отверстию.

Цэрэн не видел, как наверху дрогнул бункер и бетон медленно, будто нехотя, пополз в трубу.

Ему помогли выбраться из колодезя и под руки свели на землю.

Он все же наглотался воды, хотя и сам торопился изо всех сил, и да веревку его тянули дружно.

— Ничего, полежи, — ласково говорил бригадир. — Подожки на солнышке. Сейчас чаю тебе достанем.

Кто-то осторожно обтер лицо Цэрэна платком. Он поднял глаза. Лхам-Сурэн! Он совсем забыл о ней.

Сколько себя Жалсан помнил, всегда в памяти у него что-то было связано с автомашинами. В раннем детстве он часто видел коричневую легковую машину. Через дорогу жил шофер, возивший на ней пассажира-седателя. Тот шофер почему-то любил Жалсана. Из улусных мальчишек один Жалсан мог посидеть в кабине. Дома у Жалсана только и было разговоров об автомашинах. У него и других игрушек не водилось, кроме как автомашины всевозможных марок, расцветок и размеров.

При любой возможности он забирался на кровать к старшему брату — это случалось вечером или утром — и просил его рассказать о том, как ездят на автомашинах. И как бы Цэрэн ни отнекивался, ссылаясь на усталость или отсутствие свободного времени, Жалсан не отступался от него. Приходилось рассказывать. Всякую бессмыслицу, нечто похожее на сказки. Жалсан и этим оставался доволен, лишь бы брат назвал как можно большее число марок и моделей машин и упомянул его, Жалсана.

Сказки об автомашинах у Цэрэна не имели ни начала, ни конца.

«Вот ехал Жалсан на «победе», быстро ехал, только мелькало все вокруг, а за ним дедушка Тэхэ на «пикапе». Вдруг поворот...» — «Он на «пикапе» за мной?» — переспрашивал счастливым голосом Жалсан. — «Да, такое уж дело... И вдруг поворот. А руль у «победы» отказал. Тогда ты быстро пересаживаешься на «эмку» и жмешь дальше». — «А дедушка что?» — «Ну, а дедушка видит, что не может нагнать Жалсана, садится на «газик» и д-давай. А ты — от него, пыль столбом. Потом поставил «эмку» в гараж, завел «газик» и поехал, — продолжал Цэрэн. — Ветер свистит в ушах, мотор гудит как положено». — «А с «газика» я куда пересел?» — спрашивал Жалсан. «С «газика»? — задумывался Цэрэн. — Пожалуй, что... на самосвал». — «А что я делал на самосвале?»

Подобные рассказы Жалсан мог слушать сколько угодно, ему нараву представлялась вся эта езда на машинах. Он слушал, затаив дыхание.

Ясно, что приезд Гатаба лишил Жалсана всякого покоя. Мальчишка почти не вылезал из «москвича». Обедать и то мать не могла дозваться. Мэдэгма беспокоилась, что Жалсан мешал гостю и старалась — как могла — отвадить сына от машины. Посылала даже за конфетами в магазин. Но и конфеты не подействовали. Оставалось последнее средство — отцовский ремень. Но тут вмешался Гатаб.

— Что вы, Мэдэгма-абагай! — воскликнул он. — Мне ваш сын насколько не мешает. Напротив! Он увеселяет меня и радует. На любого ребенка всегда приятно смотреть. Он, ваш Жалсан, словно бы из страны Сукавати.

— Из райской страны? — улыбнулась Мэдэгма. Она от кого-то слышала, что такое Сукавати.

— Вот именно. Его жизнь добродетельна и праведна. Чистая душа! А вырастет...

— Хочет быть шофером, как и старший брат, — сказала Мэдэгма. Она видела, что Жалсан нравился гостю и это ей льстило, как и всякой матери. Она невольно проникалась симпатией к гостю.

Гатаб никак не выразил своего отношения к тому, кем хотел быть Жалсан, когда вырастет. Он пожевал своими узкими бескровными губами и сказал то, чего хозяйка совсем не ожидала:

— Мне было бы приятно да и мальчику... Что если вы отпустите его ко мне в гости? — и он, полуприкрыв глаза, стал потирать ладони. У него такая привычка — потирать ладони. — Я понимаю, что моя просьба поставила вас в тупик, но поверьте... от всего сердца.

— Не знаю, что и сказать, — в растерянности ответила Мэдэгма. Так неожиданно... С мыслями не соберусь.

— У меня ему будет хорошо. Отдельная комната, много книг. Ну и машина, сами понимаете.

— Он вам принесет одни хлопоты.

— Да, хлопоты. Но приятные для меня хлопоты. Я одинок, на-двигается старость... И если две-три недели... Слышать смех ребенка! Мне ничего и не надо! Лучшее лекарство.

— Мне надо поговорить с мужем.

— Да, разумеется.

— Может быть, Жалсан сам не захочет?

— Что вы! — Гатаб перестал потирать ладони. — Он готов ехать со мной, куда угодно. Вы не беспокойтесь... когда ему потребуется жгущая забота, я позову Лхам-Сурэн. Она хозяйственница, девушка.

В воротах звякнула щеколда. Это возвратился из конторы Гомбо. Он был мрачен и старался не смотреть на жену. Гатаб, увидев хозяина, заулыбался, вытащил папиросы. Закурили.

— Что нового? — спросил Гатаб.

— Да так... ничего особенного, — пожал плечами Гомбо.

Мэдэгма ушла в дом, ей надо было готовить ужин.

— Хотят все-таки судить, — сказал Гомбо, когда жена закрыла за собой дверь.

— Жизнь есть страдания, — ответил, покачивая головой, гость. Все страдают...

— Но никто не хочет!

— Пути спасения указаны всем.

— Что же мне делать?

— Сначала поговорим о добродетели.

Гомбо вскинул недоуменно глаза на Гатаба: «Чего тебе надо — я понимаю».

— Сначала о добре поговорим. О зле потом, — пояснил Гатаб.

Хозяин промолчал.

— Только что сказал про свою одинокую жизнь жене вашей. Странно уже... Мне бы для радости и утешения иметь рядом чистую, непятнанную душу. А где ее сыщешь? У ребенка разве... — медленно говорил Гатаб, изучая, как относится к его словам хозяин. Но, по тому виду, хозяину было не до гостя, он жадно курил и слушал. — себе — в пол-уха. — Где ее сыщешь? — повторил Гатаб. — Я прошу жены вашей, чтобы Жалсана отпустили ко мне в гости. Теперь у меня прошу. — И он стал потирать ладони, напряженно ожидая ответа.

До сознания Гомбо не сразу дошел смысл просьбы гостя. Зачем понадобился Жалсан этому почтенному старику? Может быть, Гомбо, ослышался или что-нибудь не так понял?

— Вы просите... — пробормотал он. — Я что-то не расслышал, мне показалось...

— Да, я прошу отпустить со мной Жалсана.

И Гатаб повторил то, что говорил Мэдэгме.

— Не знаю, что и сказать, — ответил Гомбо, лихорадочно пытаясь понять, зачем гостю понадобился мальчишка. Объяснениям Гатаба

он не поверил. Ни одному слову. Мэдэгма поверила, потому что любила сына и полагала, что все остальные должны или могут полюбить ее сына. Гомбо же ничего подобного не испытывал.

Гатаб расхохотался и похлопал хозяина по плечу:

— Вы произнесли точно те же слова, что и жена, хотя не могли знать ее слов. Это хороший для меня знак.

Он опять расхохотался, но быстро замолчал, увидев, что хозяину нисколько не смешно. «Поговорили о добродетели, теперь поговорим о зле», — подумал Гатаб. Хмурый вид хозяина он истолковал по-своему: «Бойтесь суда, ему, видать, не до Жалсана».

— Ну, я думаю, что нам не к спеху, — сказал Гатаб. — О Жалсане мы еще поговорим. Есть кое-что посерьезнее. — Полузакрыв глаза, он тихо спросил: — Когда назначен суд?

— С сенокосом вот... поосвободятся. Недели через две.

— А что председатель?

— Велел ехать на острова косить.

— А что, по-вашему, решит суд?

— Могут и выслать из Угалзы.

— Вам надо самим уехать отсюда.

— Куда? Кто меня ждет?

— Суд, который готовят вам, — это зло и страдание. Лучше уйди от всего этого. Послушайте... Я, пожалуй, помогу вам. Надо еще подумать... Как помочь? Что-нибудь найдем. Найдем! Только от вас потребуется...

— Что потребуется?

— А вы как-нибудь приезжайте ко мне. Пляньте на этот суд. Мы тогда и поговорим. Обо всем поговорим. И занятие для вас найдем. Как жить — скажем. Я за добро заплачу добром. Так-то вот.

Поздно вечером в семье Сахалтуевых договорились, как быть с Жалсаном. Сам мальчишка твердил одно: «Поеду и все». Он и упрашивал, и плакать принимался. Его с большим трудом отправили спать. И то лишь после того, как Гатаб заверил его, что утром, не разбудив его, не уедет.

Мэдэгму уговаривали Гатаб и Лхама-Сурэн: пусть, мол, Жалсан погостит в поселке. Гомбо отмалчивался. Становиться открыто на сторону гостей нельзя. Мэдэгма могла споряча наговорить черт-те что... А не пускать Жалсана — обидишь гостя ни за что ни про что. Вот он и сидел за столом, помалкивал да посмеивался.

— А ты что скажешь, Цэрэн? — спросила Мэдэгма. — Отпустить Жалсана?

— Ну отпусти. Я ведь часто там бываю. Соскучится по дому — отъезду.

— Да я что... — махнула рукой хозяйка. — Пусть бы ехал. А только вот беспокойства боюсь. Все время думать буду: «Не случилось ли что-то?»

— Беспокоиться? — переспросил Гатаб. — А что же может случиться? Речка у нас возле берега такая, что курица не утонет. Да он иной будет всегда. И Лхама-Сурэн посмотрит.

— Обязательно посмотрю. — заверила девушка.

Ей хотелось, чтобы Жалсана отпустили в поселок. Она смутно чувствовала, что какие-то невидимые нити протянулись между ней и Жалсаном Сахалтуевых. Если Жалсан станет жить в поселке, то эти нити порвутся. Вот говорит же Цэрэн, что приедет за Жалсаном... А ей же надо, чтобы этот шофер опять с ней встретился? Лхама-Сурэн подумала об этом и сразу же отогнала мысли с Цэрэне. Не надо так

думать... Просто пусть Жалсан завтра сидит вместе с ней в машине.

Лхама-Сурэн пила чай, присматриваясь к Цэрэну. «Как он вчера взял да и полез в колодец», — который раз думала она об этом случае. Хотелось задержать взгляд на его руке, протянувшейся что-то взять с тарелки. Темная от загара, с грубоватыми складками кожи, рука. Может быть, этими пальцами он сжимал под водой лом и пробивал трубу. Только обо всем этом подумаешь и самое обычное видится таким, как всегда.

Есть ли у него девушка? Да, конечно, есть. В улусах не так-то уж много парней. Девушек больше.

— Пойдемте в клуб, — сказал ей Цэрэн вполголоса. Он уже стоял позади нее и держался за спинку стула.

В голове зашумело, и сразу ей стало жарко. Лхама-Сурэн покачала головой, не оборачиваясь. Не-ет, ни в какой клуб она не пойдет. Подумаешь!.. Так вот просто: пойдемте и — все. Не-ет. Какое-то подсознательное чувство подсказывало, что нельзя с ним идти, что сейчас между ними легла граница, и эта граница должна остаться, пока она не уедет завтра из Угалзы. А потом?.. Там будет видно. Она же все равно увидит его, когда он придет за Жалсаном.

— Ну, пойдемте, — повторил он.

Ей хотелось уйти с ним, но она снова, не оборачиваясь, покачала головой.

В ушах Лхама-Сурэн звучали его шаги до порога, холодом отозвучался стук захлопнувшейся двери. И вместо тишины, которую она ожидала, ей стало вдруг слышно все то, что говорили рядом с ней за столом Гатаб, Гомбо, Мэдэгма. Странно. А до этого она ничего не слышала...

Цэрэн зашагал по дороге, не думая, куда и зачем, просто хотел уйти подальше от дома. Тягостное, давящее чувство переполняло его. Он хотел забыться, не вспоминать ни об отце, ни о Дулме, ни о Лхаме-Сурэн. Но о чем же тогда вспоминать?

Номтоев сказал про отца: «Как волка ни корми...» И с Дулмой какие-то тяжелые отношения. Чего это она на него так?.. Ну, что он ей сделал? Как-то бы не так ей надо.

А в глубине души он понимал, что и сам что-то сделал не так, как надо бы. И эту вот Лхама-Сурэн позвал в клуб как-то не так, как надо бы. И то, что дома у него гости непредвиденные, непонятно откуда взявшиеся и по какой причине — и это все он понимал и оценивал, может быть, не так, как надо бы.

Огни не мигали по сторонам, и теплая влажная духота сменилась ветром. Цэрэн сообразил, что вышел в степь. Он постоял, глядя в темневшую над горизонтом вершину Батора. «От самого себя не уйдешь», — сказал он и повернул в улус.

Перевод с бурятского В. Сергеева.

(Окончание следует).

# СЕКУНДАНТЫ, ЗА РИНГ!

## Девятнадцать боев—девятнадцать побед

В баре было дымно. Слоистые облака, рожденные за столиками, плавали под самым потолком. После темной, словно вымершей улицы, яркость лампы и торопливая человеческая разногласица невольно удивляли. Было как-то странно, что в этом разбитом снарядами городе есть место, где люди пьют, курят, смеются и тискают девочек. Дверь бара — граница двух миров. Один — нищий, голодный, разбитый, притаившийся. Другой — беспечно веселый, раскачивающийся под джазовые синкопы.

Впрочем, видимо, именно таким и должен быть офицерский бар одной из американских частей, расквартированных в Берлине.

Увидев русских офицеров, навстречу нам поднялся молодой подполковник.

— О, союзники, жаль, что вы не такие частые гости у нас.

— Прощу вас.

Нас отвели к одному из столиков, стоявшему у самого... ринга. Да, именно у ринга. Я не ошибся.

В 1945 году меня послали в служебную командировку в Берлин. Война кончилась совсем недавно. Город устало смотрел пустыми глазами окон. Почти десять лет назад я впервые побывал здесь. Берлин произвел на меня мрачное впечатление. Оно усиливалось и тем, что по мостовым стучали сапоги штурмовиков. Теперь в поверженном, разбитом Берлине начиналась новая жизнь. В помощь немцам товарищам была послана целая группа советских специалистов, в числе их и я приехал в Германию.

Работы было много, времени почти не было. Но однажды выдался свободный вечер. Я еще не успел подумать, чем заняться, как зазвонил телефон на столе.

— Коля, хочешь посмотреть работу американского профессионала-тяжеловеса.

— Конечно, очень.

Окончание. Нач. см. в № 4.

— Тогда давай собирайся.

Через полчаса наша машина, аккуратно объезжая развалины, подъехала к освещенному подъезду офицерского бара из американской летной части. Надо сказать, что бокс в Америке один из самых популярных видов спорта. Трудно сказать, кто на первом месте — он или бейсбол.

Мы поудобнее усадились за столиком, взяли несколько бутылочек «Кока-кола». Встретивший нас подполковник любезно объяснил, что господам русским офицерам повезло, сегодня они увидят одного из чемпионов Соединенных Штатов. Наконец в зале появился долгожданный чемпион. Летчики встретили его яростным веселым свистом. Боксер легко прыгнул за канаты и, улыбаясь, поднял над головой руки. Молодой, светловолосый, лицо нордического типа, прекрасно сложенный, словом, типичный спортсмен с рекламной обложки. Вслед за ним поднялся его спарринг-партнер, двое других ждали своей очереди у ринга. Начался показательный бой. Но профессионал в погоне за дешевой рекламой совершенно не щадил партнеров: одного за другим их унесли с ринга. Всего два раунда провел он, и уже три локаута. Я все время приглядывался к его манере, и понял, что работает он все время одинаково, как машина, без всякой фантазии.

Рефери на ринге обратился к публике с приглашением, может быть, кто-нибудь желает померяться силами с гостем.

— О, не надо бояться, чемпион будет работать очень осторожно.

Я встал. Зал зашумел: такой крепкий русский парень — отличный мешок для ударов чемпиона.

Выхожу на ринг. Чемпион добродушно улыбается мне. Нет, нечего, парень, вроде приятный. Он что-то длинно говорит по-английски. Тот же самый любезный подполковник переводит мне, что чемпион дескать, будет работать слегка, вроде бы шутя.

— Нет, вы ему скажите, пусть дерется серьезно.

Подполковник изумленно пожал плечами, перевел. Чемпион улыбнулся, закивал головой. Мол, ладно, посмотрим.

Первые два раунда я словно нечаянно уходил от его ударов. То будто оступился, то плечо подставляю, то увернусь. В перерыве между вторым и третьим раундами, шепнул на ухо своему спутнику.

— Надоело, сейчас начну по-настоящему.

Он улыбнулся, подмигнул мне.

А между тем, чемпион не на шутку обозлился. Как же так, вышел из зала любитель и держится два раунда.

Гонг. Встречаемся на середине ринга. Я уже не прячусь. Бью. Шлеп за шагом, прижал его к канатам. Зал затих в полном изумлении. Я нарочно открываюсь. Чемпион бьет. Конечно, он не применил возможности пользоваться такой редкостной возможностью. Но мне этого только надо. Бью в разрез левой.

— Что опустил руки? Поплыл?

Теперь правой, резко. Все. Чемпион на полу. Я наклоняюсь, поднимаю его. Американец уже очнулся. Смотрит на меня изумленно, улыбается. Нас окружают хозяева бара.

— Кто такой? Наверное, русский чемпион? Как фамилия?

Приходится сознаться. Американский боксер присвистнул, закивал головой. Конечно, он читал обо мне, даже какой-то фильм видел. Жаль, что не узнал, сразу был бы осторожнее. Остаток вечера я довольно росовестно раздавал автографы зрителям.

Этот случай я всегда вспоминаю, когда меня просят рассказать о моих международных встречах. Четвертая глава будет посвящена именно им. Мне довелось 19 раз защищать спортивную честь Родины. Дрался я за рубежом, встречался с соперниками на своих рингах. Надо сказать, удачно. Первая встреча с иностранным боксером про-

изошла в самом начале моей спортивной биографии. Но, впрочем, ничем по порядку.

Как-то Аркадий Георгиевич Харлампиев пришел на занятия очень взволнованный.

— Ребята, — сказал он нам, — в Советский Союз приезжает прекрасный французский боксер Марсель Тилль. Он едет в составе сборной команды Франции. В Москве они проведут несколько встреч. Я знаю его очень давно, он родственник моего самого первого тренера, добрейшего Гостона.

Нас, молодых боксеров, очень обрадовало это известие. Еще бы, кому не хотелось бы увидеть интересную схватку. Но больше всего нас обрадовало то, что французы будут готовиться к выступлениям в нашем зале. Значит, противниками для вольных боев будем мы, а каждая такая встреча — отличный урок.

И вот гости пришли в наш зал. Веселые, корректные французы с первых же минут понравились нам. Но кто же из них высокий стройный человек? Это и был чемпион Франции Марсель Тилль, прозванный за свою необыкновенную корректность в боях «рыцарем ринга». Его постоянным спарринг-партнером стал я. По сей день помнятся мне эти бои. Действительно, Марселя не зря звали рыцарем. Дрался он очень вежливо. Тогда я был совсем молодым боксером, допускал много ошибок, но ни разу Тилль не воспользовался ими. Наоборот, он всегда указывал мне на них. Так что каждый бой становился для меня хорошей тренировкой.

Лето 1937 года. К государственной границе СССР приближается необычный поезд. В нем не найдешь пассажира старше тридцати лет. Сборная СССР едет в Антверпен на мировую рабочую спортивную олимпиаду. Едут пловцы, штангисты, боксеры, гимнасты, футболисты московского «Спартака». Антверпенская олимпиада — первое большое международное соревнование, в котором участвуют представители самых различных видов спорта из нашей страны.

Прозожали нас с помпой. Перрон Белорусского вокзала не мог вместить всех желающих. Меня провожала мать. Крепко обняла на прощание, пожелала успехов.

Наконец, поезд трогается. Весь день мы шутили, смеялись, ходили в гости друг к другу. Особенным успехом, конечно, пользовался бокс, в котором ехали девушки-гимнастки. К вечеру устали, утихомирившись.

Постепенно наступили сумерки. Я вышел на площадку, открыл двери. Темно, ветер теплый и плотный. Плынут мимо вагона поля да далекие огоньки. Меня до сих пор поражает необъятность нашей страны, а тогда и подавно. Ведь это была моя третья большая поездка.

Все спят, за окнами ночь, а я стою и думаю о предстоящих мне боях. Ведь это большая честь защищать спортивную славу своей родины, да еще на таких ответственных соревнованиях. Но побывать самому мне так и не удалось. Хлопнула дверь, на площадку вышел руководитель нашей команды.

— Пора спать, время.

Да, действительно, режим есть режим, особенно перед такими ответственными соревнованиями.

Утром наш поезд остановился на станции. Я выглянул в окно. Читал название: «Негорелая». Вот тебе и на! Уже граница. В кулуаре слышались шаги. Дверь купе распахнулась, на пороге два кондуктора. Зеленые фуражки, зеленые петлички, скрипящие ремни.

— Здравствуйте!

— Доброе утро!

— Пограничная охрана. Просим предъявить документы.

Лезу в карман пиджака, достаю свою гордость — заграничный

паспорт, протягиваю. Через несколько минут он опять у меня в руках. Две руки коснулись козырьков фуражек.

— Счастливого пути! Желаем победы.

— Спасибо, товарищи.

Наконец, все необходимые формальности окончены. Поезд трогается. Мы, конечно, все у окон. Еще бы — сейчас переедем границу. Ту самую, о которой мы все столько слышали, ту, которую охраняет Андрей Карацупа, ту, на которой погиб Михаил Корабицин. Вот впереди показалась арка. Рядом столб и надпись на нем «СССР», красноармеец в зеленой фуражке. Еще несколько метров — опять столб с незнакомым, непривычным для глаза белым орлом. Солдат с винтовкой. Плоский штык, обмотки, смешная четырехугольная фуражка с таким же белым одноглавым орлом. Панская Польша.

В коридоре зазвенели шпоры. Стук в дверь.

— Войдите.

Лакированные сапоги, шитые серебром воротники и фуражки блестящие ножны сабель. Польские офицеры-пограничники. От них исходило сияние и легкий звон, словно от новогодних елок. Да, видимо, обмундирование этой армии значительно дороже обходится, чем ее вооружение. Протягиваю им свой паспорт. Листают. Внимательно, даже слишком. Ну, как здесь не вспомнить стихи Маяковского?

Но поразили меня в Польше не опереточные офицеры пограничной стражи, не лихие белые орлы через каждые десять метров, не грозные усы Пилсудского на портретах. Другое, совсем другое сразу увидели мы. Те, кто летом видел из окна вагона нашу землю, привыкли к бескрайности полей. В Польше этого не было. Земля здесь была словно одеяло, сшитое из маленьких разноцветных лоскутков.

— Вот вам и буржуазное ведение сельского хозяйства, — сказали кто-то за моей спиной.

Действительно, наглядное пособие. Никакой учебник политграмоты лучше не расскажет. Многое поражало нас. Мишурный блеск городов и необычайная унылость сельских пейзажей. Солома на крыше, покосившиеся плетни и соха. За все время мы так и не увидели ни одного трактора.

Свою первую встречу с Польшей я вспомнил через десять лет. Вновь я ехал на соревнование, но на этот раз в Варшаву. Нас опять встречали щеголеватые офицеры, только у них на мундирах переливались муаром ленточки наших боевых орденов. Изменились польские города, села, поля. Теперь они мало чем отличались от наших. Бывает так: встречаешь человека, перенесшего тяжелую болезнь, смотришь на него и не узнаешь. Вроде бы все точно так же, но выглядит человек совершенно иначе, исчезла с его лица какая-то печаль обреченности.

Но эта встреча, как я говорил, состоялась только через десять лет. А пока наш поезд пересекал Польшу, шел к границе Германии.

Берлин встретил нас дождем и истерикой. На вокзале репродукторы передавали речь Гитлера. Перрон пуст. Мокнут красно-черные флаги, мокнет огромная хищная птица, держащая в когтях свастику. Тяжелая и грубая, она крепко уселась на вокзальной стене, зло хохлилась под дождем.

Лает огромный колокольчик репродуктора, лают «Зиг Хайль» подлая правую руку, здоровенные краснорожие штурмовики.

Мы не выходим из вагонов.

«Неужели это Германия? Родина Тельмана? Страна красных фронтовиков? Нет, конечно, и эта птица, и люди в коричневом, и бунноватый фюрер — все временно. Настоящая Германия жива, она жила в подполье, она борется».

Кто-то подошел к окну. Я повернул голову. Лица не видно, но

закрывает козырек черной, низко надвинутой фуражки. Только чернота на ней поблескивает ярко и зримо.

Встаю, демонстративно задергиваю шторы. Эх, сейчас бы ему правдой в подбородок. Но, нельзя, пока... Ночью мы пересекаем Германию — бельгийскую границу. Пересекаем и словно попадаем в совершенно другой мир.

Поезд змеей изогнулся на повороте — и вот перед нами Антверпен. И только еще вижу крыши домов, шпили костелов и свинцовый ковш дождя. Скорей бы встретиться с этим удивительным городом. Мне много рассказывал о нем Аркадий Георгиевич Харлампиев. Именно здесь находится знаменитая Антверпенская Академия Художеств, ведущая свой родословную от братства святого Луки, организованного еще в XVII веке. Именно здесь было положено начало фламандской школы живописи. В Антверпене родились и жили: Ван-Дейк, Кольваерт, Лейс, Рубенс и другие.

Все свое свободное время в Антверпене я посвятил знакомству с этими прекрасными мастерами. Я бродил по залам Музея изящных искусств. В нем 1100 картин, офортов, гравюр, рисунков, писанных Рубенсом или скопированных с его произведений. Но быть в Антверпене, знакомиться с фламандской живописью и не зайти в прекрасный памятник зодчества — собор, построенный еще в XV веке, невозможно.

Как зачарованный, стоял я на площади. Стремительно, вверх, к солнцу ушли стены собора. Казалось, он соткан из каменных кружев. Гулко поет орган, голос его бьется о стрельчатые окна. Здесь всего три картины великого Рубенса — «Снятие с креста», «Распятие», «Успение богородицы». Здесь невозможно громко говорить, нужно молчать и смотреть, впитывать в себя великую силу вечно живого искусства. Но как ни хорош Антверпен с его извилистой Шельдой, каналами, соборами, улочками, помнящими еще весельчака Тиля Уленшпиглера, мне приходилось расставаться с ним. Дело есть дело. Тренировка, подготовка к соревнованиям.

Первая моя встреча с финном Хеландером. Мне очень хотелось посмотреть на него перед соревнованиями. И однажды...

Я стою у дверей гостиницы. Скрипнула крутящаяся дверь, вышла на улицу группа спортсменов с финскими флажками над карманами джинсов. Среди них молодой парень, головы на две выше своих товарищей. Руки полусогнуты словно от чрезмерно больших мышц. Рука такая ширины, что кажется автомобиль проедет. «Такого на ринг! Убьет!» — подумал я.

Ко мне подошли наши футболисты.

— Хорош детина?

— Да, силен, ничего не скажешь. Тяжелоатлет?

— Нет, что ты, Коля, это же твой противник.

— Хеландер?

— Он самый.

Вот тебе и на! Как же мне с ним драться? Приходилось мне встречаться и с очень высокими противниками, но не такими же. И ему еле подмышку прихожусь. Как же достать его голову? Придется прыгнуть, что ли? Хорошо, я буду выглядеть на ринге? Может быть, еще не поздно взять?

— Да ты не беспокойся, — советуют мне наши ребята. Смелей!

Чувствую, что говорят, а сами боятся за меня, беспокоятся. Но не беспокойся, не беспокойся — вечером бой. И я должен победить. Обязательно. Иначе не стоило доверять мне, присваивать высокое звание чемпиона СССР.

С этими мыслями и выхожу на ринг. Вот мой противник. Без какого он кажется мне еще массивнее. Эдакое скандинавское излитие. Жмем руки друг другу, обмениваемся вымпелами. Отхожу в

свой угол, жалею, что нельзя на ринге к ногам привязать ходунки. Финн начал активно. Бьет прямыми. Правой, левой. Словно машина рычагами. Ничего, я пока уклоняюсь. Уклоны, нырки. Руки свободные, готовые для удара. Но как же достать его голову? Пока бесполезно. Надо присмотреться. Нужно заставить его пригнуться. Сделать так, чтобы его преимущество — рост, стал его недостатком.

Пригибаюсь, стоя на месте. Он тоже. Конечно, иначе финн не достанет. Его коронные прямые иначе не достигнут цели.

Хеландер вновь наступает. Делаю нырок. Промаяхнулся. Вот он совсем рядом, вернее, его живот. Конечно, он согнулся, значит, голова где-то совсем близко. Выпрямляюсь, бью левым крюком... Есть! Попа! Точно в подбородок!

Финн рухнул на пол.

Судья начал счет.

Жду.

...Восемь, девять!

Аут!

Всего одиннадцать секунд длился бой. Всего одиннадцать!

Следующий бой с арабом-палестинцем Хильдерадестом. Перед самой встречей узнаю, что в судейской коллегии начался скандал. Оказывается, мой противник не имеет права выступать на любительском ринге, он боксер-профессионал. Но как-то и кто-то все уладил. Встреча состоится. Ну что ж, узнаем на деле, что такое профессионал?

Снова зал битком набитый публикой. Меня всегда очень раздражало за границей то, что публика не переставая курит в зале. Под потолком, в свете ламп, плавают плотный, синий сигарный дым. Но как говорится, в чужой монастырь со своими уставами не лезь. А жаль. Хотелось, чтобы они посмотрели на нашу внимательную великую публику.

Под гром аплодисментов на ринг поднимается смуглый кудрявый красавец. Сложен прекрасно, смотришь на него и невольно вспоминаешь страницы мифологии. Он также первый начинает атаку.

— Что ж, посмотрим, чему научили профессионала.

Пока веду разведку.

— Э, да твой арсенал не богат. Удар левой в корпус, в голову, потом опять то же самое.

Придется его кое-чему научить.

Бью встречным, скользящим внутрь навстречу его удару, одновременно отбиваю руку палестинца локтем. Все. Хильдерадест на полу. Судья досчитал до восьми...

Встает!

Ишатаюсь, идет на меня.

— Надо быть осторожным, о таких уловках профессионалов, когда-то предупреждал меня Марсель Тилль.

Тщательно закрывшись, иду ему навстречу.

Вот удобный момент для удара с фланга.

Есть!

Противник опять в нокдауне.

Опять встает.

— Ну что ж.

Загоняю в угол, бью правой по перчаткам снизу. Открываю глухую защиту и левой в голову.

Нокдаун!

Зал ревет. Это очень мешает, все же.

И опять встает. У нас давно бы прекратили бой. Но встреча международная. Здесь другие правила. Подхожу и легким ударом начинаю бой.

Две встречи. Две победы. Звание чемпиона мира. Это мой первый подарок Родине.

Надо сказать, что все наши спортсмены завоевали призовые места, увезли домой дипломы чемпионов мировой рабочей олимпиады.

На утро мы уже складывали чемоданы. Скорей бы домой, в Москву. Но все получилось иначе.

— Едем в Париж, — объявил руководитель делегации, — нас пригласили французские рабочие.

Есть города, в которых никогда не был, но они почему-то кажутся знакомыми и близкими. Я знал Париж. Любил его заочно, по рассказам Харлампиева, по романам старика Гюго, по веселым и мужественным книгам Дюма. Конечно, десять дней очень мало, чтобы узнать город, но вполне достаточно, чтобы встретиться со старым знакомым.

Французские друзья делали все, чтобы мы как можно лучше узнали Париж. Но я стремился на Монмартр, туда, где жил мой дорогой учитель. Совсем недавно я читал в «Литературной газете» прекрасную статью Даниила Гранина «Тринадцать ступенек». В ней рассказывается о том, как автор с внуком Федора Михайловича Достоевского ходят в Ленинграде по местам, о которых написано в романе «Преступление и наказание». Автор как бы переживает новую встречу с романом, он невольно сам как бы становится одним из его героев. Эти ассоциации вызваны необыкновенной документальностью, необыкновенной точностью в описании, сохранившейся и по сей день. До сих пор в Ленинграде стоит дом, где якобы жил Раскольников. В его каморку ведут те же тринадцать ступеней, что и в романе. Все осталось, все точно. И поэтому сегодня перемешалась явь и вымысел.

Я прекрасно понял автора статьи. Я сам пережил нечто похожее в Париже.

Квартал Сен-Дени, улица Шерль-Миди. Перекликаются хозяйки, галдят ребятишки, свирепствуют шарманки. Чад. Жаровни, жаровни. Каштаны. Картофель. Полосатые материи на окнах. Три стертые ступеньки вниз к двери быстро. Ажан на перекрестке. Пойдите, а кто это едет на фургоне? Не может быть, неужели булочник мосье Лесак? Видимо, он, вот и его лавка, а на ней имя. Даже балаган проходимца Жоржа на месте. Только, конечно, плакаты с именем боксеров другие. Конечно, у нас было много приятных встреч в Париже, конечно, осталось там много добрых друзей.

Но как ни хорошо в гостях, дома все же лучше. Действительность этой пословицы я понял, увидев первые подмосковные дачки.

Но непродолжительной оказалась наша разлука с французскими друзьями. В декабре мы встречали боксеров Франции на Белорусском вокзале. Надо сказать, что гости к нам приехали сильные. О многих из них в то время писали спортивные обозреватели Европы. Но и на этот раз победила советская школа бокса. 7:1 — таков убедительный итог этой встречи.

Мой противник тяжеловес Лесачи был очень осторожен. Первый раунд не дал результатов. Но зато во втором мне удалось прижать его к канатам. Уйти некуда. Лесачи так и остался в этом углу. Бой был прерван ввиду моего явного преимущества.

Потом мне долго не пришлось выступать на международных рингах. Война. Спортсмены стали солдатами. Надел и я военную форму.

Из окна самолета невозможно отличить, где волны, а где облака. Наша машина идет над седой Балтикой. Курс — Хельсинки. Там должны состояться первые после войны выступления советских боксеров. Война не ослабила нашего спорта. Триумф футболистов москов-

ского «Динамо» надолго запомнится английским болельщикам. Шутка ли с огромным счетом обыграть лучшие команды Британских островов.

Мы ехали на спортивный праздник финского рабочего союза «Туль», с таким же настроением. Победа, во что бы то ни стало.

Финны приветливо встретили нас. Они позаботились о нашем отдыхе, об условиях для тренировок. Нас поселили на живописном острове, недалеко от финской столицы. Когда-то здесь помещалось военное училище, поэтому в здании был прекрасный спортивный зал. Начались тренировки, а вместе с ними наши мучения. В спортзале было тесно от корреспондентов.

Вспышки блицев отвлекали нас, мешали работе. Ежедневно десятки газет писали о наших тренировках и тренировках наших противников, комментировали, взвешивали шансы.

У нас в команде все боксеры были молодыми. Только я и Евгений Огуренков имели опыт международных встреч. Так что у нас был повод для беспокойства. Но как выяснилось позже, они оказались совершенно напрасными. Наша команда одержала убедительную победу со счетом 16:0.

Но это было значительно позже. А пока...

...Переполненный «Спорт-Паласс». В зале нет ни одного свободного места. Билеты распроданы задолго до соревнований. Со всей Скандинавии съезжались сюда любители бокса.

Как всегда тяжеловесы выступают последними. Я смотрю, как работают мои молодые товарищи и постепенно на смену беспокойства приходит чувство облегчения. Здорово дерутся наши, победа за победой. С честью держит экзамен школа нашего боксерского мастерства. Не оправдались прогнозы некоторых спортивных комментаторов. Война не отразилась на технической подготовке советских мастеров кожаной перчатки.

Закончились выступления тяжеловесов. Теперь моя очередь.

Вот опять я на международном ринге. И опять, как десять лет назад, мой противник — финн.

Иду на сближение. Но что такое? Финн упорно не желает принимать боя. Ясно. Хочет походить раунда два, подстеречь, а потом атака. Не выйдет. Но мне тоже нельзя бросаться на него очертя голову. Растрачу силы, выдохнусь. Ничего, постараюсь ограничить его поле деятельности, зажать в угол.

Тщательно закрываюсь, наступаю. Финн еще не разгадал мою тактику.

— Ага, понял! Нет, теперь поздно. Ты в углу. Теперь не уйдешь.

Делаю обманное движение левой. Противник открылся. Удар. Нокаут!

Бой окончен в первом раунде.

Утром в мой номер зашел наш переводчик. В руках целая кипа утренних газет.

— Все, Коля, погиб.

— Что такое?

— Вот слушай, что говорит Матсон.

Матсон — чемпион Финляндии, мой сегодняшний противник.

«Я был вчера в «Спорт-Палассе». Я видел русского чемпиона Королева. Вы спрашиваете: победит ли Матсон Королева? Я отвечаю «да».

Да, самоуверенный достался мне противник, даже чересчур, пожалуй. Ну что ж, ринг покажет.

У него длинные руки, сильные плечи, бугры мышц. Действительно, крепок. Идет мне навстречу, улыбается снисходительно, слов

хочет сказать: «Не бойся, сильно бить не буду». Я тоже улыбаюсь. Что делать, долг вежливости.

Гонг. Он сразу бросается на меня. Та же улыбка. Публика рвет. Финны любят Матсона. Еще бы — красавец-чемпион. На секунду вспоминаю «Мексиканца» Джека Лондона. Ну, вылитый Джонни Уорр. Но я ему не Ревиро. Нет. Видели мы и пострашнее, чем Матсон.

На меня обрушивается целый водопад ударов. Противник не полагает силы, он очень вежлив. Финн предлагает поистине бешеный темп.

— Ну что ж, принимаю охотно. Я же вижу каждый его удар. Кипит только он начинает зарождаться. Быстрота — не всегда точность. Пока он бьет по плечам и перчаткам.

Матсон злится. Он не понимает, почему я не отступаю. Нет, я плохой советчик. Чемпион Финляндии озверел. Я буквально потонул в граде его ударов. Меня не видно.

— Мат-сон! Мат-сон! Мат-сон! Мат-сон!

Внезапно любимец Финляндии делает шаг назад и, покачнувшись, рушится на пол.

Я ударил вразрез по челюсти.

— Раз! Два! Три! Четыре!..

Считает судья.

— Пять! Шесть!..

Матсон пытается подняться.

...Семь! Восемь! Девять! Аут!

Все. На первой минуте первого раунда Матсон нокаутирован.

Зал реагирует бурно. Но несколько ошеломленно. Не оправдались газетные прогнозы.

На утро мы покидали Хельсинки. Финские друзья организовали нам поездку в город Таммерс (Таммерфорс). Когда-то в декабре 1965 года там проходила 95 Всероссийская большевистская конференция.

Я никогда не видел раньше этот город, окруженный озерами. Но почему-то он сразу же показался мне родным. Я ходил по его улицам и не мог поверить, что сорок два года назад стены этих зданий, эти деревья, площади видели Ильича. Мимо них ходил он своей стремительной походкой. Здесь жил и писал. Много часов провел я в Доме-музее.

За мою долгую жизнь я достаточно поездил. Видел массу мемориальных мест. Но нигде я не испытывал такого волнения, как в местах, связанных с именем Ленина.

В Таммерсе я вспомнил далекий Ульяновск. Двухэтажный деревянный дом. Скрипучие ступени. Светлые комнаты, потрескивает печка, гулко стучат часы на стене. Здесь не чувствуется тот специфический запах музея. Дом жилой. Кажется, сделаешь шаг, откроешь дверь в столовую...

...Горит зеленая лампа, добродушно пыхтит самовар. За столом дружная семья Ульяновых.

Как я горжусь, что родился и жил в ленинскую эпоху, горжусь тем, что претворяю в жизнь его заветы.

В Таммерсе меня ожидал сюрприз. Вслед за нами сюда приехал Матсон.

— Реванш? Пожалуйста.

Но теперь я буду вести бой в наступательной манере. Не дам ему перейти к активным действиям. Пусть узнает, что такое советская школа бокса. На этот раз встретились мы не местным чемпионом. Публики тьма. Болельщики Матсона приехали вслед за ним из Хельсинки.

Теперь атаковал я. Матсон стал осторожнее. Он, видимо, помнил

недавний урок. Маневрировал и все время закрывался. Присматривался ко мне. Видимо, он думал, что окрыленный первой победой, я увлекусь, откроюсь. Пускай считает так, мне это даже выгодно.

Иду в атаку, раскрываюсь.

Матсон контратакует. Быстро бросается вперед. Сейчас ударит.

Удар!

Ухожу влево. Матсон промахивается.

Теперь сильно левой, крюком в челюсть!

Нокаут!

Чемпион Финляндии вновь на полу.

Надо сказать, мне часто приходилось драться с финнами. Через год в Москве мы принимали их сборную. У меня опять было два боя. Первый закончился быстро и легко. Во втором мне пришлось встретиться с тяжеловесом Ваэма. Весил он больше ста килограммов. Поэтому работать с ним было тяжело. Но мне удалось послать его в нокадаун, после которого он сам отказался от боя. Зрелище было просто смешным. Финн буквально убежал в свой угол.

Недолго мне пришлось побыть дома. Только вернулся из Финляндии — новая поездка. На этот раз нас ждали в Чехословакии. Здесь должно было состояться Всеславянское первенство по боксу.

Есть города, которые сразу же околдовывают вас. Мы зачастую привыкаем к красоте. Чем больше сталкиваемся с нею, тем она нас меньше волнует. Она становится привычной для нас. Однако Прага — это совершенно другое дело. Она совершенно волшебна вечером, когда зажигаются яркие глаза фонарей. Выходишь на набережную Влтавы возле Национального театра, смотришь вправо на ярко освещенный Кремль-Град, на полуосвещенную внизу Малую Страну и купол Николаевского собора, на близкий от него Карлов мост. Нет! Не может быть. Это не реальность. Мы видим прекрасную сказку, уводящую куда-то далеко в прекрасный волшебный мир.

Злата Прага. Город, в котором старина тесно переплетается с современной изысканностью.

Я часами бродил по ее улицам. Плутал в переулках Старого города, любовался Воцлавской площадью.

Ежедневно после тренировок я уезжал в Прагу (а жили мы в одном из живописнейших предместий чешской столицы) и до позднего вечера гулял по городу.

Вскоре начались соревнования. Проходили они в спортивном зале «Люцерна». Около пяти тысяч зрителей собралось в нем. В Чехословакии спорт очень развит. Наши противники оказались прекрасно подготовленными боксерами. Нашей команде пришлось нелегко. Схватки на ринге становились все жарче и жарче.

Моим первым противником был чешский тяжеловес Вирак. Весил он более ста килограммов, да и сложен был соответственно.

Бой он начал не слишком активно. Вирак знал, что у него преимущество в весе и росте и поэтому берег силы. Ждал, когда я измотаюсь, а тогда окончит встречу нокаутом.

Он выбрал удобный момент. Бьет. Вложил в удар всю силу, всю тяжесть тела. Конечно, попади он мне в голову — нокаут. Но я увидел этот удар еще в самом зародыше, в смене положения рук, ног, корпуса.

Вирак промазал. А пока приходил в боевое положение, я достал его левым крюком в голову.

Нокадаун.

Только судья досчитал до шести — встает. Сразу же начинаю атаку. Решил, видимо, достать меня любой ценой.

Опять тот же прием. Опять мимо. Опять я бью, только правым прямым.

Нокдаун.

Не успел судья досчитать до половины.

Гонг.

Расходимся по углам.

Второй раунд.

Я выхожу на ринг.

Вирак остается в своем углу.

Сдался.

В раздевалке, после боя, ко мне подошел наш тренер Виктор Михайлов.

— Ты, Николай, осторожнее. Береги руку. А то бьешь уж очень сильно. Вывихнешь пальцы или сломаешь кисть. Давай лучше отработаем нокаут по туловищу.

Правильный совет. Мы, боксеры, частенько пренебрегаем этим ударом. А действие его весьма эффективное.

Последующие тренировки посвятил отработке именно этого удара. Решил опробировать его в предстоящем бою с чемпионом Польши Невадзилом.

Бой я начал с атаки. Для успеха удара необходимо было сблизиться с противником. Загнал Невадзила в угол. Немедленно, пока он не ушел в глухую защиту, провожу один за другим два задуманных удара — левой снизу вверх в печень.

Нокаут!

Наконец, четвертый, заключительный день чемпионата. Чешская печать очень внимательно следит за успехами нашей команды. Нашему мастерству отдают должное лучшие спортивные обозреватели Праги. Они прямо говорили, что советские боксеры не найдут себе в Европе равных.

Последний день, как говорится, был поистине триумфальным. Наши спортсмены победили во всех встречах. Нокаутом на первой минуте заканчиваю бой с боксером-тяжеловесом Леванским.

По правде говоря, я и сам не ожидал такой легкой победы. Мой противник допустил целый ряд ошибок, а главное, он слишком затянул разведку. Все приглядывался ко мне. Мне сразу же удалось наязать ему свою манеру боя. В результате — убедительная победа.

С грустью прощались мы с красавицей Прагой. Последний раз обошли свои любимые места. И в путь. Поезд уносит нас в столицу Польши. Как я рассказывал в начале этой главы, мне довелось увидеть довоенную Польшу. Но разве можно было сравнить ее с сегодняшней? Недавно из Варшавы вернулся мой приятель. Он целый вечер рассказывал мне о красоте польской столицы. Рассказывает, а сам все переспрашивает: «А помнишь это, а помнишь то?».

— Нет, не помню, — отвечаю ему.

— Как же так? — удивился он, — ведь ты же был в Варшаве.

Да, был. Но в какой? В те дни Варшава еще слишком хорошо помнила о трагических днях знаменитого восстания. Об этом напоминали разбитые дома, взорванные костелы, исковерканные мостовые. Не очень весело выглядел город. Правда, этого нельзя было сказать о его обитателях. Варшавяне одели спецовки строителей. Город рос на глазах. Перекидывались через реки мосты, строились новые дома, восстанавливались старые.

В столице Польши мы провели товарищескую встречу. Она была очень серьезной. Польские спортсмены считались в Европе самыми сильными. И опять так же, как и в Праге, так же, как и в Хельсинки, мы выиграли. Счет 10:6.

Дома, в Москве я тщательно проанализировал все три встречи. Еще раз, но теперь уже с карандашом в руке, проверил их тактиче-

ские решения, но не на ринге, а на бумаге. Что ж, итог утешительный. Победила наша, советская школа бокса. Нелегкий путь, по которому мы все шли в поисках мастерства, оказался правильным, передовым. Вот в этом и секрет наших успехов.

Часто меня спрашивают. Почему я, один из сильнейших тяжело-весов нашей страны, никогда не встречался на ринге с такими мастерами кожаной перчатки, как Джо Луис, Вилсон, Карпантьев и другими. Прежде чем ответить на этот вопрос моим читателям, я хочу рассказать одну историю. Началась она с письма. Оно и сейчас лежит передо мной. Голубоватая бумага с водными знаками, сверху синий штамп с английской надписью:

«Спортивный клуб XX века, Нью-Йорк».

«Уважаемый господин Королев!

Слава о Ваших успехах как боксера СССР дошла до Америки. Многие американцы говорят о том, что они хотели бы, чтобы Вы продемонстрировали свои способности у нас.

В силу этого самая мощная американская организация в области бокса приглашает Вас приехать в Америку. Организация эта — «Спортивный клуб XX века», председателем которой являюсь я. Наша организация устраивает соревнования по боксу в знаменитом Медисон-Сквер Гарден и на всех других больших аренах Америки.

Желательно, чтобы Вы приняли участие в соревнованиях против различных американских боксеров. Это представит огромный интерес, поскольку Вы являетесь первым представителем СССР, принимающим участие в соревнованиях по боксу в Америке.

Наша организация просит сообщить о том, хотите ли Вы принять это предложение. Если Вы ответите «да», то в этом случае мы проведем подготовку к Вашему приезду.

В надежде, что эта великая советско-американская антреприза состоится, мы Вас приветствуем.

Искренне Ваш Майкл Джекобс,

председатель «Спортивного клуба XX века».

Меня, признаться, не особенно удивило это письмо. Выход нашего спорта на большую международную арену сразу же вызвал к нему повышенный интерес. Вполне естественно, что должен был завязаться спор о первенстве в спорте между двумя крупнейшими державами — СССР и Соединенными Штатами Америки.

Прочитав письмо из-за океана, я крепко задумался. Конечно, было очень заманчиво померяться силами с американскими мастерами. Но с другой стороны, выступив в Медисон-Сквер Гарден, я должен был навсегда распрощаться с любимым спортом. Начав встречаться с профессионалами, обязан был уйти из любительского бокса. Не знаю, известно ли было этому мистеру Джекобсу. Наверное, да, ведь он был крупный спортивный делец.

Я сел и написал не менее любезный ответ:

«Я весьма признателен Вам за любезное приглашение, но вместе с тем имею честь сообщить, что принять его не имею возможности. Как как, будучи любителем, не могу участвовать в соревнованиях боксерами-профессионалами и, несомненно, не получу на это разрешение Всесоюзной секции бокса, которая осуществляет руководство этим видом спорта в Советском Союзе».

«Великая антреприза» не состоялась. Не удалось председателю самой мощной американской организации бокса «заработать сумму в 100 тысяч долларов. Жаль, что именно на них держится американский, да не только американский профессиональный бокс. Сколько прекрасных спортсменов погибло из-за жадности предпринимателей типа Майкла Джекобса.

«Только нищета заставляет человека согласиться выступать на профессиональном ринге», — сказал абсолютный чемпион Джек Демпси.

Вот поэтому я и не принял предложение американцев. Бокс в моем понимании — это прежде всего спорт. Красивый, мужественный. А тот бокс, который люблю я, совершенно не нужен американским спортивным «жучкам».

Девятнадцать раз приходилось мне на ринге защищать честь нашей Родины. Мне кажется, что сделал я это неплохо. Девятнадцать боев — девятнадцать побед.

## Смерть и жизнь рядом

Утро ленивое и жаркое. Солнце накалило комнату. Открытое окно не помогает. Я только вернулся с разминки. Бежал по тротуару, а тапочки прилипали к вязкому асфальту.

После завтрака нужно сходить на озеро. Провалиться до вечера у воды. Да, лето началось необыкновенно жаркое. Завтракаю и слушаю радио. Передают песни из кинофильмов.

Приемник замолчал.словно поперхнулся.

«Неужели опять сопротивление перегорело?»

Нет, вроде все в порядке.

И вдруг...

«К гражданам Советского Союза...»

Война!

Уже несколько часов дерутся пограничники заставы. Немецкие бомбардировщики сбросили свой смертоносный груз на Минск и Киев.

Как же это произошло? Когда? Почему мы не знали об этом?

Быстро переодеваюсь. Скорее в военкомат. Скорее на фронт. Вспомнился на минуту Берлинский вокзал. Дождь, лающий репродуктор. Хищный орел на фронтоне.

Я выбегаю на улицу. То же солнце, тот же мягкий асфальт...

А всего неделю назад в Измайловском парке я боролся за звание абсолютного чемпиона Москвы. Бой был необычным. Мой противник Иван Ганыкин едва достигал среднего веса. Но зато он славился как лучший боец-темповик. Но я в этом бою решил лишить его этого преимущества. Сам завязал острый быстрый бой. В результате — победа и звание абсолютного чемпиона Москвы.

Сейчас, торопясь в военкомат, я даже и представить не мог, что какие-то семь дней назад был ринг, крики болельщиков, радостное чувство победы.

К кабинету военкома не протолкнуться. Добровольцы стоят плечом к плечу в коридоре. Час, изнывая от жары, жду своей очереди. Народу много, но все молчат. Только смотрят на обитые клеенкой двери с табличкой «Военком».

Наконец, они распахиваются передо мной. В небольшом кабинете за столом человек с тремя шпалами на петлицах.

Он листает мой военный билет, поднимает глаза на меня.

— Не могу, товарищ Королев, подполковник поднимается из-за стола, — не могу. Я понимаю вас, мне самому не очень хочется сидеть здесь. Вы — чемпион страны, на вас распространяется бронь.

Весь следующий день бегаю по военкоматам. Все то же самое. Запись в военном билете: «Запас второй очереди» становится непреодолимым препятствием.

— Знаете что, — посоветовал мне один знакомый капитан. — Я

слышал, что из спортсменов формируют специальную бригаду. Поезжайте на стадион «Динамо», попробуйте.

Около Белорусского вокзала троллейбус остановился. По Ленинградскому шоссе шли войска. Печата шаг, проходят мимо окон роты красноармейцев. Молодые лица, новенькие гимнастерки, еще неразношенные сапоги.

— Ох, горе-то какое, — вздохнула рядом со мной немолодая женщина. — Ведь дети совсем. Вот и мой вчера ушел добровольцем.

Мне почему-то становится мучительно стыдно. Стыдно за то, что я, здоровый, крепкий парень, с чемпионским значком на груди, до сих пор не надел еще военную форму.

На стадионе много знакомых. Почти все московские мастера спорта пришли сюда. Первым делом выясняю ситуацию. Вроде бы все в порядке. Из спортсменов будут формировать отдельную чекистскую бригаду.

В этот день мне повезло. Через несколько часов я уже надел гимнастерку с красными петлицами.

Утром нас будит горнист. Голос трубы, требовательный и резкий, врывается в палатки, выбрасывает из постелей.

Спортивный лагерь на станции «Строитель» превратился в воинский учебный пункт.

Физзарядка, пробежка, завтрак.

И снова труба. Пора на занятия.

Строевая, политинформация, матчасть оружия.

А мимо станции идут эшелоны. На Запад, на Запад. — стучат колеса. Из открытых дверей выплескивается на перрон песня.

Идут, идут эшелоны. Теплушки, командирские вагоны, платформы с техникой. На Западе тяжело дышит фронт, идут бои.

А здесь? Да что говорить!

— Боец Королев!

— Я!

— Перечислите основные части пулемета «максим».

— Слушаюсь!

А лицо у сержанта-инструктора совсем другое, чем вчера. Глаза грустные, затравленные какие-то. В перерыве он подходит к нам.

— Слыхали, ребята, Киев оставили? У меня там мать и братишка. И рапорт третий командир бригады мне вернул. Не пускает на фронт.

— Раз! Раз! Раз, два, три!

— Раз! Раз! Раз, два, три!

— Рота, ногу!

Бухаем сапогами, летит пыль.

— Ноги не слышу!

Старшина молодой, туго в талии перехвачен ремнем. Гимнастерка на нем как влитая, сапоги хромовые блестят, глядеть больно. Лучший строевик. Зверь, а не старшина.

А вчера ночью немецкие самолеты бомбили Москву. А сводки все мрачнее и мрачнее.

— Рота! Стой!

— Плохо, нет настоящего строевого шага.

Идет вдоль строя старшина. Щеголеватый, ладный, словно картинка из строевого устава.

«Далась ему эта маршировка. Эх, на фронт бы...»

— На пра-во! Шагом мар-ш!

Целый день ползаем по-пластунски, рассыпаемся цепью.

— Рота, в атаку! Вперед!

Привычно бросаю винтовку на руку.

— Ура-а-а-а!

Бросаю гранату, колю, бью прикладом, стреляю раз, другой.

— Рота-а-а! Стой! Перекур.

Валяются на земле исколотые штыками куклы. Валяются перазорвавшиеся деревянные гранаты. Сегодня здесь мы опять победили. А там?

— Товарищ полковник, разрешите обратиться?

— Слушаю вас, боец Королев.

— Прошу отправить меня на фронт.

— На фронт,— командир бригады встает, поскрипывая ремнями,— на фронт? На фронт поедem только после приказа командования. Ясно? Идите.

В прицеле автомата прыгает силуэт в рогатой колке. Он режется по поясу. Тихо подвожу мушку. Ну подожди, подожди. Плавно давлу на спусковой крючок.

— Та-та-та-та!

Автомат дрогнул. Повожу стволом.

— Вот ты, опять. Получай.

— Та-та-та!

Брызгает огнем и ненавистью срезанный ствол.

— Прекратить огонь! Осмотреть мишени!

Поднимаю автомат. Жду.

— Молодец, Королев,— улыбается ротный,— пять пробоин.

Ночами нас поднимают по тревоге. Повзводно, бесшумно и быстро усаживаемся в машины. С потушенными фарами выезжали на шоссе. Где-то впереди Москва. Мы едем на патрулирование.

Темные пустые улицы. В них шаги особенно гулкие. Пусто.

Из-за поворота человек нам навстречу.

Метнулся луч фонаря.

— Стой! Документы!

— Можете идти!

И опять улицы гулкие и пустые.

Сводки с каждым днем тревожнее, враг все ближе и ближе к Москве.

В те дни я, как бы заново осмысливал жизнь. С детства, с пионерского отряда мне внушали любовь к Родине, гордость за нее, благодарность тем, кто отдал свою жизнь ради нашего счастья. Спроси меня тогда: «Любишь ли ты Родину?» Я ни на минуту не замедлил бы с ответом.

Но вот сегодня наступил день, когда одних только слов мало. Нужно на деле доказать свою любовь, свою преданность, свою ненависть к врагам.

А мои рапорта так и оставались безответными.

Однажды на стрельбище я столкнулся со своим бывшим учеником, боксером Димой Староверовым. Вот так встреча! Дима привел на стрельбище человек пятнадцать молодых ребят, вооруженных автоматами («ППД»).

После традиционного обмена приветствиями, разговорились.

— Ты чего такой мрачный? — поинтересовался Староверов.

Пришлось мне рассказать старому товарищу о всех своих злоключениях с рапортами.

— Ну, это ничего, — Дима хитро улыбнулся, — может быть, я тебе помогу.

— Каким образом?

— Увидишь, — уклончиво ответил он.

Прошло еще несколько дней. Наступала осень. Она особенно остро востновалась в нашем палаточном городке. Ночами ветер безжалостно

но тряс ветви деревьев. А утром дневальным приходилось разметать желтые листья на передней линейке. Днем, в перерыве между занятиями, я уходил в соседнюю рощу и долго гулял там. Прозрачная тишина, запах прелых листьев на какое-то время успокаивали меня, позволяли хоть на несколько минут забыть.

Дни шли, а Староверов не давал о себе знать. Я уже совсем перестал надеяться.

— Боец Королев!

— Я!

— Срочно в штаб.

— Есть!

Бегу мимо палаток, мимо дощатых каптерок и ружпарков. Вот и знакомый кабинет командира бригады. За столом полковник, перед ним Дима Староверов.

«Неужели повезло?»

— Товарищ полковник, боец Королев прибыл по вашему приказанию.

— Собирайтесь, Королев, вы откомандировываетесь в распоряжение полковника Медведева.

Через час, собрав свое немудреное имущество и попрощавшись с ребятами, я шагнул следом за Димой Староверовым.

Конечно же, меня разбирало любопытство. Что это за полковник Медведев, в распоряжение которого я отправляюсь. По дороге я, буквально, забросал вопросами Староверова.

— Понимаешь, Коля, подразделение наше не совсем обычное. Мы готовимся к работе в тылу врага, ну, вроде партизанского отряда. А командует нами старый чекист Дмитрий Николаевич Медведев.

Ему было 19 лет, когда председатель Брянской ЧК вручил Дмитрию Медведеву мандат чрезвычайной комиссии и наган.

— Получай, товарищ Медведев, защищай завоевания революции!

Дима Медведев понимал, что защищать надо, но как? Работа чекиста, это не просто. Это, пожалуй, потруднее, чем на фронте.

Ночью вбежал в комнату дежурного человек:

— Беда, начальник, кулаки...

Вспыхнуло в уезде кулацкое восстание. Уходят ночью роты ЧОН и охватывают кольцом мятежные села.

Разбиты кулаки, но ушли главари. Спаслись те, кто знает явки адреса, знает, где спрятано оружие. Опасно ездить в одиночку по глухим лесным хуторам. Того и гляди брызнет ненавистью из-за угрюмый ствол маузера...

Но надо найти. И Дима Медведев не слезает с седла. Одна надежда на внезапность и безотказный наган.

Только кончили с кулаками, эсеры зашевелились. Готовят террористические акты. Чекист Медведев уезжает в Москву. Он должен задержать своего бывшего друга. Разошлись у них дороги навсегда. Теперь они враги. Правда, не удалось им встретиться. На подмосковной даче взрывается склад динамита. Тот самый, который разрывали чекисты.

Революция — это не только лихие конные рейды и ярость штыковых атак. Революция — это и невидимый фронт. Фронт, линия которого проходит через человеческие сердца. У первых советских контрразведчиков не было опыта, иногда не хватало знаний, но у них были сердца большие и мужественные, было четкое разграничение, где добро, а где зло.

Уходит, петляя и прячась на хуторах, батько Махно. Разбита «родная армия» анархистов, только несколько бандитов остались. Батькой и среди них правая рука Махно — Лева Задов. Начальник

литического отдела армии анархистов, палач и контрразведчик Витк нему и приходит молодой чекист.

Рискуя жизнью, пробирается он в логово кровавого батьки. Нужно захватить Махно, не дать ему уйти за границу. Правда, операция не удается. Но через несколько лет вновь встречаются Медведев и дачки «Батька» посылает своего верного помощника выкопать и переправить за границу награбленное золото. Левка арестован. Целыми днями разговаривает с ним Медведев. Левка знает много. В его руках вся агиттура Махно на Украине. Затаились по хуторам бывшие сотники, сменили маузеры на счеты бывшие полковники и куренные.

Перед молодым чекистом опытный, матерый, а, главное, страшный враг. Его невозможно запугать, его нужно уговорить, заставить понять единственную правду большевиков. Нужно отыскать где-то в глубине его души остаток человечности. Но это безумно трудно, слишком уж много крови и скверны наслось в сердце этого человека. Дмитрий Медведев победил. Левка сам решил помочь контрразведчикам.

Пришло время и чекисты начали восстанавливать промышленность, бороться с детской безнадзорностью. И всегда Медведев там, где особенно тяжело.

Сначала Дмитрий Николаевич не мог понять, что же случилось. Старые чекисты, его товарищи по борьбе с белогвардейцами и кулачьём арестовывались прямо на работе. Почему-то вдруг стали они вражескими разведчиками, уклонистами, троцкистами. Их места занимали страшные люди, возводившие грубость в культ и высшим достоинством считавшие невежество. Нет. Он не мог работать в такой обстановке. Медведев подал рапорт. «По состоянию здоровья...» Теперь ему некуда было торопиться. Теперь он в запасе. Дмитрий Николаевич много читал, учился. Наверстывал упущенное время.

А в мире было неспокойно. Гитлеровцы шагали по столицам Европы. Он внимательно читал газеты, старался разыскать скрытый смысл за скупыми черными строчками. Гитлер занял Польшу. У фашизма общая граница с нами.

Ночи напролет он стоит у окна, курит, курит, курит. Он понимает, что такое общая граница.

В первый же день войны он пришел в дом на Дзержинской площади. Больше не было командира запаса Медведева, он опять надел гимнастерку, на рукаве которой была эмблема щита и меча.

Вот такой был мой будущий командир. С такими людьми мне еще сталкиваться не приходилось. Естественно, что я немножко робел перед встречей с Дмитрием Николаевичем. Мне очень хотелось попасть к нему в отряд. Ведь он отправляется в самую гущу врагов, в фашистский тыл.

Отряд мы догнали только в Подольске. Медведевцы срочно высказали на фронт.

В пассажирском зале темно. Осторожно пробираюсь в угол, где-то там спят командир и комиссар отряда Кулаков.

— Кто здесь? — голос хриловатый спросонок.

— Товарищ командир, это новенький приехал. Королев. — докладывает Староверов.

Б глаза ударил нестерпимо яркий свет карманного фонаря. Желтый глаз его скользнул по мне, словно рассматривал.

— Ну, присаживайся, Королев, давай поговорим.

Ощупью нахожу свободное место на деревянной скамейке.

Сейчас трудно сказать, о чем мы говорили в ту ночь. Дмитрия Николаевича интересовало абсолютно все. Он задавал самые неожиданные вопросы. Спрашивал о доме, родине, о близких друзьях, о лю-

бимых книгах, о боксе. Не знаю, каким образом удалось Дмитрию Николаевичу сделать вывод из нашего разговора, но ясно было одно: ему понравился.

— Ну что ж, комиссар, возьмем чемпиона по боксу? Пригодится он нам в отряде?

— Да, пожалуй, возьмем.

— С этой минуты можете считать себя бойцом нашего отряда. Зачисляю вас. Будете моим адъютантом.

Осенью дни короткие. Это особенно заметно в лесу. Темнота здесь наступает сразу, без видимого перехода, который как нигде заметен в городе. Еще несколько минут назад было светло и вдруг — темнота плотная, хоть рукой пробуй. Ночью в лесу особенно неуютно и особенно холодно.

Где-то в нескольких километрах фронт. Его ощущаешь каждой клеткой, каждым нервом. Он не спит, вздыхает тяжело и отрывисто орудийными залпами, подмигивает всполохами огня у горизонта. Я еще не знаю, что такое фронт. Я только слышу его, чувствую необычайно близко.

Приказ короткий и строг: «Не курить, не разводить костров».

Мы не курим и не разводим костров. Мы мерзнем и ругаем сквозь зубы, шепотом. Через несколько часов армейские разведчики проведут нас в «окно».

Через несколько часов — вражеский тыл.

Жду беспокойно и бездумно. Мысли разорваны, незаконченны. Мозг, словно плохой проектор, рвется, рвется лента воспоминаний.

Берлин. 1937 год. Дождь. Хищный орел на фронтоне вокзала. Вдруг свет заслоняет чей-то силуэт. Нет глаз, нет лица. Бархатный околышек, серебряный череп на нем смотрит пустыми глазами.

...Париж. Улица Шерль-Миди. Солнце, опустившееся на рифтовые крыши, стертые каменные плиты. Веселый Марсель Тилль. Где же он сейчас? Ведь по Парижу ходят сегодня такие же, с черепами на фуражках...

— Коля, а Коля!

Это командир разведчиков Саша Творогов.

— Коля, расскажи нам что-нибудь.

— Ну что же вам рассказать, ребята. Просто не знаю. Да и о чем можно говорить такой вот ночью? Нервной, зябкой.

— Творогов, ко мне!

«Это Медведев. Наверное, пора».

Поднимаюсь, удобнее приспособливаю автомат, подтягиваю пояс с пистолетом.

«Точно, пора».

Командиры вполголоса отдают команды.

Вытягиваемся в цепочку, выходим из леса. Впереди командир, рядом с ним несколько армейских разведчиков. Идем аккуратно, стараемся не шуршать листьями. Спустились с холма, теперь идем оврагом. А где-то совсем рядом ухают разрывы, лопаются в стороне ракет захлебываются яростью пулеметы. Но это в стороне. Там, сгвеле врагов от нас, начал ночной бой стрелковый батальон. Там, в стороне молодые ребята, мои ровесники, кинув на руку тяжелые винтовки, граненым штыком, бегут к вражеским окопам. И это ради нас. Значит мы должны пройти во что бы то ни стало.

Наконец, захлестали ветки по лицу, ударил в нос горьковатый запах осенних листьев. Все мы в тылу. Мы в Брянских лесах.

Я очень хорошо помню первое партизанское утро. Солнце медленно выпрыгнуло из-за верхушек елей. Разломало свои лучи в тумане. Он оседал медленно, неохотно. Цеплялся за кусты, пустился между корней и уползал на дно оврага.

Мы встретились на поляне.

— Товарищи, — голос Медведева холодный и ломкий, — мы в тылу фашистов. Но помните, что мы на своей земле. Советская власть на Брянщине — это мы. Каждый из нас. Вы все добровольцы, все коммунисты и комсомольцы. Я не собираюсь учить вас, как нужно вести себя. Трусость, мародерство и...

Командир хлопнул по кобуре маузера.

— Я думаю, вам все ясно. В путь, товарищи.

Двигаемся осторожно. Впереди и по бокам разведка. Опушки обходим. Нам нужно как можно дальше углубиться во вражеский тыл.

Привал делаем поздно вечером. Выкапываем ямы, в них разводим костры. Греем консервы, кипятим чай. На аппетит никто пожаловаться не может. Едим быстро, жадно. Потом разбиваем палатки, устилаем пол еловыми лапами. Где-то в темноте ходят часовые, где-то в кустах притаились секреты. Они стерегут наш сон. И спим мы тяжело, без сновидений. Спим.

Это случилось на следующий день. Отряд подошел к проселочной дороге. Только решили переходить, как где-то вдалеке комарино запели моторы.

— К бою!

Рассыпались в кустах. А голоса машин все ближе, все басовитее. Лежу, прижавшись щекой к прикладу автомата.

Вот сейчас случится то, о чем я так часто думал.

Чувствую неприятный озноб.

«Неужели испугался? Нет. Видимо, волнуюсь очень».

Еще плотнее прижимаю к плечу автомат. Холодная сталь его возвращает уверенность.

Машины уже совсем рядом. Вот-вот покажутся из-за поворота. В лесной тишине особенно сильно гудят двигатели. Сейчас!

Первым вырывается из-за поворота сверкающий лаком «оппель-капитан». На крыле флажок, на нем двумя молниями буквы «СС». Следом за ним — мотоцикл.

Медведев поднимается и, размахнувшись, бросает гранату.

— Огонь!

Бью короткими очередями.

Взрывом «оппель» отшвырнуло в кювет. По середине дороги горит мотоцикл.

Из-за поворота выскочила крытая машина. Она пытается тормозить, из кузова выскакивают солдаты.

Вот один попал в прорезь моего прицела.

— Та-та-та.

Немец остановился на секунду, словно ударился о что-то грудью. Выронил автомат и рухнул на дорогу.

И снова силуэт в автоматной прорези. Как на стрельбище придерживаю дыхание и плавно давлю на спусковой крючок.

Бьется в руках автомат. Отсчитывает очередями вражеские жизни.

Стрельба затихает. Горят на дороге останки машин. Валяются на земле трупы в серо-зеленых шинелях.

Поднимаюсь из-за укрытия. Бой длился всего несколько минут, но они буквально преобразили окружающий мир. Желтые листья покрываются жирной гарью, нет запаха прелой травы, вместо него сладковато и резко пахнет порохом. Земля медленно впитывает кровь.

Я перешагиваю через кювет, выхожу на дорогу. Широко разбросав руки, словно пытаюсь обнять землю, лежит то, что еще несколько минут назад было человеком. Пилотка упала, рыжеватые свалывшиеся волосы на дорожной пыли, остановившиеся стеклянные глаза. За-

чем же он пришел сюда из своего Мюнхена или Эрфурта? Неужели для того, чтобы умереть на нашей земле? Ведь совсем молодой парень. «Все-таки страшная вещь, война», — подумал я.

Разведчики собирали документы, вынимали карты из офицерских планшето.

Ко мне подошел Творогов, протянул пачку фотографий.

— Смотри, Коля.

Лицо у Саши было какое-то необычное. Всегда веселые, добрые глаза смотрели холодно и зло.

Я взял карточки. Виселицы, виселицы, люди у рта, люди у стены. А рядом — довольные, улыбающиеся офицеры в немецкой форме.

«Нет, страшна не война. Страшен фашизм, породивший ее. Заставивший нас взять автоматы и убивать. Но ведь, если уничтожаешь врага, это же не убийство. Это акт милосердия по отношению к тем, кому она угрожает своим ядовитым жалом. Значит, и убив фашистов ты совершаешь то же самое».

Через пятнадцать минут мы ушли с дороги, оставив на ней горющие машины и трупы врагов. Наш отряд открыл боевой счет.

Мы снова шли сквозь лесную чащу, все глубже и глубже во вражеский тыл.

Начались боевые будни нашего отряда. Немцы узнали о его появлении. Каратели тщательно прочесывали лес.

Сейчас меня часто спрашивают, как мы жили в Брянских лесах.

Неважно жили, прямо скажем. Слякоть, дожди, ненависть. Они были одновременно и нашими союзниками, и нашими врагами. До сих пор я помню мокрые, насквозь пропитанные водой ватники, белье, прилипшее к телу.

Слух о том, что в Брянских лесах появились партизаны, облетел окружающие села. Местные жители смотрели на нас не как на случайный попавший сюда отряд, а как на представителей Советской власти здесь, на Брянщине. В деревнях приветливо встречали наших разведчиков, по мере сил снабжали нас продуктами, теплой одеждой. Ну конечно, выкладывали все, что накопилось на душе против носителей «нового порядка».

Однажды меня вызвал Медведев.

— Николай, возьми двух разведчиков, пойдешь в деревню, туда приехал пьянствовать к куму начальник полиции из Людинов. Помни — это не человек, это предатель, зверь и садист. Вот приговор, написанный нашим трибуналом. Ты должен привести его в исполнение.

О начальнике людиновской полиции я был достаточно наслышан. Слух о его зверствах прокатился по всей Брянщине. Бывший пожарник, отсиживался в лесу, скрываясь от мобилизации, объявив себя чуть ли не сектантом. Но как только в Людинов пришли фашисты, он сразу же предложил свои услуги. На его совести были десятки жизней советских людей.

До деревни километров пять. Расстояние, конечно, пустячное, но идти днем и по сухой дороге. А у нас все пока наоборот. Под ногами чавкает грязь. Сапоги скользят, на них налипли комья глины. Идем, ругаем сквозь зубы погоду, войну, сволочь полицейского.

Часа в два ночи, наконец, добрались до деревни. В крайней хатке у самого леса, жил наш связной — неторопливый, степенный лесник Иван Егорович. Трижды, как условлено, стукнули в окно. Дом ожил, прыснул сквозь щели ставни желтый зайчик света, бухнула дворово со звоном покатилося ведро в сени.

Распахнулась входная дверь. На пороге хозяин.

— Кого, — говорит, — носит?

— Свои, дядя Иван.

— Много здесь своих, а ну подойди-ка ближе.

Подхожу. Слабый свет лампы освещает лицо.

— А! Это ты, кудрявый, усмехнулся старик.— ну, что стоишь, хату выстудишь. Заходи.

Поднимаемся на крыльцо, входим в душноватую темноту дома.

Большая горница, печь в полкомнаты, иконы на стене, деревянный стол, лавки. Хозяин десятый год живет бобылем.

Садимся, кладем рядом с собой автоматы.

— Нужно подождать маленько, ребята,— хозяин лезет за печь, достает мутную бутылку.— давайте, что ли, с дороги...

Наливает четыре стакана. Выпиваем, закусываем огурцом. Самогонка злая, крепкая, по телу сразу же разливается тепло.

— Подождем, пока они напьются. А с часок назад мимо их хаты шел, видно, гуляют еще, песни орут.

Иван Егорович сует нам кисет с самосадам, гасит лампу. Сидим в темноте, ждем. Кажется, что за бревенчатыми стенами остановилось время. Темнота, только красными звездочками вспыхивают цигарки.

Пора. Старик встает, чиркает спичкой, шарит на печке. При тусклом, умирающем свете, замечаю, что он берет топор.

Выходим на улицу. В деревне тишина. Даже собак не слышно, видимо, загнал их дождик по конурам. Стараясь не шуметь, идем по дорожке вдоль плетней.

— Здесь,— шепчет связной,— в этом доме кум его проживает, старостой он у нас теперь.

— Собаки есть?

— Есть один кобель, злющий, но ничего, он меня знает, так что я его тихо...

Чуть слышно скрипнула калитка. Иван Егорович растаял в темноте. А дождь стучит и стучит по крышам, по земле, по голым деревьям. Монотонно и гулко. Зарычала собака, потом чуть завизжала, узнав. И опять тихо.

Зачавкали шаги, подошел Иван Егорович.

— Все, пошли, я его в конуре бочкой прикрыл. Хотел, да пожалел потом, кобель-то не виноват. Пошли.

Подошли к дому. Сквозь щели в ставнях пробивается свет. Ставлюсь на завалинку, заглядываю в щель.

Комната, стол полон бутылок, спиной ко мне человек, уронивший на стол голову. Все, больше ничего не видно.

Осторожно соскакиваю на землю.

— Давай, Иван Егорыч!

Старик поднимается на крыльцо, стучит в дверь. Нет, не слышат. Теперь он со всей силой бьет кулаком по двери.

В сенях завозились.

— Кого там носит? — давится матерщиной хозяин,— ну, кто там еще?

— Я, Семеныч. Иван-лесник, отвори, дело есть.

— Да что за дела по ночам?

— Спешное. Ко мне солдат советский зашел, говорит, из плена бежал.

— Постой, постой, сейчас.

Гремит в сенях щеколда.

Видно, наделал гад засовов. Один из разведчиков стал у самой двери, в его руке тускло поблескивает кинжал.

Дверь распахнулась, удар, и хозяин мягко осел нам на руки. Он свободен. Врываемся в сени, распахиваем дверь. За столом трое. Стегнутые чужие мундиры, пьяные морды.

Один из них потянулся к поясу с кобурой, валявшемуся на стуле.  
— Кто такие? В чем дело? Да, знаете, кто я?..

Так вот он какой, предатель. Остекленевшие глаза, пьяный морщил рот, красная рожа.

— Руки на стол, сволочи!

Полицейские начали медленно трезветь. Наконец-то они поняли, кем им ют дело. Красноречивее всего рассказали им об этом стволы наших автоматов.

Я достаю приговор.

— Именем советского народа...»

Что ползает на коленях? Нет, пощады вам не будет. Никому.

Я вскидываю автомат, вижу его глаза, полные животного ужаса. Вижу разорванный криком рот. Палец сам жмет на спусковой крючок.

В отряд приходим на рассвете. Вхожу в палатку командира, куда взяты у изменника документы, оружие.

— Товарищ командир, приговор приведен в исполнение.

Приближается зима. Ветер становится злым, колючим. Утром лажи подернуты льдом. Все покрыто инеем: палатки, шинели, приклады автоматов. Все-таки очень неприятная штука — зима. Нам в лес придется нелегко. Тем более, что постоянного лагеря мы не имеем. Кочуем с места на место. Это необходимо — за нами по пятам идут карательные отряды. Они уже несколько раз окружали, брошенные нами, стоянки.

Однажды разведчики, вернувшись с очередного задания, принесли в отряд объявление, которое гитлеровцы расклеивали в деревнях.

В нем черным по белому было написано, что партизанский отряд, действовавший на Брянщине, уничтожен карателями.

— Вот видишь, комиссар, — Медведев усмехнулся, — оказывается нас-то уже нет. Похоронили нас господа фашисты. Ну что ж, мы не о себе напомним, Николай. — повернулся он ко мне, — зови командиров.

К Хотимску подошли в сумерках. Город, охваченный трещинами противотанковых рвов, лежал перед нами тихий и темный. Только ветер стучал железом на крышах да иногда слышался отрывистый собачий лай.

Наконец, совсем стемнело. Мы ждали. Раньше нас ушли в город разведчики, они должны перерезать телефонные провода.

Вот и они.

— Вперед, — командует Медведев.

После лесных тропинок непривычно шагать по городским улицам. Кажется, что стук сапог далеко разносится в тишине.

— Скорее, скорее!

Медведев почти бежит, зажав в руке тяжелый маузер.

Еще один поворот, а там городская площадь.

Еще немного...

— Та-та-та-та-та-та-та.

Ударил вдоль улицы пулемет, ему отвечают наши автоматы. Где-то впереди раз, другой, третий рванули гранаты. Это группа охотников ворвалась на площадь с другой стороны.

Лежу, прижавшись к земле, короткими очередями бью по пулеметным вспышкам.

Рядом сухо щелкает маузер Дмитрия Николаевича.

— Николай, давай в обход. Подави огневую точку.

Сбрасываю тяжелый полушубок, остаюсь в одном ватнике. Теперь легко. Автомат на шею, бегу вдоль забора. Нажимаю плечом. Треснули доски, пролезаю во двор. Из будки молча, без лая, бросается большая лохматая дворняжка.

Ну надо же, как не везет. Бью ее сапогом, ломая плетень, вы-  
скакиваю на огороды.

Бегу, словно из кроссе. Все время прибавляю темп.

Вот он, дом. Тот самый здесь пулемет. Осторожно перелезаю че-  
рез плетень, прячусь за сараем. Так и есть. Двери настежь. Слышно,  
как совсем рядом, словно огромная швейная машина, плетет пулемет  
свою смертельную строчку.

Проверяю запалы в гранатах. Нет, лучше всего противотанковая  
Тяжелая, надежная. До дверей несколько метров. Несколько шагов  
Теперь некогда маскироваться. Вперед. Вот и крыльцо. Ступеньки.

Навстречу человек без шинели и каски. Мундир расстегнут, в ру-  
ках параллелум.

Не видно глаз, не видно лица. Только рука и вскинутый пистолет.  
Словно на ринге, ухожу нырком под эту руку. Над головой брызнула  
смертью девятимиллиметровый ствол.

Бью левой в челюсть.

Раз.

Нокаут.

Точно.

Переступаю через него. К дверям. Скорее. Пахнувшая пороховою  
зонью темнота. Широко размахнувшись, бросаю гранату. Дрогнул пол.  
тяжело закрипели стены, горячий воздух на минуту нажал на уши.  
И сразу же тишина.

Поднимаюсь внутрь дома, в темноту, веером из автомата полдис-  
ка. При свете вспышек вижу: пулемет, задравший к небу тупое рыло.  
трое на полу — мертвые.

Взваливаю на плечо «МГ», беру коробку с лентами, вылезаю в  
окно.

— Ура-а-а!!!

Мимо бегут наши.

На площади горит комендатура. Стоят, подняв руки, пленные. Все.  
Хотимск наш.

Собрать документы, повалить телеграфные столбы, расклеить по  
городу листовки — дело получаса.

Уходим в лес. Нас провожает зарево над городом. Горят тюрьма,  
комендатура, полиция. Валяются на снегу трупы предателей и гитле-  
ровцев. Нет, рано нас похоронили, мы еще живы. Мы еще повоюем.

С каждым днем наш отряд доставлял все больше и больше не-  
приятностей оккупантам. Мы взрывали мосты, пускали под откос  
эшелоны, уничтожали на дорогах десятки немецких машин.

Вражеское командование не на шутку было обеспокоено дейст-  
виями нашего отряда. Особенно после того, как нам удалось взорвать  
железнодорожный мост на линии Брянск—Сухиничи. В результате  
образовалась пробка, наша авиация, предупрежденная заранее, в щеп-  
ки разнесла несколько вражеских эшелонов с техникой и живой си-  
лой. Важная стратегическая артерия гитлеровцев была надолго пре-  
рвана. Надо сказать, что мост был построен фундаментально. Бетон-  
ные быки, металлическая арматура. Наши ребята не пожалели дина-  
мита. От моста остались разбитые быки, металлические конструкции  
взрывная волна разбросала в разные стороны.

Эта операция была одной из самых крупных. А вообще мы раз-  
рушали железную дорогу почти ежедневно. Так что хлопот с нами  
у оккупантов хватает.

Но нам приходилось быть очень осторожными. Дело в том, что  
слух о нашем отряде прошел по всей Брянщине и почти ежедневно  
к нам присоединялись бойцы и командиры, бежавшие из плена или

оставшиеся в окружении, летчики со сбитых самолетов и просто местные коммунисты и комсомольцы.

Конечно, вражеская агентура не могла не использовать такой возможности. Несколько раз к нам пытались пробраться агенты СД, но нам удавалось быстро выявить их и обезвредить.

В этом была большая заслуга начальника нашей разведки Саши Творогова. Саша был человек необыкновенной смелости и огромного личного обаяния.

Дело свое молодой чекист знал отлично. Везде у него были свои люди: лесники, железнодорожники, крестьяне, даже в полиции служили несколько человек наших товарищей. Они-то и сообщали, что в городе Шиздра расположился зондерштаб по ликвидации нашего отряда. Именно там готовят фашисты свою агентуру, а потом засылают ее к нам.

В Шиздру мы ворвались ночью. Немцы не ожидали нападения, они были ошеломлены нашей наглостью. В городе квартировался сильный гарнизон. Нас было немного. Но на нашей стороне были внезапность и мужество.

Медведев блестяще продумал операцию. Мы блокировали все огневые точки, все места расположения эсэсовцев. Бой был коротким и яростным. Гранатами, ножами мы уничтожили гарнизон. Специальная группа захвата, в которой находился и я, ворвалась во вражеский штаб. Внезапность сыграла свою роль — мы захватили вражеских разведчиков почти без выстрела.

Ногой распахиваю дверь, врываюсь в комнату. С дивана вскакивает человек, судорожно тянется к кобуре, висящей на стенке стула.

— Руки!..

Неохотно поднимает.

Я подхожу к стулу, вынимаю из кобуры вальтер. Рядом с диваном висит китель с офицерскими погонами и шифром службы безопасности на рукаве. Достая из нагрудного кармана удостоверение

— Вот тебе и на — русский. Да и какой. Князь Львов.

Я сначала глазам своим не поверил. Неужели, действительно, князь Львов? Тот самый. Крупный помещик, председатель Союза Городов, министр Временного правительства, председатель Парижского совещания. Сразу почему-то вспомнился блестящий роман Алексея Толстого «Эмигранты».

Но были и другие русские: эти смахивали на европейцев и селились в дорогих отелях. Правда, их чемоданы были ободраны и даже с клопами, но фамилии звучали внушительно в промышленных, банковских и биржевых кругах.

У них был здесь свой политический центр: Парижское совещание доверенных лиц правителя России (адмирала Колчака) и уполномоченных генерала Деникина для сношения с союзными правительствами. Во главе совещания стоял председатель бывшего Временного правительства князь Львов.

Но насколько я помнил, того звали Георгий Евгеньевич. Этот же — Алексей. Ничего, в отряде разберемся.

В отряде мы, действительно, разобрались. Пленный оказался сыном «знаменитого» отца. Правда, масштабы у него были помельче. Обыкновенный нацистский шпион, офицер гитлеровской разведки. Совсем недавно он вернулся из нашего тыла, куда «ходил» на связь агентурой. В Шиздре он лихорадочно занимался подготовкой террористов, которые должны были быть заброшены в партизанские отряды.

Князь Львов знал много, он был важной фигурой в фашистской разведке, мы, допросив, переправили его через линию фронта.

Для нас наступила самая тяжелая пора — зима. Она усугубляла

еще тем, что мы не имели постоянного лагеря, в котором можно было бы оборудовать землянки, утеплить их, одним словом — обосноваться фундаментально.

Спали мы частенько прямо на снегу, у костров. Жались поближе к огню. Ночью дежурный будит.

— Горишь.

Точно, шинель начинает тлеть. Это сигнал. Переворачиваемся на другой бок и снова спим.

В ту ночь мела пурга. Снег бешено крутился вокруг деревьев, наметал сугробы, закидывал костры. Мы почти не спали. Ночь тянулась удивительно долго. Ближе к рассвету ветер утих. Тишина. Только слышно, как трещат на морозе деревья. Задымились костры. Нани повара начали готовить немудреный завтрак.

Я стоял у заснеженной сосны и слушал лес. Он жил какой-то своей особой, «штатской» жизнью. Казалось, никакой войны нет. Просто есть тишина, синий предрассветный снег, стук дятла и треск коры.

Взрыв гранаты был неожиданным. Он гулко раскатился в предрассветной тишине. И сейчас же ему ответили автоматы зло и сердито.

— Отряд, в ружье! Тревога!

К Медведеву подбежал боец из секрета.

— Товарищ командир! Немцы! Каратели! Окружают!

Мы занимаем оборону. Пока у нас преимущество — немцы должны преодолеть овраг.

— Николай! За мной!

Медведев на ходу расстегивает крышку маузера. Он почти никогда не расстается с этим тяжелым пистолетом. Надо сказать, что владеет он им поистине виртуозно. Сказывается школа гражданской войны.

Увязая в снегу, добираемся до гребня оврага. Падаем за толстые стволы поваленных деревьев. Лежать неудобно, залепляет лицо, скрипит на зубах, словно безвкусное эскимо. Я поудобнее устраиваю свой автомат, вставляю в гранаты запалы.

На этот раз бой будет тяжелым. Но ничего, нам приходилось бывать в переделках и пострашнее.

Дмитрий Николаевич толкает меня в бок. Поднимаю голову. Вот они!

На другой стороне оврага появились черные шинели. Впереди офицер. Он поднимает ракетницу.

Сухо щелкает маузер командира. Эсэсовец катится на дно оврага. И сразу же взметнулся снег, прошитый автоматными очередями. Рассыпавшись цепью, в рост, прижав к животу прыгающие автоматы, идут фашисты. Летит снег, падают срубленные свинцом ветки.

Сзади заговорили наши пулеметы, автоматы, винтовки. Я, плотно прижав приклад в щеке, ловлю на мушку фигурки врагов. Странное ощущение, все время кажется, что я стреляю мимо. Все время в прорези люди в длинных черных шинелях. Но ничего, патронов хватит. Меняю диск.

Наш огонь затихает. отряд постепенно отходит, мы с командиром остались прикрывать.

Внезапно совсем рядом с нами лопнула мина. Потом целый букет. Осколки рубят по деревьям, сбивают кору. Да, немцы за нас взялись серьезно. Голову невозможно поднять.

Я осторожно выглядываю из-за ствола. Немцы совсем рядом, человек семь ползут по снегу. Вскрываю, назло пулям, осколкам, смерти бросаю гранату. Летят в воздух куски черных шинелей. Все семеро ткнулись головами в снег.

А они идут и идут. Ствол автомата накалился. Рукой прикоснуться больно.

— Уходите, Дмитрий Николаевич, я прикрою.

Теперь моя очередь, меня прикрывает командир.

Так перебежками, огрызаясь, уходим в глубь леса. Бежим рядом — я и командир. Вдруг он остановился, охнул и опускается на снег.

— Ранен!

Медведев сидит на снегу, матерясь, перетягивает пробитую пулей ногу.

— Товарищ командир!

Я наклоняюсь к нему.

— Уходи, Коля! Уходи, приказываю! Двоим нам не выбраться. Я их задержу.

Дмитрий Николаевич вытирает снег с маузера.

— Ну, что стоишь? — поворачивает ко мне искаженное болью лицо. — Уходи!

Я молча наклоняюсь. Поднимаю его, забрасываю на спину.

— Или вместе выйдем, или вместе умрем, командир.

Автоматы стегают по деревьям, пули шипят в снегу.

Бегу, проваливаясь по колено, но все же бегу. Сердце стучит. рубашка стала мокрой, пот заливает глаза.

Бегу. Бьют по ногам гранаты, спрятанные в карманах, прыгает на груди автомат.

Дыхание горячее и хриплое. Но была не была. Нужно уйти.

Вот, наконец, под ногами твердый наст. Прибавляю скорость. Еще совсем немного.

Поляна. Тупое рыло пулемета. Немцы. Человек пять

Как же быть?

Опускаю командира на землю.

Медведев молча смотрит на меня.

— Ну что, Коля? Кажется, все?

— Как же быть?

Есть всего один выход. И это могу сделать только я. Только я, потому что я — боксер.

Но ведь это чертовски опасно. Один план из ста.

Я встаю во весь рост. Поднимаю руки и иду. Иду сдаваться немцам.

— Стой, — сзади хриплый, словно чужой, голос Медведева.

Сухо щелкнул курок маузера.

Неужели выстрелит в спину? Тогда все, тогда конец. Иду медленно, все ближе и ближе вражеский взвод. Меня заметили, ко мне бегут.

Вот они совсем рядом. Лопочут что-то по-своему. Один снимает мой автомат.

Офицер улыбается, хлопает по плечу.

— Рус партизан, гут, гут.

Меня подводят к дзоту, офицер и два солдата спускаются вниз, видимо, к рации. Остаются двое. Они спокойны. Стоят совсем близко. Я даже чувствую, как от них тянет перегаром.

Ну, пора. Вот этот ближе. Всю тяжесть тела — в удар. Раз! И сразу же еще. Раз! Двое лежат на снегу. Рву из кармана гранату. Выворачиваю ее вместе с подкладкой, тяжело ухнул взрыв. Осел бревенчатый накат. Упругая взрывная волна зажала уши. Из входа в блиндаж закруился синеватый дымок. Поднимаю упавший на снег автомат, две длинные очереди. Теперь все, путь свободен.

Подбегаю к командиру.

— Молодец, Коля. А я сначала решил —

— Что, Дмитрий Николаевич?

— Да нет, ничего.

Через полчаса мы встретились с нашими разведчиками, они разыскивали нас по лесу. Отряд прорвал кольцо. Ушел буквально из рук смерти. Ночью по радиации мы получили приказ: «Возвращайтесь в Москву».

Линию фронта перешли в районе Сухиничей ночью. Нас погрузили на машинах, отвезли в город на вокзал. Кончился наш четырехмесячный поход.

Мы волновались, ведь скоро Москва. Родные, близкие, дорогие нам люди. Поезд медленно подходит к перрону. Не успел он еще остановиться, как грянула медь оркестра.

— Неужели это нас встречают?

Точно, нас. На глаза навертываются слезы, щиплет нос.

— Здравствуй, столица!

Бегу по знакомым улицам. Прохожие изумленно оглядываются на меня. Еще бы, бежит здоровенный, бородатый, увешанный оружием парень, с красно-зеленой лентой на шапке. Эдакий кинематографический партизан.

Вот и знакомый подъезд. Несколько ступенек вверх—и я обнимаю мать.

Литературная запись Э. ХРУЦКОГО.



Б. РИНЧЕН

# Богиня Тара

С самого утра большой двенадцатистворный гэр Ундур-гегена освещался лишь красноватым пламенем плавильной печи да несколькими светильниками, и, только услышав протяжный кризв на вечернюю молитву, хозяин понял, что пришел к концу еще один день.

Гортанные чистые звуки серебряных труб-бишкур, замирая, уносились ввысь, и как бы следуя за ними, Ундур-геген машинально поднял голову и увидел в круглой отдушине гэра темное холодеющее небо, в котором скорее угадывался, чем виделся, исчезающий багрянец. А может, это было оттого, что уже много-много дней он почти не видит ни зелени земли, ни голубизны небес, а лишь огонь плавильной печи да багровый полумрак гэра, у входа в который стоит знак запрета: никто не должен входить к Ундур-гегену, пока он занят отливкой священных статуй буддийских божеств... Некоторое время он пребывал в неподвижности и, закрыв глаза, ожидал, пока в них пройдет резь, потом глубоко вздохнул и снова взялся за мехи.

Уже давно замолкли последние отзвуки бишкур, утих далекий гомон скота, и снова в войлочный гэр вступила тишина, нарушаемая лишь ритмичными вздохами мехов. Ученик, взятый из послушников, целый день трудился вместе с Ундур-гегеном и теперь устало дремал в сторонке, устроившись на кошке. Вкрадчиво обволакивающий тело покой тишины и полумрака был подобен неподвижной темной воде лесного озера, где в глубине колыхнутся извивающиеся водоросли мыслей. Мыслей запретных, потому что слишком велика была боль, доставляемая ими. Но сейчас странное оцепенение овладело Ундур-гегеном, и ничто не мешало неторопливому безмолвному хороводу воспоминаний. Да и можно ли воспрепятствовать этому, когда даже потускневший треножник тагана, казалось, только и ждет прикосновения той, которая до блеска чистила его каждое утро. Нет, она не была женой и не могла быть ею, потому что буддийская религия предписывает своим служителям безбрачие, а он, Ундур-геген, был верховным священнослужителем всей Северной Монголии. И если святейший синклит высших лам ханжески сокрушаясь по поводу греховной привязанности Его Святейшества, терпел ее

до поры до времени, то только потому, что она была поразительно искусной и деятельной, не уступавшей в мастерстве самому Ундур-гегену.

Сгорбившись и неподвижно уставясь в пламя, Ундур-геген застыл на минуту, стал удивительно похожим на те бронзовые изваяния, множество которых вышло из его рук. Ему не надо было оборачиваться и, напрягая зрение, всматриваться в полумрак, чтобы увидеть украшавшие его рабочий гэр вещи, сработанные ее руками. Они сами друг за другом медленно проплывали перед ним. Вот серебряный, украшенный орнаментами счастия, чайник, над которым тихо поднимаются жемчужные волокна ароматного пара. Рядом с ним сверкает чашечка, на крышке ее чеканные символы четырех сторон света, а посредине ручка из темно-красного коралла, обозначающая великую мировую гору Сумер. Ею же, которая уже никогда не вернется в этот гэр, был сделан и низкий столик из пахучего сандала, его инкрустированную перламутром доску поддерживали четыре резных льва, стоящих на задних лапах. А сколько незабываемых дней и вечеров провели они вместе у плавильной печи, сменяя друг друга и волнуясь, что сплав вдруг получится неудачным.

Это было неслыханно, чтобы женщина преуспела в ваянии—искусстве, подвластном лишь немногим избранным мужчинам, отмеченным печатью благоволения небес. Желтошапочное учение святейшего Дзонхове пришло в Халху—Северную Монголию—в не столь уж давние времена хана Абатая Великого Ловчего, и потому в сознании простодушных пастухов-аратов новые буддийские божества мирно уживались рядом с древними языческими верованиями. Эти араты передавали друг другу, что прекрасная помощница Ундур-гегена—женщина не простая. Когда она готовит свои таинственные сплавы для отливки статуэток новых божеств, у ее плавильни собираются языческие духи-гномы и из всех сил дуют на огонь, стараясь погасить его. Тогда ваятельница начинает сердиться, шепотом говорит пастухи, хватая гномиков пучками, как полевой лук-мангир, и бросает их в плавящийся металл. Духи сгорают с визгом и писком, поднимается запах паленого, а сплав от этого получается совершенно чудесный, и статуэткам, отлитым из него, мог бы позавидовать сам великий ваятель Бишугарма из древних сказаний. Такие рассказы ходили по степи, и встречались порой люди, собственными глазами видевшие, как разгневанная мастерица расправлялась с назойливыми гномами.



Ундур-геген чуть улыбнулся, вспомнив об этом, но тотчас новые картины всплыли в памяти, заставив его на мгновение выпустить из рук мхи.

...После бурных летних гроз, от которых ярчайшей зеленью покрылись блеклые до этого степи и склоны безлесых гор, осень в том году выдалась ясная и умиротворенно тихая. По вечерам западный край неба принимал такой пронзительно раскаленный цвет, что казалось, еще немного—и небо пугает на землю потоками расплавленной бронзы. В такой час Ундур-геген вышел из жаркого нутра рабочего гэра вдохнуть прохлады, посмотреть на бескрайнюю зеленую степь, над которой повис точайший розовый туман вечернего света. Задумавшись, он не услышал, как сзади подошла она, и очнулся лишь когда ее шероховатые пальцы мягко прикоснулись к его щеке. Он поразился неожиданной

печали на ее лице. Она опустила голову и, отвечая его вопрошающему взгляду, тихо сказала:

— Я, наверно... Я скоро должна уйти... Я не могу оставаться больше среди этих бритоголовых монахов. Они меня ненавидят, я это вижу. Для меня такая жизнь хуже

ада, о котором они так любят говорить, словно там их родина. Я понимаю, вы должны идти своим путем, путем, указанным Его Святейшеством Дзонховой. На этом пути с вами будут Будды и милосердные Бодисатвы, но на нем нет места для меня...

Голос ее задрожал и прервался. Она отвернулась, пряча лицо. Молчал и он, не зная и не умея что сказать.

Сторонкой торопливо просеменил монах, смиренно опустив голову и перебирая на ходу четки. Губы его беззвучно шевелились, шепча молитвы. Молитвы ли? А может угрозы?

— Может, действительно прекрасны Степени Пути к Просветлению, мне это трудно постигнуть, но я знаю одно: я люблю вас и именно поэтому я не хочу мешать вам в том, что для вас кажется дороже всего в этом мире.

Что же он ответил ей тогда? Наверное, он все же нашел слова утешения, если она оставалась при нем и дальше. До тех пор, пока... Ундур-геген сжал лицо руками и застонал. Видимо, этот тихий звук заставил ученика очнуться от дремоты. Он подошел и осторожно взялся за мехи. Пламя встрепенулось, по стенам гора быстрее забегали красноватые, все более светлеющие блики, выхватывая на мгновение из темноты застывшие лики уже отлитых божеств.

Ундур-геген тяжело поднялся, подошел к сандаловому столику и, сняв серебряную крышку с чашки, налил себе чай. И даже это было связано с ней. Не она ли научила его по-особому заваривать чай, добавляя в него мускатный орех и специи?..

Сверху потянуло прохладой. Ундур-геген посмотрел в стдушину и увидел, что на ставшем совсем черном небе уже горят яркие звезды, как огни кочевий далеко-далеко в ночной степи. «Уже ночь.— подумал Ундур-геген,— пожалуй, пора начинать огливку». Поднявшись, он подошел к ученику, и тот, привыкший понимать своего учителя без слов, тоже быстро встал, готовый помочь.

Слепящая огненная струя полилась в форму. Учитель и ученик безошибочно чувствовали, что металл пошел хорошо. Оба они сдержанно улыбались. В этот момент были позабыты и усталость, и тревога последних дней. Когда огненная жидкость оказалась в отверстии уже наполненной формы, они замерли и некоторое время следили за тем, как темнеет и покрывается рябью поверхность застывающего металла. Тогда они отошли к столику, и ученик, достав из-за пазухи деревянную чашку, налил чай и начал неторопливо лить.

Ундур-геген взял с сундука бронзовый колокольчик с серебряной ручкой в виде ваджры, символа громовой стрелы, и позвонил. Почти тотчас снаружи послышались торопливые мягкие шаги, и в дверях появился джама, повар, с умывальным тазом и кумганом. Ундур-геген снял рабочий халат и склонился над тазом, а джама осторожно налил ему в сложенные ладони холодную ключевую воду. Она приятно освежила разгоряченное лицо ваятеля. Пока он сидел, отдыхая, у столика, джама ушел и скоро вернулся с миской рисового супа и дымящимся мясом на широком деревянном блюде. Подав ужин, он так же бесшумно удалился.

Ундур-геген ел неохотно и вскоре, подвинув блюдо к ученику, погнулся за чайником. Ученик поспешил налить чай, держа чайник в знак почтения обеими руками.

— Учитель, вы сегодня мало кушаете.

— Я уже сыт, а вот тебе надо поесть,— рассеянно сказал Ундур-геген и, отодвинувшись подальше от света, снова погрузился в воспоминания.

...Он возвращался из поездки по монастырям западных районов Халхи. Было начало лета. Над дорогами серебряными колокольчиками заливались жаворонки, в прохладной вышине неторопливо кружили орлы, высматривая добычу, а пуливые кулавы едва зачуяв людей, стремительно уносились в степь, так что вдаль над невысокой еще травой глаз едва успевал заметить их легкие серые призраки. Еще на половине пути Ундур-геген почувствовал непонятную тревогу. Он горячил коня и, вырвавшись далеко вперед, исчезал из глаз свиты. Сопровождающие вконец измучились, догоняя его.

Лицо встречавшего сановного монаха, выходца из Тибета, поразило Ундур-гегена странным выражением. На темном, как сандаловое дерево, безбородом и безбровом лице отчетливо проступали насмешливое торжество и скорбь одновременно. Но если этот старый притворщик еще умел владеть лицом, то его свита даже и не пыталась скрыть глоридства. Не отвечая на преувеличенно подобострастные поклоны, Ундур-геген про-

шел к ее скромному серому гэру и, откинув ковровый полог, шагнул внутрь. Серый пепел остывшего очага, беспорядочно смятое ложе и раскрытая древняя книга из пале-ных южных стран, написанная на пальмовых листьях и по преданиям принадле-жавшая еще учителю святейшего Дзонхвы, прославленному ученому Страны Снегов Джанчуб-дземо,— все это Ундур-геген увидел в мгновение ока, и этого было достаточ-но, чтобы он понял: случилось непоправимое.

Монахи делали вид, что они не заметили грубого нарушения этикета Ундур-геге-ном, бросившимся, не ответив на приветствия, в жилище женщины, но они всем видом требовали, чтобы остальной ритуал был выполнен неукоснительно. И лишь когда были произнесены все слова приветствий и подан чай, старый тибетец выразил готовность ответить на вопросы Его Святейшества.

— Когда это произошло? — глухо спросил Ундур-геген, не поднимая глаз, чтобы не видеть лиц монахов.

— Три дня назад,— со скорбью в голосе ответил тибетец. — Болезнь ее оказа-лась непосильна для нашего умения... Мы отнесли ее тело в горы, чтобы птицы и зве-ри освободили ее нетленную душу от суетной телесной оболочки.

И тотчас, словно по команде, обрызганные монахи согласно закивали лысыми голо-вами. Ундур-геген почувствовал, что у него медленно холодеет лицо. Он был уверен, что в ее смерти повинны эти коварные хищники с ускользящими, как слизь, взорами, но он знал и то, что допытываться, бесноваться, угрожать так же бесполезно, как сра-жаться во сне: сколько ни поражай противника, он стоит цел и невредим.

— Где она? — сказал он, наконец, поочередно оглядывая всех сидящих. — Я хочу вознести молитвы над местом ее погребения.

Воцарилось тягостное молчание: это было неслыханно и граничило со святотат-ством. Но все же, когда Его Святейшество, встав, решительно направился к выходу, монахи нехотя потянулись за ним: верховный священнослужитель Халхи не должен был ездить без свиты.

Его Святейшество и всегда-то ездил не по сану быстро, но на этот раз он словно обезумел. Из-под копыт его белого храпящего жеребца в лица скачущих следом брыз-гали острые осколки камня. Тучные монахи, ездившие обычно на смирных раскормлен-ных лошадях, на этот раз были вынуждены сесть на горячих степных скакунов. С ис-пуганными от ужаса лицами они неуклюже подпрыгивали в седлах, а когда узкая горная дорога пошла над пропастью, они, бросив поводья, вцепились обеими руками в дуги седел. Для кого-то из них этот путь неминуемо был бы последним, если бы рядом с каждым не скакали монастырские послушники, придерживая за повод их лошадей.

Еще издали Ундур-геген увидел, что звери и птицы ничего не оставили от тела покойной. И лишь подскав ближе, он заметил среди камней и блеклой травы ее правую руку. Высохшая и пожелтевшая, она казалась отлитой из бронзы. Некоторое время он смотрел остановившимся взглядом на эту знакомую руку, которая так ласко-во умела касаться его лица, потом стремительно повернул коня и бросился вниз по каменистой тропе, не дожидаясь, пока на эту площадку поднимутся дрожащие от страха монахи...

А потом в степи родилась молва о том, что обернутая в шелковый платок счастья правая рука покойной мастерицы остается нетленной. Бесхитростные араты, любившие покойную за простой и сердечный нрав, радовались этому. До тех пор, говорили в на-роде, пока лесница ее будет с нами, никогда не переведутся на землях Халхи искус-ные умельцы...

— Учитель,— раздался тихий голос ученика,— идите в северный гэр отдыхать, а я станусь здесь следить, как остывает сплав. — И словно желая опередить отказ, он бы-стро и решительно добавил. — Я буду стараться изо всех сил, чтобы все было хорошо.. Развольте, учитель, чтобы и мое бдение было в вашем труде.

И столько мольбы было в голосе и выражении ученика, что Ундур-геген не мог сказать. Бросив взгляд на кроткие и гневные лица двадцати статуй богини Тары, вая-тель кивнул головой и вышел. Ученик масляным фонарем освещал ему дорогу к север-ному жилому гэру.

В гэре было темно и тихо. Еще уловимый горьковатый аромат курений был раз-лит в теплом сухом воздухе. На столике перед божницей догорала большая серебря-

ная лампада, и ее толстый фитиль с темн-малиновым бутоном скудного пламени напоминал висящий в воздухе цветок лотоса. Это ощущение придавала обширному гэр таинственный и нежилой вид.

Ундур-геген с облегчением опустился на низкое резное ложе, прислушиваясь к шагам ученика за войлочной стеной. Было слышно, как он поставил на землю фонарь, потом по куподу гэра захлопала волосяная веревка, и клапан верхней отдушины вдруг закрыл опальное отверстие. Темнее от этого в тэре не стало, лишь не было теперь видно звезд.

Светильник судорожно мигал и вздрагивал, испуская пляшущие струи копоти. Наконец, бросив прощальный кровавый отблеск на неподвижные лица богов, он тихо покорился темноте.

Ундур-геген закрыл глаза и стал думать о событиях последних дней. Уже отлито двадцать статуэток богини Тары в ее кротких и гневных видах. Осталась еще одна — двадцать первая. Когда модель, по которой должна была готовиться форма для ее отливки, была закончена, ученик ваятеля взглянул на терракотовую статуэтку и замер в удивлении. Это была совсем не та привычная каноническая Тара с ровными полукружиями высоких бровей, резкими чертами иноземного лица и странной глеющей полуулыбкой в уголках губ. И в этот день Ундур-геген положил знак запрета у входа в свой рабочий гэр, преградив доступ всем посторонним.

Ундур-геген старался сейчас объяснить себе, как же получилось, что он осмелился изменить лик божественной Тары. Ведь остальные-то двадцать статуэток получили традиционный облик. Насколько помнится, когда он работал над ними, у него и в мыслях не было изменить классический образ. И вот двадцать первая... Значит ли это, что сердце не ведает того, что творят руки? Всю жизнь, с тех самых пор, когда он ребенком был возведен в высокий сан, Ундур-геген изучал творения индийских и тибетских мудрецов, старался думать и поступать в своей жизни так, как там предписано, и что же? Что дала ему вся эта сложнейшая громада индо-тибетской философии? Был ли он когда-нибудь счастлив по-настоящему? Да, он был счастлив, но дарила ему это счастье та, чья печальная душа нашла свое вечное успокоение на уединенной каменистой площадке под хищный клекот горных орлов. Нет, руки его все-таки работали в полном согласии с сердцем, потому что она все эти годы оставалась с ним. И он, Его Святейшество Ундур-геген, перед всеми богами давший когда-то обет безбрачия, не старался да и не хотел расстаться с ней. Двадцать первая Тара должна была получиться именно такой, быть иной она не могла...

Мыслитель, привыкший выяснять для себя свои поступки и думы, он вдруг успокоился. «Так и должно было случиться, — подумал он, засыпая. — Разве я не могу представлять себе божественную Тару в образе той, которая мне дороже всего?»

Разбудили его шаги ученика. Видимо, он уже давно расхаживал вокруг гэра, с нетерпением ожидая, когда проснется учитель. Ундур-геген, чувствуя внутри себя давно уже забытое чувство радости, принялся торопливо одеваться. После завтрака они вошли в рабочий гэр и с затаенной робостью стали разбирать форму. Наконец, их глазам предстала сияющая статуэтка Тары высотой в полтора локтя. Величавое спокойствие проступало в линиях ее тела. Тонкие пальцы, словно только мгновение назад замершие, были полны жизни. Но самым поразительным было ее лицо. Это была молодая миловидная монголка с мягко очерченными полными губами, на которых остановилась печальная улыбка, с чуть утяжеленными веками и некрупным носом. Ее широкие брови были удивленно приподняты, словно богиня Тара спрашивала: «Неужели подобно возможно на свете?»

Ученик долго стоял рядом со своим учителем, разглядывая эту удивительно земную богиню, потом, не в силах удержаться, поклонился ему в пояс. Ундур-геген, не отрывая глаз от двадцать первой Тары, тихо и медленно сказал:

— Это мое последнее творение.

И Ундур-геген сдержал свое слово. Больше ни одной статуи им не было отлито во всю остальную жизнь.

# Зимнее плавание

Капитан Эрдман был почти не знаком с мисс Рэйд до того, как «Фридрих Вебер» бросил якорь у берегов Гаити. Она поднялась на борт в Плимуте, но к тому времени на судне было уже много пассажиров — французов, бельгийцев и гаитянцев. «Фридрих Вебер» — грузовое судно, совершающее регулярные рейсы из Гамбурга в Картагену на колумбийском берегу с непродолжительными остановками у различных островов Вест-Индии. В Германии судно брало на борт фосфаты и цемент, а на обратном пути загружалось лесом и кофе. Владельцы судна, братья Вебер, иногда меняли его курс, если до пути можно было захватить какой-нибудь стоящий груз. «Фридрих Вебер» иногда брал на борт скот, картофель и вообще все, что давало возможность его владельцам заработать. На нем перевозили также и пассажиров — на верхней и нижней палубе было по шесть кают. Конечно, на особые удобства не стоило рассчитывать, но пища была простой и сытной, а билеты значительно дешевле, чем на пассажирских судах.

Поездка занимала девять недель и стоила мисс Рэйд не более срока пяти фунтов. Она уже предвкушала увидеть не только много интересных исторических мест, но также получить разнообразные сведения, которые обогатят ее интеллект.

Агент пароходной компании предупредил ее, что до того, как судно остановится в Порт-о-Пренсе на Гаити, она вынуждена будет делить каюту с другой пассажиркой. Мисс Рэйд не возражала; она любила общество и, когда стюард сказал ей, что ее компаньонкой будет мадам Болэн, она сразу же подумала, что это прекрасная возможность попрактиковаться во французском. Ее, правда, несколько смутило то, что мадам Болэн оказалась угольно-черной. Однако она сказала себе, что все неожиданные неудобства нужно принимать с должным терпением и уметь приспосабливаться к обстоятельствам. Мисс Рэйд плавала уже не первый раз и хорошо переносила качку. К тому же через пару дней после выхода из Плимута установилась отличная погода. Скоро она познакомилась уже со всеми пассажирами. Мисс Рэйд была весьма общительна и именно поэтому она преуспела в бизнесе: у нее была собственная чайная в известном курортном местечке на западе Англии. Улыбка и доброе слово всегда были приготовлены для каждого посетителя. Зимой она закрывала чайную и последние четыре года путешествовала морем. Ей нравились такие поездки. «Вы встречаете интересных людей и всегда узнаете что-то новое», — говорила она. Хотя пассажиры «Фридриха Вебера» не были людьми высшего общества, как, например, те, с которыми она встречалась во время путешествия на лайнере по Средиземному морю, но она умела находить общий язык с разными людьми — ведь мисс Рэйд не была снобом. И хотя манеры некоторых пассажиров «Фридриха Вебера» за столом шокировали ее, она старалась не обращать внимания на теневые стороны жизни. Мисс Рэйд очень любила читать и была рада, что обнаружила в судовой библиотеке множество романов Филиппа Оппенгейма, Элгара По и Агаты Кристи. Но вокруг было так много людей, с которыми хотелось поговорить, что у нее не было времени читать, и она решила отложить чтение до захода в Порт-Пренс, где сойдет большинство пассажиров.

«В конце концов, — говорила мисс Рэйд, — человеческая природа важнее литературы».

Мисс Рэйд считала себя отличной собеседницей, и ей льстило то, что в течение многих дней, проведенных в море, она ни разу не позволила утихнуть беседе за столом. Она знала, как заставить людей разговаривать и, когда все темы, казалось, уже исчерпаны, она всегда ставляла какое-нибудь замечание, оживляющее почти угасшую беседу. Ее подруга, мисс Прайс, которая пришла проводить ее, когда судно стояло в Плимуте, часто говорила ей:

— Ты знаешь, Венеция, у тебя мужской образ мыслей. Ты никогда не полезешь в карман за словом.

— Думаю, если ты сама всеми интересуешься, то каждый будет интересоваться тобой, — скромно отвечала мисс Рэйд. — Все дается практикой и у меня к тому же есть какая-то способность крепко держать в руках поволья, которую Диккенс называл гениальной.

В действительности настоящее имя мисс Рэйд было Алиса, но оно не нравилось ей, и еще в детстве она выбрала себе поэтическое имя Венеция, которое, как ей казалось, больше соответствовало ее личности.

Мисс Рэйд перезнакомилась со всеми пассажирами и она была огорчена, когда, наконец, судно бросило якорь в Порт-о-Пренсе. «Фридрих Вебер» стоял здесь два дня, в течение которых мисс Рэйд осматривала город и его окрестности. Когда судно отчалило, она осталась единственным пассажиром.

— Надеюсь, вас не смущает, что вы одна среди мужчин, мисс Рэйд? — участливо спросил капитан, когда все собрались за столом.

Она сидела справа от него. Кроме того, здесь были первый помощник, инженер и доктор.

— Я люблю общество, капитан, и думаю, что если леди ведет себя, как леди, то джентльмен всегда останется джентльменом.

— Мы ведь только простые моряки, мисс, и вы не можете ожидать от нас слишком многого.

— Доброе сердце дороже любой, самой драгоценной диадемы, капитан, — ответила мисс Рэйд.

Капитан, низкорослый тучный человек с гладко выбритой головой и красным лицом, носил белый китель и иногда за столом расстегивал его, слегка обнажая волосатую грудь. Мисс Рэйд считала это несколько эксцентричным, но она обладала чувством юмора и была уверена, что уживется в обществе моряков.

Она знала, что мужчины любят больше говорить, чем слушать, и поэтому задавала им множество вопросов, хотя ответы на многие из них ей были известны заранее. После обеда (Mittag Essen, как они называли его) она даже решила прочитать им небольшую лекцию о Гаити: об экономике этой республики и о проблемах, с которыми она сталкивается.

Поздним вечером «Фридрих Вебер» вошел в небольшой порт, где надо было принять на борт триста мешков кофе. Агент компании поднялся на судно, и после завершения всех формальностей капитан предложил ему остаться поужинать, и заказал коктейли. Когда стюард принес их, в дверях салона появилась мисс Рэйд. Ее движения были изящны, но и то же время самоуверенны. Она всегда говорила, что настоящую леди можно узнать по походке. Капитан представил ей агента, и все уселось за стол.

— Что вы сегодня пьете? — спросила мисс Рэйд капитана.

— Коктейль. Вы не попробуете, мисс Рэйд?

— Не возражаю.

Она выпила, и капитан с некоторым сомнением спросил ее, не выпьет ли она еще.

— Еще? Ну что ж, разве только за компанию.

Агент, более светлокожий, чем другие гаитяне, был сыном бывшего посланника Гаити в Германии, много лет прожил в Берлине и неплохо говорил по-немецки. Именно поэтому он получил работу в германской пароходной компании. При упоминании Германии, мисс Рэйд сразу начала рассказывать о своей поездке по Рейну, которую она предприняла несколько лет тому назад. После ужина мисс Рэйд, агент, шкипер, доктор и первый помощник сели за круглый стол и подвинули себе кружки с пивом. Мисс Рэйд решила вытянуть из агента все, что возможно. То, что они грузили кофе, навело ее на мысль, что он, может быть, заинтересуется, как выращивают чай на Цейлоне. Ведь она была на Цейлоне во время одного из своих путешествий и теперь считала себя достаточно осведомленной о жизни этой страны. А тот факт, что его отец был дипломатом, заставил ее предположить, что он заинтересуется жизнью королевской семьи Англии. Когда, наконец, мисс Рэйд поднялась, чтобы «удалиться на покой», так как она никогда не говорила, что идет спать, она подумала про себя:

«Без сомнения, это путешествие даст мне очень много. Ведь быть одной среди

мужчин — уже само по себе знаменательно». Как, наверное, будут смеяться все ее знакомые, когда она расскажет им об этой удивительной поездке. Они скажут, что такие вещи случаются только с Венецией.

«Немцы так музыкальны», — подумала она, улыбувшись про себя, когда услышала, как капитан что-то напевает своим гудящим голосом. У него была странная манера ходить туда и обратно, переваливаясь на своих коротких ногах, напевая мелодии Вагнера на слова своего собственного сочинения. Сейчас это было что-то из «Тангейзера». Мисс Рэйд не знала немецкого и, конечно, не могла догадаться, как абсурдны были слова. Это звучало примерно так:

— О, что за назойливая особа! Я убью ее, если она будет продолжать в том же духе.

Затем он переходил на воинственную песню Зигфрида.

— Что за скука, что за скука, что за скука! Я выброшу ее за борт.

Капитана можно было понять. Мисс Рэйд была, действительно, очень надоедливый человеком. Она говорила ровным монотонным голосом и не было смысла перебивать ее, потому что она все начинала с самого начала. Она страдала какой-то ненасытной болезненной жадностью к любой информации. Стоило только всгавить пустячное замечание, как она засыпала вас градом вопросов. Мисс Рэйд принадлежала к категории мечтательниц и рассказывала о своих мечтах невероятно долго и нудно. Не существовало ни одного предмета или темы, в связи с которыми у нее не было бы готового рассказа или вопроса. Она сыпала банальностями подобно молотку, забивающему гвозди в стену. Молчание присутствующих ее нисколько не смущало. — «Эти бедные люди так далеко от своих домов, от своего очага», — думала она. — И, конечно, накануне Нового года они в плохом настроении». Мисс Рэйд удвоила свои усилия, пытаясь развлечь их. Она хотела внести немного радости в их однообразную жизнь. И это было самое ужасное. Мисс Рэйд была убеждена, что она нравится им так же, как и они ей. Она делала все возможное, чтобы вечера на судне проходили менее однообразно, и наивно полагала, что это ей удастся. Она рассказала, что ее подруга, мисс Прайс, всегда повторяет: «Венеция, никто еще ни минуты не скучал в твоём обществе».

Быть вежливым с пассажирами — обязанность капитана и, как бы ему ни хотелось сказать ей, чтобы она прикусила свой глупый язык, он не мог этого сделать. Но даже, если бы он и мог высказать все, что ему хотелось, он никогда бы не позволил себе оскорбить ее лучшие чувства. Ничто не могло остановить потока ее болтовни, которому нельзя было сопротивляться, как каким-то всемогущим силам природы. Отчаянно в отчаянии капитан и доктор заговорили по-немецки, но мисс Рэйд немедленно остановила их:

— Послушайте, я не хочу, чтобы вы говорили по-немецки! Ведь я ничего не понимаю. Наоборот, вы должны воспользоваться возможностью, которая вам представилась, и практиковаться в английском.

— Мы обсуждаем технические вопросы и вам будет скучно слушать нас, мисс Рэйд, — ответил капитан.

— Мне никогда не скучно! Понимаете, мне нравится узнавать новое. Меня все интересует и вы не знаете, когда информация, которую вы получили, может оказаться полезной.

Доктор сухо улыбнулся.

— Капитан так сказал, потому что немного смущен. В действительности он рассказывал историю, которая не для ушей леди.

— Я могу быть леди, но в то же время сознавать, что моряки не безгрешны. Вы можете не стесняться и рассказывать при мне все, что хотите. Я не буду шокирована. Я бы хотела услышать вашу историю.

Доктор, человек лет шестидесяти, с редкими, чуть тронутыми сединой волосами, и маленькими голубыми глазами, всегда был молчалив и замкнут. И как ни старалась мисс Рэйд втянуть в беседу, было почти невозможно добиться от него и слова. Но мисс Рэйд была не из тех женщин, которые уступают без борьбы и однажды утром, когда она увидела его в шезлонге с книгой в руках, она подвинула стул и села рядом.

— Вам нравится чтение, доктор? — спросила она игриво.

— Да.

— И мне тоже. И я полагаю, что вы, как все немцы, равнодушны к музыке?

— Да, я люблю музыку.

— И я тоже. Как только я увидела вас, я поняла, что вы интеллигентный человек.

Он мельком взглянул на нее и, поджав губы, продолжал читать. Однако мисс Рэйд не смутилась.

— Конечно, читать приятно, но иногда я предпочитаю беседу хорошей книге. А вы?

— Нет.

— Интересно. А вы не скажете мне, почему?

— Я не могу этого объяснить.

— Это странно, не правда ли? Я всегда думаю, что человеческая природа необыкновенна. Понимаете, я очень интересуюсь людьми. Особенно меня интересуют врачи — ведь они так много знают о человеческой природе. Но я тоже могу рассказать вам такие вещи, которые вас удивят. Вы еще больше узнали бы о людях, если бы держали чайную, как я.

Доктор поднялся.

— Я должен попросить у вас извинения, мисс Рэйд. Мне необходимо навестить больного.

«Во всяком случае, — подумала про себя мисс Рэйд, — лед тронулся. Наверное, он слишком стеснительный человек».

Спустя день или два доктор почувствовал себя плохо. У него была какая-то странная болезнь, которая беспокоила его время от времени, но он уже к ней привык и не любил говорить об этом. Во время приступов он хотел только одного — чтобы его оставили в покое. Каюта доктора была маленькой и душной, поэтому он расположился в шезлонге на палубе полулежа с закрытыми глазами. Мисс Рэйд, как обычно, совершала свою получасовую прогулку, от которой она не отказывалась ни утром, ни вечером. Доктор подумал, что если притвориться спящим, она не решится его беспокоить. Однако мисс Рэйд, проходя мимо него, наверное, с полдюжины раз, в конце концов остановилась перед шезлонгом, молча глядя на него. Хотя его глаза и были закрыты, доктор чувствовал на себе ее взгляд.

— Могу я вам чем-нибудь помочь, доктор? — наконец, спросила она.

Он открыл глаза и увидел, что она обеспокоена.

— У вас ужасно больной вид, — произнесла мисс Рэйд сочувственно.

— У меня сильные боли.

— Знаю. Могу ли я вам чем-нибудь помочь?

— Нет. Это само пройдет.

С минуту мисс Рэйд колебалась, затем ушла. Но вскоре она вернулась.

— Вы так неудобно сидите. Я принесла вам мою любимую подушку, с которой всегда путешествую. Позвольте мне положить ее вам под голову.

В этот момент доктор почувствовал себя так плохо, что у него не было сил сопротивляться. Мисс Рэйд осторожно приподняла его голову и подложила под нее подушку. Как ни странно, но доктор почувствовал себя в более удобном положении. Мисс Рэйд провела рукой по его лбу. Рука была прохладная и мягкая.

— Бедный, — заботливо прошептала она. — Я знаю врачей. Они ведь никогда не позаботятся о себе.

Мисс Рэйд ушла и через несколько минут вернулась. Когда доктор увидел, что она появилась снова, у него начались судороги.

— Не волнуйтесь, я не буду беспокоить вас разговорами. Я просто посижу около вас. Мне кажется, это действует успокаивающе, когда человек чувствует, что рядом с ним кто-то есть.

Мисс Рэйд устроилась в шезлонге и достала из сумки неоконченное вязание спицы. Она работала молча и, как ни странно, доктор почувствовал некоторое облегчение. Никто на судне даже не заметил, что он заболел и, может быть, поэтому его чувстве этой надоедливой особы благотворно подействовало на него. Его успокаивало, когда он смотрел на мелькающие спины. Наконец, доктор заснул. Когда он проснулся, мисс Рэйд все еще вязала. Она взглянула на него, слегка улыбнувшись, но ничего не сказала. Боль уже прекратилась, и он почувствовал себя значительно лучше.

Спустившись в салон, доктор нашел там капитана и Ганса Краузе, первого помощника, распивающих пиво.

— Присаживайтесь, доктор,— пригласил его капитан. — Мы держим военный совет. Вы знаете, что завтра праздник Святого Сильвестра?

— Конечно.

Праздник Святого Сильвестра, то есть канун Нового года — это день, который очень много значит для каждого немца, и последние дни вся команда жила в его предвкушении. Для этого случая даже захватили елку из Германии.

— Сегодня за завтраком,— продолжил капитан,— мисс Рэйд была более болтлива, чем обычно. Мы с Гансом решили, что надо что-то делать.

— Сегодня она сидела рядом со мной два часа молча. Наверное, она сожалеет о потерянном времени и постарается наверстать его завтра,— усмехнулся доктор.

— Как плохо быть далеко от дома и семьи,— вздохнул капитан. — Единственная радость, которая нас ожидает, это день Святого Сильвестра. Если с нами будет мисс Рэйд, мы не сможем получить даже это небольшое удовольствие.

— Да, мы не сможем повеселиться, как хотим, если она будет с нами,— вступил в разговор первый помощник. — Как пить дать, она испортит наше веселье.

— А вы думаете избавиться от нее, выбросив ее за борт? — улыбнулся доктор. — Она вовсе не так уже несносна. Единственное, что ей не хватает,— он сделал паузу,— так это любовника.

— В ее возрасте? — удивился Ганс Краузе.

— Именно в ее возрасте. Эта непомерная болтливость, эта страсть к различной информации, бесконечные вопросы, которые она задает, да и все ее поведение — это признак затянувшейся девственности. Отклонение от повседневного ритма жизни успокоит ее взвинченные нервы и затормозит центры, управляющие ее речью. Тогда мы вздохнем спокойно.

Было всегда трудно определить, когда доктор говорит серьезно, а когда шутит. Однако в голубых глазах капитана заиграли веселые огоньки.

— Ну что же, доктор, я всегда верил вашим диагнозам. Лекарство, которое вы предлагаете, стоит попробовать. И так как вы холостяк, то ясно, что эта задача возлагается на вас.

— Извините, капитан, но моя профессиональная обязанность — прописывать лекарства на этом судне, а не лично давать их. К тому же мне шестьдесят.

— Что касается меня, то я человек женатый и имею взрослых детей,— быстро проговорил капитан. — К тому же я старый, обрюзгший и страдаю астмой. Ясно, что я не подготовлен к выполнению этой задачи. Природа предопределила мне роль мужа и отца, а не любовника.

— Да, молодость в этих делах — самое главное,— мрачно заявил доктор.

Капитан образованно ударил кулаком по столу.

— Вы думаете о Гансе?! Вы совершенно правы, Ганс должен это сделать!

Помощник вскочил на ноги.

— Я?!. Никогда!

— Ганс, ведь ты же высокий, красивый, сильный как лев и к тому же молодой. Мы еще три недели будем в море, до того как прибудем в Гамбург. Ты ведь не покинешь в беде своего верного капитана и старого доктора?

— Нет, капитан. Вы просите слишком многого. Я меньше года женат и люблю свою жену. Я едва могу дождаться, когда мы вернемся в Гамбург, и не могу быть неверным ей, особенно с этой мисс Рэйд.

— Мисс Рэйд не так уж плоха,— возразил доктор.

— Некоторые ее могут назвать даже хорошенькой,— поддакнул капитан.

Действительно, если приглядеться к мисс Рэйд более внимательно, она была не так уж некрасива. Конечно, у нее немного вытянутое лицо, но большие карие глаза и густые ресницы скрашивали этот недостаток. Ее темные волосы были коротко подстрижены и немного вились на шее. У нее была гладкая кожа и она была в меру полна. Если бы она сказала вам, что ей сорок, вы вполне бы ей поверили. Единственное, что угнетало вас — это ее невероятная болтливость.

— Что же, я должен в течение трех недель терпеть эту болтливую женщину?!—

взорвался капитан, видя, что его помощник непреклонен. — Должен в течение трех недель отвечать на ее глупые вопросы и выслушивать ее глубокомысленные замечания. Неужели я, старый человек, должен праздновать день Святого Сильвестра, этот единственный веселый вечер, наступление которого предвкусил все это плавание, в компании этой невыносимой девственницы?! И все потому, что никто не хочет проявить не много галантности, немного человеческой доброты, сделать небольшую уступку одиозной женщине. Я готов взорвать корабль!

— Но есть еще радист, — робко предложил Ганс.

Капитан издал радостный крик.

— Ганс! Десять тысяч девственниц Кельна будут молиться на тебя! Стюард! — проревел он, — скажи радисту, что я хочу немедленно видеть его.

Радист вошел в салон и ловко щелкнул каблуками. Все трое молча глядели на него. Тот неловко чувствовал себя и думал, какую же оплошность он мог допустить. Радист был выше среднего роста, с квадратными плечами и узкими бедрами. Казалось, бритва не казалась его загорелого гладкого лица. У него были большие голубые глаза и копна выющихся золотистых волос. От него веяло таким здоровьем, что вы, казалось, чувствовали это на расстоянии.

— Ариан подойдет, — удовлетворенно пробормотал капитан. — Без сомнения. Сколько тебе лет, мой мальчик?

— Двадцать один, герр капитан.

— Женат?

— Нет, герр капитан.

— Помолвлен?

Радист усмехнулся.

— Нет, герр капитан.

— Вы знаете, что у нас на борту пассажир?

— Да, герр капитан.

— Вы знакомы с ней?

— Я здороваюсь с мисс Рэйд, когда встречаю ее на палубе.

Капитан перешел на официальный тон. Его глаза, обычно искрящиеся смехом, стали холодными, а в голосе появились металлические нотки.

— Хотя наше судно грузовое, мы иногда берем на борт пассажиров, и компания всегда поощряет это. У меня есть инструкция делать все возможное, чтобы обеспечить им все удобства и даже комфорт пассажиров. Мисс Рэйд нужен любовник. Мы с доктором пришли к выводу, что именно вы подходите для того, чтобы удовлетворить ее требования.

— Я?

Радист стал пурпурно-красным и захихикал, но быстро пришел в себя, когда увидел устремленные на него строгие взгляды.

— Но она мне годится в матери.

— Сейчас это не имеет никакого значения. Мисс Рэйд — женщина высокой нравственности и знакома с самыми известными семьями в Англии. Если бы она была немкой, то в Германии она была бы, по крайней мере, баронессой. Вы должны ценить, что именно вас выбрали для этой ответственной миссии. Это честь для вас. К тому же ваш английский хромает и это даст вам отличную возможность улучшить его.

— Я подумаю, герр капитан, — нерешительно проговорил радист.

— В нашей жизни редко выпадает случай, когда можно совместить удовольствие с интеллектуальным совершенствованием. Вы должны поздравить себя, что судьба так милостива к вам.

— Разрешите задать один вопрос, герр капитан. Почему вы решили, что мисс Рэйд нужен любовник?

— Оказалось, — невозмутимо продолжал капитан, — что существует старинный английский обычай для незамужних женщин — бросаться в объятия любовника в канун Нового года. Инструкция компании требует, чтобы мы относились к мисс Рэйд так же предупредительно, как если бы она находилась на английском судне. И мы можем быть уверены, что если она останется довольна путешествием, то убедит своих друзей из высшего общества прибегать к услугам только нашей компании.

— Извините, герр капитан, но я не могу этого сделать.

— Это не просьба, а приказ! Вы представитесь мисс Рэйд сегодня же в одиннадцать вечера.

— А что же я должен буду делать, когда войду к ней в каюту?

— Что?! — зарычал капитан. — Что?! Просто ведите себя естественно!

Жестом он отпустил радиста, который утаились, щелкнув каблучками.

— А теперь выйдем еще по кружке вина, — весело предложил капитан.

За ужином мисс Рэйд превзошла саму себя. Она так и сыпала трюизмами. Она бомбардировала всех глупейшими вопросами. Лицо капитана становилось все багровее и багровее, по мере того, как он пытался сдержать свой гнев. Он почувствовал, что не сможет быть с ней больше вежливым, если лекарство доктора не поможет. И однажды выскажет ей все, что думает о ней «Я потеряю работу, — подумал он, — но все же это будет стоящая компенсация».

— На следующее утро все уже сидели за столом, когда вошла мисс Рэйд.

— Завтра день Святого Сильвестра, — интараторила она. — А что мы будем делать сегодня?

Дни были похожи друг на друга, как близнецы, и она отлично знала это. Теперь этот вопрос привел капитана в бешенство. Передернувшись, он наклонился к доктору и что-то сказал ему.

— Нет, только не по-немецки, — капризно заявила мисс Рэйд. — Вы же знаете, что я не люблю этого. И почему, капитан, вы так смотрите на бедного доктора? Наступает рождество, а в это время мир и благополучие приходит ко всем людям. Я так возбуждена предвкушением завтрашнего вечера. А на елке будут свечки?

— Конечно.

— Замечательно. Я всегда думала, что елка без свечей — это не елка. О, со мной приключился такой интересный случай вчера вечером. Я даже не могу его объяснить. Наступила пауза. Все впилась глазами в мисс Рэйд. Сейчас все хотели, чтобы она говорила.

— Да, — продолжала она своим монотонным бесцветным голосом. Я уже собиралась отойти ко сну, когда в дверь моей каюты постучали. «Кто там?» — спросила я. — «Радист», — ответили за дверью. «Что вы хотите?» — спросила я. — «Могу я с вами поговорить?» — продолжал голос за дверью. Я накинула халат и открыла дверь. Передо мной стоял радист. Он спросил: «Извините, мисс Рэйд. Не хотите ли вы послать радиogramму?» Я подумала, что несколько странно просить об этом в такое время, и, обладая чувством юмора, я, конечно, рассмеялась бы ему в лицо. Но мне не хотелось его обидеть и я ответила: «Я вам весьма признательна, но мне не нужно посылать радиogramму». Он был растерян и как будто даже немного смущен. Тогда я добавила: «Все же благодарю вас за внимание. Доброй ночи и приятных сновидений». И затем закрыла дверь.

— Проклятый идиот! — зарычал капитан, не в силах больше сдерживаться.

— Наш радист молод, мисс Рэйд, — вставил доктор. — Наверное, он подумал, что вы хотите послать новогодние поздравления своим друзьям, воспользовавшись удешевленным тарифом.

— О, это меня вовсе не беспокоило. Я даже люблю, когда во время путешествий случаются небольшие приключения. Я от души посмеевалась над этим случаем.

Как только обед закончился, и мисс Рэйд покинула салон, капитан послал за радистом.

— Вы идиот! Что вас заставило просить мисс Рэйд послать радиogramму в такое время?! — кричал капитан, наступая на опешившего радиста.

— Герр капитан, вы сказали мне, чтобы я действовал естественно. Я радист и поэтому подумал, что будет вполне естественно спросить, не хочет ли она послать радиogramму. Я просто не знал, что еще сказать.

— Боже! — простонал капитан. — Когда Зигфрид увидел Брунгильду, лежавшую на скале, он воскликнул: „Das ist kein Mann“<sup>1</sup> (Капитан пропел эти слова и, довольный звуками собственного голоса, повторил их два или три раза, до того, как про-

1 Das ist kein Mann—это не мужчина.

должил). Разве Зигфрид, когда она проснулась, спросил ее, хочет ли она послать радиogramму, чтобы поставить в известность своего папу, что она проснулась и сидит на скале?

— Я должен вам сказать, герр капитан, что Брунгильда была теткой Зигфрида, а мисс Рэйд мне даже не знакома.

— Но Зигфрид же тогда не знал, что она его тетка. Он видел только, что это прекрасная и беззащитная женщина из хорошей семьи и действовал, как должен действовать джентльмен. Вы молоды и красивы, Ариан, и честь Германии в ваших руках!

— Хорошо, герр капитан. Я сделаю все, что в моих силах.

В этот вечер в дверь каюты мисс Рэйд снова постучали.

— Кто там?

— Радист. У меня для вас радиogramма, мисс Рэйд.

— Для меня?

Она была удивлена. Но недавно мисс Рэйд получила радиogramму от своей бывшей соседки по каюте, которая сошла в Порт-о-Пренсе. Та послала ей новогоднее приветствие. «Как добры люди», — подумала мисс Рэйд.

— Я в кровати, — ответила она радисту. — Оставьте радиogramму за дверью.

— Но нужно ответить. Текст в десять слов оплачен.

Тогда это не могло быть новогодним поздравлением, и ее сердце почти прекратило биться. Радиogramма могла означать только одно — ее чайная сгорела до основания. Мисс Рэйд вскочила с кровати.

— Подсуньте ее под дверь, а я напишу ответ и передам вам ее обратно.

Из-под двери появился конверт. У него, действительно, был какой-то зловещий вид. Мисс Рэйд схватила его, надорвала и вынула листок. Слова заплясали у нее перед глазами. Несколько мгновений она не могла найти очки. Вот что там было написано:

«Счастливого Нового года тчк Мир благополучие всем людям тчк вы прекрасны я люблю вас тчк я должен поговорить вами радист».

Мисс Рэйд дважды прочитала эту странную радиogramму. Затем она медленно сняла очки, спрятала их под шарфом и открыла дверь...

Следующий день был кануном Нового года. Стюард украсил салон тропическими растениями, и елка с незажженными свечами стояла посреди стола. Мисс Рэйд пришла позже всех и, когда ей пожелали доброе утро, она просто поклонилась. Ее разглядывали с любопытством. Ела она с аппетитом, но не проронила ни слова. Ее молчание было настолько необычным, что капитан первый не выдержал и заметил:

— Вы сегодня что-то молчаливы, мисс Рэйд?

— Я думаю, — ответила она.

— А вы не расскажете нам, о чем вы думаете? — игриво спросил доктор.

Она взглянула на него холодно, даже как будто с некоторым превосходством.

— Я предпочитаю держать мысли при себе, доктор.

Обед закончился в каком-то священном молчании. Капитан вздохнул с облегчением. Для него это была настоящая еда, еда без болтовни. Когда все вышли из салона, капитан положил руку на плечо доктору.

— С ней что-то случилось, доктор.

— Да, действительно, она совершенно изменилась.

— Как долго это будет продолжаться?

— Будем надеяться на лучшее.

К вечеру мисс Рэйд надела черное платье и приколола к груди искусственную розу. На шее у нее была тонкая нитка жемчуга. Верхний свет почти совсем погасили, а на елке зажгли свечи. Молодые матросы выглядели изяшно в своей белой униформе. Было подано шампанское за счет компании. Все шутили, смеялись и пели песни под граммофон: „Deutschland über alles Alt Heidelberg“ и другие. Голос капитана возвышался над всеми. У мисс Рэйд тоже обнаружилось приятное контральто. Доктор заметил, что глаза мисс Рэйд время от времени останавливаются на радисте, тогда на ее лице появлялось смущенное выражение.

— Симпатичный парень, не правда ли? — спросил доктор.

Мисс Рэйд повернулась и холодно взглянула на доктора.

— Кто?

— Радист. Мне показалось, что вы смотрите на него.

— А где он?

— Он сидит рядом с инженером.

— Ах, конечно, я узнала его. Знате, для меня не имеет значения внешность мужчины. Меня гораздо больше интересует его голова.

— А-а,— протянул доктор.

К концу вечера все стали немного развязны, но мисс Рэйд не потеряла своих безупречных манер и, церемонно поклонившись, прежде чем уйти, торжественно произнесла:

— Я провела восхитительный вечер и никогда не забуду этот Новый год на немецком судне. Все было очень интересно и я узнала много нового.

Она медленно направилась к двери. Казалось, в этот вечер она действительно шла для удовольствия, а не для того, чтобы поддержать компанию.

На следующий день, когда капитан, помощник, доктор и инженер спустились в салон на завтрак, мисс Рэйд была уже там. Каждый из них обнаружил около своего прибора по небольшому свертку, перевязанному розовой лентой, к которой была приколота открытка с надписью: «С Новым годом». Все вопросительно посмотрели на мисс Рэйд.

— Вы были так добры ко мне, и я решила сделать каждому из вас небольшой подарок. В Порт-о-Пренсе не такой уж большой выбор, так что не ожидайте слишком многого.

Для капитана была приготовлена пара трубок, полдюжины шелковых носовых платков для доктора, коробка сигар для помощника и пара галстуков для инженера. После обеда мисс Рэйд удалилась в свою каюту отдохнуть. Все смущенно глядели друг на друга. Помощник рассеянно крутил в руках подаренную ему коробку сигар.

— Мне немного не по себе,— наконец произнес он.

Капитан молча сидел в кресле и, казалось, тоже чувствовал себя неловко.

— Думаю, не стоило так шутить с мисс Рэйд. В конце концов, она добрая душа и к тому же небогата. Эта женщина сама зарабатывает себе на жизнь. Наверное, она истратила не меньше сотни марок на эти подарки. Зря мы сыграли с ней эту шутку.

Доктор пожал плечами.

— Вы хотели, чтобы она замолчала, и я дал вам совет.

— С ней что-то не так,— озабоченно произнес капитан. — Это спокойствие как-то необычно.

Теперь мисс Рэйд уже почти не разговаривала за столом. Казалось, она даже едва прислушивалась к их беседе.

— Не думаете ли вы, доктор, что надо поинтересоваться ее здоровьем,— спросил его капитан.

— Она чувствует себя превосходно. Вы же видите, что у нее волчий аппетит. А если вам нужны подробности, спросите у радиста.

— Вы, наверное, не знаете, доктор, но и человек деликатный.

— Да я и сам не люблю конаться в таких делах,— отмахнулся доктор.

Последние дни путешествия все окружили мисс Рэйд таким вниманием, которым окружают больного, поднявшегося после долгой и опасной болезни. Хотя у нее был отличный аппетит, все пикнули ее новыми новинками. Доктор заказывал вино и настойчиво предлагал ей распить с ним бутылку. Они играли с ней в домино, в шахматы, в бридж. Они развлекали ее беседами. Но, без сомнения, хотя мисс Рэйд вежливо отвечала на их любезности, она держалась как-то замкнуто. Казалось, она относилась к ним с некоторым пренебрежением, и все их усилия развлечь ее были бесплодны. Сама она редко заговаривала с ними. Она читала детективы, а вечерами сидела на палубе, глядя на звезды. Теперь она жила собственной жизнью.

Путешествие приближалось к концу. Наконец, судно подошло к Ла-Маншу и после долгого плавания все увидели туманные берега Англии.

В два часа пополудни, когда бросили якорь в Плимуте, капитан, помощник и доктор пришли попрощаться с мисс Рэйд.

— Итак, мисс Рэйд,— бодро начал капитан. — Нам жаль потерять вас, но я надеюсь, что вы рады вернуться домой.

— Вы были так добры ко мне. Вы все были так добры ко мне, что я даже не знаю, как мне вас отблагодарить. Я была счастлива с вами и никогда не забуду вас.

Ее голос дрожал, она пыталась улыбнуться, но ее губы кривились и слезы текли по щекам. Капитан стал багрово-красным. Он неловко улыбнулся.

— Можно вас поцеловать, мисс Рэйд?

Мисс Рэйд была выше его на полголовы, поэтому она немного наклонилась и капитан чмокнул ее в обе щеки. Затем она повернулась к помощнику и доктору. Они тоже поцеловали ее.

— Что я за старая дура, — всхлипывала она. — Ведь все так чудесно.

Мисс Рэйд приложила к глазам платок и начала медленно спускаться по трапу. Уже на набережной, она обернулась и помахала кому-то на задубе.

— Кому она машет? — спросил капитан доктора.

— Радисту.

Мисс Прайс ждала ее на набережной. Пройдя таможеню и избавившись от тяжелого багажа, подруги отправились на квартиру к мисс Прайс выпить по чашке чая. Поезд, на котором собиралась уехать мисс Рэйд, уходил в пять часов, а до этого мисс Прайс хотелось так много ей сказать.

— Это слишком эгоистично рассказывать только о себе, наконец, — спохватилась мисс Прайс. — Теперь я хочу послушать тебя.

— Боюсь, что у меня не так уж много интересного.

— Не могу в это поверить. Ведь твоя поездка была успешной?

— Безусловно.

— И тебе не было скучно с этими немцами?

— Конечно, они не похожи на англичан, однако ко всему можно привыкнуть. Правда, иногда они выкидывают такие номера, на которые англичане никогда не решатся. Но я думаю, надо принимать вещи такими, как они есть.

— Какие же номера ты имеешь в виду?

Мисс Рэйд спокойно взглянула на свою подругу. Ее слегка вытянутое лицо было невозмутимо, но в глазах появились озорные огоньки.

— Да это, собственно, не так уж важно. Просто странные, неожиданные, но очень милые шутки. Безусловно, это путешествие — хорошая школа для меня.

Перевод с английского А. БЕРГА и В. ОБУХОВА



Раднай ШЕРХУНАЕВ

## Рабочий-гэсэрчин

Как у многих бурятских народных сказителей, у него удивительная память. Он помнит свою родословную до семнадцатого колена.

Сказитель может дать подробную характеристику почти каждому из названных своих далеких предков, будто видел и знал их лично.

Бажей<sup>1</sup> Егорович Жатухаев родился в год зайца (туулай жэлдэ)—1 декабря 1891 года в улусе Хайтаг Тангутского булсовета, Аларского аймака Усть-Ордынского Бурятского национального округа Иркутской области.

Егор Жатухаевич, отец Бажея, хорошо знал улигер «Гэсэр» и все его ветви (главы), представляющие собой по существу самостоятельные поэмы. Знал он также улигеры «Хатуу Хара хаан», «Алтан Сэгсэй мэргэн», «Алтан Гургалдай баатар», много сказок, легенд, преданий, песен. Улигеры рапсод исполнял лением.

Знания народной поэзии Егор Жатухаевич любовно, со старанием передавал своим детям. Члены семьи, особенно в зимнее время, становились активными слушателями улигерши. Неслучайно все его сыновья, братья Бажея,—Антропка (1876—1945), Кирилл (1886—1920), Баади (1893—1960) были певцами-сказителями.

Бажей с десяти лет начал «говорить» улигеры и сказки, запомнив наизусть несколько народных произведений, а впоследствии освоил почти весь репертуар отца. Егор Жатухаевич с радостью и удовлетворением слушал сына, исполняющего перед братьями и ровесниками легенды и сказки. Незаметно он подсказывал и давал советы—как нужно лучше передавать их. Уже в эти годы Бажей знал сказки «Тоонхой хүбүүн», «Хонхинуурхан басаган», «Сээс-

гэлдэй хүбүүн», «Бөөлэн хүбүүн», «Сэнхэг-хэн үбгэн» и другие.

В летнее время в улусе часто проводились нааданы—вечера, где молодежь пела песни, танцевала. Живой, общительный Бажей нередко выступал организатором развлечений и игр. Среди певцов всегда заметно выделялся его приятный сильный баритон.

В 1909 году Бажей женился. В своем хозяйстве он работал от зари до зари. И тем не менее жизнь его не улучшилась. Часто урожай губили заморозки, весной Бажею все равно приходилось идти на поклон к богачам.

Царское правительство ровным счетом ничего не делало, чтобы облегчить тяжелую долю крестьян. Наоборот, царизм старался держать народ в темноте и невежестве, разжигал вражду между народами.

Бажей Егорович во время первой мировой войны, «реквизированный» вместе с братом Кириллом и другими сородичами, приехал в Иркутск, где формировался эшелон для защиты «царя и отечества». Здесь буряты сразу же попали в руки самодуров-солдат и офицеров, усердно «воспитывавших» их в духе «дисциплины и порядка»: за малейшее нарушение строевого устава били нагайками, всячески оскорбляли. Десятого октября 1916 года сыновья эхирягцев, аларцев, боханцев, угинцев, среди которых были братья Жатухаевы, выехали в Архангельск. Их эшелон конвоировали солдаты. «С нами обранились как со скотом,—с горечью вспоминает Бажей Егорович.—Сколько унижений терпели, невозможно передать словами...» Единственное утешение от горестных дум—песни. И скотоводы-араты, собравшись вместе пели свои любимые народные песни.

Через некоторое время поезд прибыл в Архангельск. Отсюда люди направлялись в

<sup>1</sup> В некоторых документах Жатухаева его имя пишется по-русски «Павел».

разные районы. Бажей Егорович жил в теплушке недалеко от Бакарницы, работал грузчиком. Условия труда были тяжелыми, а питание — скудным. Остро давала себя знать чужбина.

Жатухаев пробыл под Архангельском полтора месяца, после чего его в числе срока трех сородичей из Унги и Аларн послали на работу в Ярославль. Направили их на станцию Урочь для работы в вагоно-ремонтных мастерских. Жили они в вагонах. Под охраной вооруженных солдат буряты выполняли самую тяжелую и грязную работу. Рабочий день не был нормированным. Трудились в сутки более четырнадцати-пятнадцати часов. Усталые и обессиленные, они приходили в свои закопченные сажей и дымом вагоны. Когда собирались землянки, Бажей Егорович, несмотря на усталость, исполнял им улгеры. Долг и обязанность сказителя — петь песни и принести радость людям. В эти минуты они забывали тяжелые будни, им казалось, что находятся в родном Прибайкалье. Песни снимали усталость и возвращали аратам силу и уверенность.

Начался 1917 год. Бажей Егорович и его земляки все чаще и чаще слышат разговоры о стачках и забастовках. Добрые русские люди, с которыми успели познакомиться буряты, рассказывали о волнениях, происходивших в Ярославле.

Среди рабочих мастерских был один товарищ, который тайно собирал людей и рассказывал о работе большевистской партии, революционных выступлениях народа, о том, что и в армии неспокойно — целые воинские части на фронте перестают повиноваться начальству, в знак протеста против самодержавия солдаты бросают оружие и уходят домой.

Темные, забытые, задавленные нуждой, араты начали понимать, что самодержавие притесняет не только их, но и всех трудящихся страны — русских, украинцев, белорусов, казахов, якутов и других. Постепенно они убеждались, что такая несправедливость не может существовать, что власть царя долго не продержится, в конце концов народ сметет ее. Среди бурят, работавших в Урочских вагоно-ремонтных мастерских, появилась новая песня, в которой говорилось:

Хадайн шулуун хамхарха болобо,  
Хаян хуули нуларха болобо,  
Удлайн шулуун эмдэрхэ болобо,  
Эжээн хуули убойболохо болобо

Вот подстрочный перевод:

Недалек тот день, когда  
разрушатся горные породы,  
недалек тот день, когда  
царская ослабеет власть,  
недалек тот день, когда  
со склонов повалятся камни,  
недалек тот день, когда  
власть деспота исчезнет.

Бажей Егорович не знает, кто сочинил эту песню, но рассказывает, что она сразу понравилась всем.

В марте 1917 года «реквизированные» вернулись домой, в Унгинскую степь. С радостью встретил Жатухаев весть о победе пролетарской революции.

Советская власть уже шагала по стране. Свои сокровенные думы народ вкладывал в песни, устные рассказы, сказы, пословицы и поговорки. Первое слово благодарности буряты выражали великому учителю пролетариата и всех трудящихся В. И. Ленину. Бажей Егорович вдохновенно пел:

Ара хойшоо урдаһан,  
Ангара уһаяа һайшаанамди.  
Амитап зоноо жаргуулһан  
Ульянов-Ленинэй һайшаанамди!  
Зүүн хойшоо урдаһан,  
Зүлхэ уһаяа һайшаанамди.  
Зон бүхэл һайжаруулһан  
Ленин багшача һайшаанамди!

Перевод:

Текущую на северо-запад,  
Ангару-реку мы прославляем.  
Народ осчастлививший,  
Ульянова-Ленина славим!  
Текущую на северо-восток  
Лену-реку мы славим.  
Весь народ осчастлививший  
учителя Ленина славим!

Создавая новые произведения, импровизируя их, бурятские народные певцы следуют традиции устной поэзии, накопившей огромное богатство и разнообразие художественно-изобразительных средств, поэтических приемов.

Улгершны, народные певцы, используют прежние формы песенно-народного творчества, создавали песни, насыщенные пафосом преобразования. Они выражали мнение народа, чаяния его, потому доступность их произведений играла первостепенную роль. Сочетания старого и нового здесь является закономерным диалектическим процессом развития бурятской народной поэзии первых лет Советской власти. Именно это сочетание делало совершенным устно-народное творчество бурят.

Бажей Егорович Жатухаев, пропагандируя новые песни своего народа, импровизирует их. Характерную особенность можно проследить на примере этой песни:

Хатуу хүхэйн хурсада  
Хадайн шэнэһэн шэнгэрбэ.  
Коммунист хуулини хурсада  
Капитал баяд шэнгэрбэ.  
Булад хүхэйн хурсада  
Боорини модод шэнгэрбэ.  
Большевик хуулини бэрхэдэ  
Буржуй баяд шэнгэрбэ.

Перевод:

Благодаря прочному, острому топору  
лиственницы на горах редуют.  
Благодаря коммунистической власти  
владельцы капитала редуют.

Благодаря стальному острому топору  
на возвышенностях деревья редуют.  
Благодаря большевистской власти  
буржуи, богачи редуют.  
О великом счастье народа, данным Совет-  
ской властью, поется:

Сагаан сэсэг ургажа,  
Хагдархан дэлхэе зохёобо.  
Совет хуули боложо,  
Буряад зони найдуулба.  
Холбоо сэсэг ургажа,  
Хубхархан дэлхэе зохёобо.  
Коммунист хуули боложо,  
Хара зони найдуулба.

Перевод:

Белые выросли цветы —  
украшение поблекшей земли.  
Советская установилась власть —  
счастье бурятского народа.  
Появились хоромы цветов  
украшение степи выгоревшей.  
Коммунистическая власть установилась —  
счастье люди простому.

Новые песни бурят резко отличаются от  
старых не только по содержанию, но и по  
своей мелодии. В дооктябрьскую пору, бы-  
вало, едет арат по степи на двухколесной  
арбе и поет протяжную, полную грусти,  
песню. Широкая распевность, медлитель-  
ность и плавность мелодии, как нельзя луч-  
ше характеризуют картину той унылой, од-  
нообразной, бесконечной степи и тяжелую  
жизнь ее обитателей. Новые же песни со-  
тканы из новых музыкальных и художест-  
венных образов и выражают радость, уве-  
ренность, мелодия исполнения живая, бод-  
рая.

В 1928 году в улусе Хайтк была созда-  
на коммуна «Хубисхал» («Революция»).  
Бажей Егорович вступает в колхоз, при-  
нимает деятельное участие в хозяйственной  
и культурной жизни улуса и аймака.

Колхозная повесть в корне изменила жизнь  
аратов. Об этом лучше всего говорит песня,  
сложенная в то время Бажеем Жатухае-  
вым:

Огторгой тээшэ харахадамни  
Одон мушад ялаганана.  
Улад зондоо харахадамни  
Кольхой байдал найхан лаа.  
Тэнгэри өөдөө харахадамни  
Тэргэд нара ялаганана.  
Түмэн зондоо харахадамни  
Хамтын ажал найхан лаа.

Перевод:

Смотрю я на небо —  
звезды сияют ярко.  
На народ свой смотрю —  
колхозная жизнь хороша.  
Смотрю я на небо —  
полная светит луна.  
На счастливые лица народа смотрю —  
коллективная жизнь хороша.

В песенном репертуаре Жатухаева много  
лирических, хороводных, плясовых, за-  
стольных, свадебных и исторических песен  
бурят.

...В доме Бажей Егоровича собрались  
земляки — почтенные старцы, люди сред-  
них лет и молодежь. Это все любители  
фольклора, певцы, мастера народного крас-  
норечия. Работа на лугах и полях давно  
закончена. Скот обеспечен кормами. Хлеб  
убран. Улусники толкуют об урожае, по-  
годе, охоте. Кто-то заводит речь о том, что  
в старину в это время рассказывали ули-  
геры, сказки. Сидящие говорят о богатстве  
устно-поэтического творчества своего наро-  
да и ни один из них не скажет, что знает  
все улигеры (а их десятки), сказки (их  
сотни), песни (их великое множество).

Яков Саганович Комаров из улуса Куя-  
та, расположенного в трех километрах от  
Хайткы, замечательный певец, поддержи-  
вая разговор, подчеркивает: «Надо еще  
многому в жизни учиться, учиться народ-  
ной мудрости, слушать и записывать луч-  
ших улигершинов». И, подбадриваемый  
сидящими, запевает:

Халюуни хараһе харбажа  
барилтай,  
Хабатай баатарнууды түүхыс  
хэлэжэ гоёогыт.  
Булганы бороһе буудажа  
барилтай,  
Бэрхэ баатарнууды түүхыс  
үльгэрлэжэ оршуулыт.

Перевод:

Выдру черную стрелтя,  
добыть бы,  
сильных баторов историю,  
слагая, украсьте.  
Соболя серого стреляя,  
поймать бы,  
умелых баторов историю  
в улигер сложите.

Это — угтамжа (буквально встречающая  
песня) — песенное обращение одноулусни-  
ков к своему сказителю с просьбой испол-  
нить народное сказание. Угтамжа — вступ-  
ление к улигеру — настраивает на поэтиче-  
ские размышления, вдохновляет.

В старину угтамжа составляла целую це-  
ремонию, предшествовавшую началу ис-  
полнения улигеров, позже — стала забы-  
ваться. Но всегда она выражала собой вни-  
мание и доверие к улигерши. Потому Ба-  
жей Егорович не заставляет слушателей  
долго ждать — начинает улигер «Гэсэр».  
Он знает все девять его ветвей, т. е. цели-  
ком эту грандиозную эпопею. Исполняется  
одна ее часть. В доме тишина. Превосход-  
ный голос пленяет и затрагивает сердца  
слушателей. Былинны мелодии, глубокое  
содержание произведения, красочный его  
язык, наконец, «игра» улигерши — все это  
заставляет глубоко переживать описывае-  
мые события, забыться, отдаться целиком  
поэзии и красоте. Образно и ярко рису-  
ются картины. Произведение передается це-  
лостным, компактным, целеустремленным.  
Оно доставляет слушателям величайшее  
духовное наслаждение, заставляет проник-  
нуться чувством радости, чувством гордо-  
сти за его героическую историю, бесстраш-  
ные подвиги богатырей.

И вот заканчивается улигер. Рапсод рисует победу патора над врагами родной земли. Сидящие уже слышат гром золотого барабана, срывающего народ на великий пир. Мир и благоденствие устанавливаются в юрте арага... Утихает голос рапсода, и в доме, где воздух еще дрожит от звуков его пения, с новой силой раздается живая, бодрая мелодия. Это Орбот Урбагаевич Геленкенов, известный сказитель, земляк и родственник Жатухаева, затягивает песню, как бы завершая и подытоживая весь процесс сегодняшнего исполнения улигера, и его хором поддерживают все слушатели:

Халайн шулуун хамхаржа,  
Хара шорой болобо.  
Хабатай баатарнууд ябадал хуушаржа,  
Улыр онтохон болобо.  
Бооринн шулуун бутаржа,  
Боро шорой болобо.  
Бэрхэ баатарнууд ябадал хуушаржа,  
Улыгэр онтохон болобо.

Перевод:

Камни на горах, отломившись,  
В темную пыль превратились.  
Сильных баторов дела,  
историей став,  
В улигер и сказку превратились.  
Камни на возвышенностях,  
раздробившись,  
Серую пыльную стали.  
Умелых баторов дела —  
история теперь —  
Улигером и сказкой звенят.

Эти слова для нас очень важны. Известно, что некогда собиратели и исследователи бурятского фольклора, опираясь на высказывания шаманов, пытались внушить мысль о том, что будто бурятам знание улигеров дано «свыше». Приведенная песня убедительно показывает, что народ в своем устно-поэтическом творчестве особо подчеркивает реалистический характер происхождения героического эпоса.

Исполнение улигеров пением — большое и сложное искусство. Позже, с годами, Жатухаев меньше обращается к нему, теперь передает улигеры больше речитативом и декламацией, при этом декламирует стихи улигера энергично, с подъемом.

К сожалению, у Бажея Егоровича записано мало произведений устного народного творчества. С. П. Балдаев пишет: «В 1940 году от него А. А. Бальбуров записал первые две главы «Гэсэра», третья глава записана была мною. Вариант Жатухаева представляет собою разновидность «Гэсэра» Унгинской долины, остальные главы не были записаны». Этот вариант, хранящийся в рукописном отделе Бурятского комплексного научно-исследовательского института, использовал Н. Г. Балдано при составлении им сводного текста «Гэсэра»

Наша страна с большим энтузиазмом приступила к выполнению первого пятилетнего плана. Поднимались заводы, фабрики, электростанции, укреплялись колхозы и совхозы. Второго июня 1932 года Совет Труда и Оборона СССР принял решение о строительстве в Улан-Удэ паровозо-вагоноремонтного завода.

В 1932 году Бажей Егорович Жатухаев приезжает в Улан-Удэ и его направляют грузчиком на элеватор. Он с первых дней выполняет и перевыполняет производственные задания. На собраниях коллектива его ставят в пример. Первого мая 1935 года руководство госэлеватора награждает переводчика производства Почетной грамотой.

Через год Бажей Егорович переводится на Улан-Удэнский паровозо-вагоноремонтный завод. Настойчиво и упорно он овладевает специальностью слесаря, изучает технику. Не сразу уластят все понятия, освоить и даже привыкнуть к шуму и грохоту машин. Помогают новичку товарищи — кадровые рабочие, техники, инженеры. И бывший скотовод становится рабочим-машинностроителем.

Жизнь в городе имеет свои особенности. Условия и характер труда сказителя изменились. Он осваивал новое дело, много работал над собой. Тем не менее не забывал улигеры, находит время, чтобы поговорить о народной поэзии с друзьями, знакомыми, товарищами по работе. Старым людям это близко и дорого, а молодым — интересно и занимательно.

Жатухаев — знаток истории бурятских родов и улусов, преданий и легенд. Как свидетельствует С. П. Балдаев, Бажей Егорович хорошо знает мифологию западных бурят: борьбу бабушек Манзан гурмэ твэлай и Маяс хара төвдэй, Эсэгэ Малаана и Хамхир богдо, хан Хюрмаста с Атай Улааном, сыновей хан Хюрмаста с сыновьями Атай Улаана и т. д., а также борьбу втостепенных тэнгэри и их сыновей.

Улигершин активно принимает участие в работе научных совещаний и конференций. В декабре 1959 года он присутствовал на научной конференции по изучению поэтического творчества народов Сибири и Дальнего Востока, состоявшейся в г. Улан-Удэ. Как и другие певцы и сказители ряда сибирских народов, приглашенных на этот представительный форум ученых, Жатухаев выступал на нем с исполнением песен.

Рабочий-улигершин. Слесарь-сказочник. Народный певец — ударник коммунистического труда. Официально — пенсионер. Но песня не выходит на пенсию. Жатухаев по-прежнему служит народу своими песнями и сказаниями. Своим метким, по-народному правдивым словом. Словом с большой буквой.



Африкан БАЛЬБУРОВ

## Художественный перевод— проблема номер один

ИЗ ДОКЛАДА НА ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ СЕКРЕТАРИАТА  
ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР 5 ИЮЛЯ 1967 г. В УЛАН-УДЭ

Писатели Бурятии придают выездному заседанию Секретариата правления Союза писателей РСФСР — второму по счёту в Улан-Удэ — выдающее значение. Мы уверены, что рекомендации этого заседания внесут достойный вклад в решение многих важных вопросов, относящихся к трудной проблеме художественного перевода, в прояснении имеющихся неясностей в переводческой практике, что наша совместная работа окажется в высшей степени плодотворной. Она призвана внести свою лепту в огромное дело взаимного обогащения и сближения культур народов нашей великой процветающей федерации.

Весьма и весьма знаменательно, что настоящий выездной Секретариат работает в преддверии 50-летия Советской власти. Знаменательно и то, что он собрался в столице одной из автономных республик, что в его работе принимают участие виднейшие деятели литературы почти всех республик и автономных областей России.

Обсуждаемая проблема — радостная проблема, порожденная замечательными особенностями нашей социалистической многонациональной культуры, а трудности, о которых мы будем говорить, — это трудности роста, наподобие тех, с какими имеет дело мать, сияющими глазами наблюдающая, как ее дитя неудержимо вырастает из своих одежонок, требуя входить во все новые

и новые затраты. И да простят мне в связи с этим аналогию, несколько вольную: мы надеемся, что наш оргсекретарь СП РСФСР глубокоуважаемый Виктор Николаевич Шишов не будет чрезмерно огорчен приятными затратами на это выездное заседание.

Великое счастье наше заключается в том, что мы являемся гражданами страны, в которой благодаря полувековой титанической и благороднейшей деятельности Коммунистической партии Советского Союза не только полностью и без остатка ликвидированы эксплуататорские классы, но и ликвидирована их страшная идеология разделения людей по национальным признакам, идеология, которая нарочито сеяла вражду между разноплеменными и разноязычными массами пешадно угнетаемых людей в бывших национальных окраинах. В нашей стране уничтожены и никогда не возродимы условия, порождавшие великодержавный шовинизм, буржуазный национализм, сионизм и антисемитизм. Создана поистине благодатная база для все более тесного сближения народов, для все более широкого и эффективного взаимобогащения культур народов. На этой базе мощно развиваются многочисленные национальные литературы. И нынешний форум писателей России — нагляднейшее и убедительнейшее свидетельство того, что неустанная и настойчивая, чрезвычайно последовательная рабо-

та партии и советского государства по интернациональному воспитанию советских людей дала свои великолепные плоды.

Такой расцвет национальных культур был бы совершенно невозможен, если бы не было повседневной, сердечной и исключительно щедрой помощи со стороны великого русского народа, русской интеллигенции. Можно представить себе, какими были бы наши литературы, если бы не благотворная роль русского языка, через чье посредство каждый из нас необъятно раздвинул границы своих духовных интересов, вошел в несказанно прекрасный мир шедевров всего света с их непередаваемыми образам, с их неизмеримой глубиной. Можно себе представить даже это наше собрание, если бы не русский язык. Я абсолютно убежден в том, что мой дорогой друг большой башкирский писатель Назар Наджими относится с самым большим уважением к бурятскому языку, точно так же, как я исполнен почтения к языку башкирскому. Но при всем при этом вряд ли мы с моим другом Назаром Наджими поняли друг друга на этом форуме, если бы не русский язык, ставший для всех нас вторым родным языком.

Знание русского языка давно уже перестало быть выражением только доброй воли национального писателя. Оно стало обязанностью для каждого, кто желает быть на уровне интеллекта своего современника, если он намерен непрерывно обогащать арсенал своих художественных средств за счет непрерывного освоения всего того, что выработала и вырабатывает мировая и русская классика. Существует совершенно объективный и непреложный факт: в нашей стране, где практически осуществлена нерушимая дружба народов, русский язык стал материализованным выражением духа и сути интернационализма.

Этот объективный и непреложный факт свидетельствует: мы должны исходить из того, что проблема художественного перевода с какой бы стороны мы к ней не подошли,— это прежде всего проблема русского языка в национальной литературе.

В прошлом веке в Таджикистане жил большой поэт Ахмад Дониш. По свидетельству таджикских литературоведов он был блестящим знатоком классического наследия корифеев таджикской поэзии, освященной такими именами, как огажанный пророк мятежной пралды Саади, как автор титанического и прекрасного труда «Шах-Наме» Абулькасим Фирдоуси, как ослепительный Омар Хайям, как великий гуманист и правдолюб Абдурахман Джами. Этот перечень без труда можно продолжить до нескольких десятков. Творчество классиков, естественно, создало сильную традицию, которой следовали целые поколения таджикских поэтов. Ахмад Дониш, предшественник не так давно ушедшего нашего современника Садриддина Айни, трижды побывав в Петербурге, задумался о содержании своего и своих тогдашних современников таджикских и узбекских поэтов творчества. Даже не зная русского языка, благодаря толковому переводчику,

он уловил, что вековым традициям восточной поэзии, достигшей изумительного совершенства в свое время, не хватает новых веяний, не хватает социального дыхания новых общественных движений, что либо риторически правоучительные, назидательные, либо слащаво любовные стихи, выраженные в традиционно цветистой форме, ничего не дают людям, ждущим от поэзии выражения актуальных жизненных проблем. Дело в том, что в силу определенных исторических условий во второй половине XIX века страны Среднего и Ближнего Востока оказались вне влияния революционных идей, сотрсаших страны Европы, вне влияния самого передового марксистского мировоззрения. На языке Ахмада Дониша на арабской письменности, невозможно было прочитать то, о чем интуитивно тосковал и к чему тянулся поэт-правдоискатель. Виною этому был средневековый феодальный уклад, почти в неприкосновенности сохранившийся в Средней Азии прошлого века. Восточная философия и естественные науки представляли перед взором Ахмада Дониша застывшими уже много веков назад. Это была подлинная трагедия незаурядного таланта не по собственной воле оказавшегося вне передовых идей своего времени. А ведь это было время безраздельного владычества в России свободолубивой поэзии Пушкина, время гоголевского периода русской литературы, эпоха Герцена и его набожного «Колокола», эпоха Чернышевского и Добролюбова, годы бурь и революционного натиска во всей Европе. Страшно представить участие свободомыслящего и честного Дониша, с невыразимой тоской прислушивающегося к незнакомым, но потрясающе волнующим звукам революционной поэзии, создающего свое бессилие проникнуться духом этой поэзии!

Через два года исполнится восьмидесятилетие со дня рождения и десятилетие со дня смерти классика нашей бурятской литературы Хоца Намсараева. О его творчестве, о недюжинном таланте Хоца Намсараева написано и сказано немало. Я позволю себе выделить одну сторону его многолетней, плодотворной деятельности на ниве бурятской советской литературы.

Хоца Намсараев был большим знатоком родного языка. В отличие от многих нынешних молодых литераторов он в течение всей своей писательской жизни собирал и внимательно изучал фольклор своего народа, занимался серьезными исследованиями диалектов бурятского языка. Я с полным правом могу говорить, что Хоца Намсараев занимался исследованиями диалектов, и мы являлись свидетелями, как он, не выслушивая, не смеясь, жадно вслушиваясь в диалектные слова и речения, записывал их, настойчиво выясняя их семантику. Вот почему поэзия и проза Хоца Намсараева являются пока еще непревзойденными образцами бурятского литературного языка: он не только пользовался готовым словарным фондом, привычными синтаксическими конструкциями, но и систематически вносил свое, намсараевское, в лексику и грамматику бурятского литературного языка. Если а

этому добавить еще и глубинное значение истории и этнографии своего народа, что он представлял собой писателя, чьи произведения являлись эталонами в области достоверности в передаче бурятского быта, обычаев и нравов, то мы легко поймем, какво значение этого крупнейшего художника для нашей литературы.

Значение Хоца Намсараева для всей бурятской культуры могло быть и обязательно было бы гораздо более значительным, если бы он владел в достаточной мере мировой и русской классикой, если бы ему удалось так раздвинуть рамки своей эрудиции, чтобы к его громадному таланту природно одаренного художника прибавился еще и философ, пылливо исследующий глубинные явления социальной жизни бурятского общества намсараевского времени.

Хоца Намсараев прекрасно владел древней письменностью монголоязычных народов — вертикальным письмом, отлично владел он и латиницей, в последствии безукоризненно писал, пользуясь русской графикой. Он был широко эрудирован во всем, что было переведено на монгольский и бурятский языки. В отличие от Ахмада Дониша он знакомился и с образцами русской классики, переведенными на монгольский и бурятский языки. Поскольку он, хоть и слабо, но владел в известной степени русским языком, то ему удавалось самостоятельно сориентироваться в вещах, которые ему были элементарно необходимы для творчества.

Гостивший недавно у нас выдающийся казахский писатель Сабит Муканов рассказывал нам о Джамбуле Джабаеве. По авторитетному свидетельству Сабита Муканова, великий акын, создавая свои песни на темы современности, неутомимо выспрашивал прикрепленных к нему переводчиков обо всем, что хоть в какой-то степени относилось к избранной теме, выспрашивал в мельчайших подробностях, задевая даже вещи, которые могли иметь лишь отдаленное отношение к предмету, его интересующему. И рождалась песня, озаренная светом мудрости Джамбула, мощью его чувств, сохранившихся у акына свежими до самой глубокой старости. А чтобы, если Джамбул имел возможность не выспрашивать, а читать книги и периодику на русском языке?

— Я тоже стал бы акыном, — говорит нам Сабит Муканов, — если бы Советская власть не направила меня учиться, если бы я не овладел русским языком. Не думаю, чтобы мои успехи в песнетворчестве равнялись тому, что выпало на долю Джамбула — они были бы значительно скромнее. Но если бы Джамбул имел такую возможность, он стал бы писателем, куда значительнее, чем все мы, современные казахские литераторы. Это несомненно!

У Хоца Намсараева есть роман «На утренней заре». С этим романом произошло то, что имеет прямое отношение к теме нашего заседания, во имя чего я и решил привлечь имена Ахмада Дониша и Джамбула. Думаю, этот мой экскурс в историю

не покажется таким уж странным: мне далеко до морских волков литературоведения и мне, как юнге в этом деле, надлежит танцевать от печки. Так оно надежнее!

Роман «На утренней заре» явился у Хоца Намсараева переработкой сонно и проницательно написанной повести «Цыремпила». Как известно, перу нашего старика принадлежат отличный сборник рассказов «Так было». Этими рассказами до сих пор зачитываются все, от мала до велика. В этих рассказах читатель черпает столько неповторимых деталей из далекого прошлого бурятского улуса, переданных с исключительным намсараевским юмором.

Оставим в стороне вопрос, насколько был велик выигрыш от переделки небольшого хорошей повести в объемистый роман. Но одно можно утверждать definitely: благодаря великому уменью Намсараева колдовать бурятским словом, благодаря неисчерпаемому запасу жизненных наблюдений, обильно ярких и достоверных деталей роман читается на бурятском языке с неослабеваемым интересом. И естественно, что автору очень хотелось увидеть свое произведение, переведенным на русский язык. Следует сказать, что Хоца Намсараева много и охотно переводили как поэты, его стихи часто печатались на русском языке как у нас в республике, так и в городах Сибири и в центре в переводах иркутянина Анатолия Ольхона и многих московских поэтов-переводчиков. В отношении же прозы Хоца Намсараева невезло. До сих пор остается непереведенной повесть «Цыремпила». Сборник «Так было», опубликованный еще в тридцатые годы переведен лишь в пятидесятые годах Михаилом Степановым. «На утренней заре» взялись переводить прозаики Авдеев и Ференчук. Они бывали в Улан-Уде, подолгу беседовали с автором, старались выяснить все, что не очень хорошо представляли из незнакомо-го им бурятского деревенского быта. Роман мало-помалу переводился и, наконец, он вышел. И что же? Перевод не произвел впечатления. Ни на читателей, ни на автора.

Хоца Намсараев сразу же обратил внимание на то, что роман как-то странно устоял, то есть стал значительно меньше по объему. Многие из друзей писателя, внимательно прочитавшие и имевшие возможность квалифицированно судить об уровне перевода, недоуменно пожимали плечами: вроде как все сохранено, но в общем что-то не то.

Да, именно получилось совсем не то. В переводе не оказалось главного, что отличает прозу Намсараева — это огромное количество деталей, которые, быть может, ничтожны каждый сам по себе, но в совокупности составляют картину, достоверно и мастерски передающую все краски и соки жизни. Этим живет роман на бурятском языке, это оказалось опущенным в ремесленно исполненном подстрочнике — переводчикам достался сухой сюжетный скелет. Поэтому в данном прикорбном случае виноватых не было: прав негодующий автор, не узнавший своего произведения.

кевиновны переводчики, сделавшие все, что от них зависело, и поработавшие над переводом вполне добросовестно. Нельзя сказать и того, кто делал подстрочник, ибо если бы он был способен увидеть важность опущенных им деталей, для него ничего не гонорарных, он был бы человеком талантливым и, вероятно, подстрочными переводами не занимался бы.

Роман был переведен вторично. Опытным переводчиком с русского на бурятский Норполом Очировым был осуществлен новый подстрочный перевод, а писателем Михаилом Степановым выполнен перевод художественный. В этом виде роман был принят хорошо и критикой, и взыскательным читателем.

Какой вывод напрашивается сам по себе из этого, вообще-то говоря, из ряда вон выходящего факта.

Во-первых, времена акынов в национальных советских литературах прошли. То, что наш Хоца Намсараев, один из основоположников бурятской литературы, не был в состоянии авторизовать перевод на русский язык своего произведения—в этом не вина талантливого самородка, а его и всей нашей литературы того времени беда. Я полагаю, вы меня понимаете, что все это говорится при нашем величайшем уважении к памяти нашего дорогого старейшины. Речь идет о том неуклонном процессе, когда вместе с ростом культуры советского народа в корне меняются требования к литературе и литераторам. Пришли и идут в литературу люди высоко образованные, люди высокой культуры. Одним из обязательных признаков писательской культуры, конечно же, является самая непримиримая требовательность к качеству своего произведения. А раз так—еще большая требовательность к переводу своих произведений на русский язык, ибо это—выход на всеобщую, а то и на мировую арену достигшей культуры всего народа, а не только отдельно взятого лица. Беззаботность и всеядность в отношении качества перевода характеризует личность национального писателя не с самой лучшей стороны. Нам кажется, пора начисто отказаться от того, чтобы принимать во внимание чуждые жалобы авторов переводимых произведений, на то, что их не так перевели. Современный писатель из любой национальной республики в состоянии квалифицированно авторизовать перевод, и он несет и должен нести ответственность за жизнь своего произведения на другом языке в полной мере. Может быть больше даже, чем переводчик.

Во-вторых, говоря о нелепости жалоб на плохие переводы со стороны авторов переводимых произведений, мы обязаны навести прежде всего порядок в принципах переводческой практики, выработать и внедрить определенные критерии в оценке качества выполненного перевода, чтобы иметь возможность, где это требуется, решительно стать на сторону автора, а в ином случае столь же решительно оградить законные интересы переводчика. О каких критериях мы ведем речь?

Здесь присутствует всеми нами уважа-

емый Семен Израилевич Липкин. В своем лице он являет собой живую традицию советской переводческой школы, которая исходит в своем отношении к переводимому материалу из чувства очень большого уважения к этому материалу и очень большой ответственности за то, чтобы донести его в плоти и крови до читателя, совершенно незнакомого с жизнью его творцов. Нам известно, что работая над переводом «Шах-Намэ» совместно с Владимиром Державиным, Семен Израилевич изучил язык оригинала. Вот почему колосс восточной поэзии Фирдоуси зазвучал на русском языке столь убедительно и по-родному, что идеальный правитель Маздак, выведенный в поэме, умный и просвещенный возир шаха, оставивший свое сердце открытым народным бедам—этот идеальный правитель мыслится и воспринимается русским читателем, как явление русское, соответствующее русским сказочным традициям, соответствующее вековой менте русских крестьян о справедливом царе, о благородных и умных советниках царя. И заслуга переводчика заключается в том, что при всем этом перед нами произведение, отнюдь не обрусевшее в результате перевода, не утратившее ни одной черты оригинала. Поэтика Фирдоуси, могучая, яркая, блистает перед нами во всем своем колоритном величии.

Нам известно, что Семен Липкин, переводя «Джангар», изучал грамматику и лексику калмыцкого языка, что точно также подошел он к переводу киргизского «Манаса». Читатель нашего журнала в многочисленных письмах выражает благодарность Семену Липкину за те главы, что успели мы напечатать из его нового переводческого подвига—за начало громадной работы по переводу нашего «Гэсэра». Я имею возможность сказать, что и здесь он верен себе: Семен Липкин углубленно изучает бурятский язык.

Липкинская традиция перевода говорит о том, что первым и последним критерием оценки качества перевода является установление того, насколько переводчик сумел войти в жизнь оригинала, насколько он знает то, что породило переводимое явление, то есть насколько он знает народ, с языка которого переводится произведение.

Волею судеб получилось так, что в нашей Бурятии за последние полтора десятилетия происходит процесс, который необходимо привел нас к постановке вопроса о проблеме художественного перевода в том аспекте, в каком он ставится на данном авторитетном заседании. Дело в том, что благодаря большой и неустанной заботе Центрального Комитета партии в развитии культуры народов РСФСР мы получили двуязычный литературно-художественный, общественно-политический журнал «Байкал».

Что значит «двуязычный»? В начале мы не придавали особенного смысла этому словечку, то есть до нас не доходила эта бездна проблем, хлопот и трудностей, которая крылась за этим хорошим словом. Дело понималось так: все, что печатается

на одном языке, должно иметь адекват на другом, одна книжка журнала таким образом, дублирует другую. И вот по прошествии почти полутора десятилетий, а точнее на тринадцатый год издания нашего «Байкала» мы имеем возможность поделиться со всем тем, что выпало на нашу нелегкую долю. Вот некоторые наши выводы:

Идея дуближа, то есть полной идентичности материалов, печатаемых в русской и бурятской книжке, — эта идея оказалась «от лукавого», мы от нее отказались. Вынуждены были отказаться.

Дело в том, что оказывается, мы не учли двух очень простых вещей: того, что одной из важнейших наших задач на бурятском языке является систематическое и последовательное ознакомление бурятского читателя со всем лучшим, что выходит на русском языке. Так, например, мы напечатали «Флаг над сельсоветом» Недогонова в блестящем переводе Гунги Чимитова. А как нам было поступить на русском языке? Печатать поэму вновь, как новое произведение? Не учли и того, что мы обязаны, заботясь о молодых дарованиях, печатать тоже систематически и последовательно, пусть еще и не совсем зрелые стихи и рассказы одаренной молодежи. Мы этим начали заниматься сразу же, с первых номеров. И что же? Мы опять же столкнулись с дуближем: неужели надо переводить на русский все эти еще весьма и весьма далекие от совершенства сочинения юных стихотворцев, молодых прозаиков? К тому же надо добавить еще одно обстоятельство. Мы с удовольствием публикуем в русской книжке журнала новые переводы произведений бурятских писателей. А как быть опять-таки с дуближем? Неужели нам надо печатать в бурятской книжке журнала вновь произведения Хоца Намсараева, тогда как у него вышло уже полное собрание сочинений? Эти вопросы поставили нас в весьма тяжелое положение: или подчиниться духу и букве статута журнала двуязычного, следуя во что бы то ни стало идее дуближа — и растеряя читателей, или проявить творческий подход к делу и отказаться от полного дуближа в интересах читателя. Мы избрали второй путь. И мы благодарны Бурятскому обкому КПСС за то, что в 1956 году нам была оказана решительная и толковая поддержка в этом важном вопросе.

Отказ от полного дуближа вовсе не означал для нас вообще отказа от переводов публикуемых произведений. Все лучшее, что создается на бурятском языке, должно быть переведено на русский, все значительное, что печатается на русском языке, должно быть представлено бурятскому читателю на его родном языке — вот девиз, который выработался у нас в результате довольно большой практики. Этому девизу мы следуем неуклонно.

За последние годы существования нашего молодого журнала мы публиковали сорок четыре романа и повести. Разумеется, не все они равноценны. Были у нас настоящие удачи, печатались порой вещи и по-

средственные. Но мы можем сказать, что подавляющее большинство этих произведений мы дали на двух языках. Три романа Даширабдана Батожабая, объединенные в трилогию «Похищенное счастье», роман Чимита Цыдендамбаева «Вдали от родных степей», роман Константинна Солых «Отчий край», роман Барадня Мунгонова «Хилос наш бурливый», Михаила Степанова «Ночь умирает с рассветом», покойный Жамьяна Балданжабая «Перевал», Исея Калашникова «Последнее отступление», Владимира Корнакова «В горах светает», роман «Поющие стрелы» и роман молодого чингисского прозаика Геннадия Донца «В хребтах Сатанара» — все это переведено с одного языка на другой. К этим произведениям надо добавить большой роман Всеволода Иванова «Мы идем в Индию» и поэмный роман Жамсо Тумунова «Золотой дождь». Из двадцати одного романа мы перевели пятнадцать, из двадцати двух повестей, опубликованных в журнале, нами переведены тринадцать.

В качестве справки могу сказать, что роман Барадня Мунгонова, появление которого наши критики обычно ставят в заслугу журналу, после нашей публикации вышел в издательстве «Советская Россия», а затем полумиллионным тиражом в «Роман-газете». Романы Батожабая, Чимита Цыдендамбаева, Исея Калашникова, Владимира Корнакова, Африкана Бальбутова также вышли в Москве большими тиражами, а «Похищенное счастье» — в Киеве и Риге.

Перевести пятнадцать больших романов, средний объем каждого не меньше восемнадцати аягирских листов, и тринадцать повестей — это, товарищи, работа серьезная. И нам кажется, мы имели основание сделать по результатам этой работы вывод, с которыми и выступаем перед Секретариатом, чтобы поставить некоторые вопросы для практического решения.

Само собой разумеется, особенность нашего журнала, журнала двуязычного, сразу же выливалась перед нами огромную проблему, которую ни обойти, ни объехать было нельзя: где брать переводчиков?

В отношении переводов с русского на бурятский мы особых затруднений не испытывали. В штате редакции журнала у нас в разное время трудились такие опытные переводчики, как покойный ныне Дашин Чериннов, Чериннов, человек завидной эрудиции, который в тридцатых годах перевел Отелло», — это был такой переводчик, что нашел немало огрехов в русском переводе этой бессмертной трагедии, слычая этот перевод с подлинным Шекспиром на английском языке. Этот человек умел переводить, диктуя с листа машинистке. Когда же мы, шокированные подобным методом, проводили самую скрупулезную проверку текста, то нам пришлось изумленно пожимать плечами: перевод, как правило, бывал точен, а со стороны звучания на бурятском — никак нельзя было подумать, что это перевод, что текст не написан сразу на бурятском языке. Со смертью Чериннова, этого удивительного таланта, мы лишились одного из основателей переводче-

ской традиции бурятской литературы, чья работа не находила особенного признания при жизни, ибо она всегда подразывалась сама по себе, потому что все привыкли к его подлинническому труду. К сожалению, часто бывает так: мы лишь потерявши плачем!

В нашей редакции работал отличный переводчик из молодого поколения Норпод Очилов, владевший одинаково безукоризненно как бурятским, так и русским языком. Достаточно сказать, что Норпод Очилов прекрасно справился с переводами произведений Шолохова, а какое это нелегкое дело, вы все представляете. Ныне у нас работают такие писатели, как Гунга Гомбоевич Чимитов, выпускник литературного института имени Горького, чья дипломной работой в пятидесятых годах являлась упомянутая выше поэма Алексея Недогонова «Флаг над сельсоветом». У нас работает отличный стилист на бурятском языке Барадий Мунгонов. Над переводами поэтических произведений трудится такой крупный поэт, как Цэдэн Галсанов. Так что нам определенно повезло в отношении переводчиков с русского на бурятский.

Но как было выходить из положения с переводами с бурятского на русский?

Так же как и в других национальных республиках, у нас раньше была традиционная ориентация на переводчиков из центра. И мы здесь пользуемся случаем, чтобы принести нашу самую глубокую благодарность всем тем, кто нес и несет нелегкий груз поэтических и прозаических переводов с бурятского на русский. Мы приносим сердечную благодарность поэтам Москвы, начиная от Николая Панова и Андрея Глобы, Михаила Светлова и Ярослава Смелякова, Василия Журавлева и Татьяны Стрешневой, кончая нынешней молодой поэтической порослью. Мы благодарим и наших иркутских и читинских друзей: покойных Ивана Ивановича Молчанова-Сибирского и Анатолия Ольхона, давнего члена редколлегии нашего журнала Константина Седмук, поэтов Иннокентия Луговского, Виктора Киселева, Георгия Граубина и других. Их очень много, этих наших искренних и честных друзей, и мне доставляет большую радость передать им с этой высокой трибуны нашу горячую признательность. Земной поклон всем вам, дорогие друзья, и наше от души идущее спасибо!

Если у нас обстоит дело не так уж плохо с переводами поэзии, то с переводами прозы для журнала, выходящего периодически, связанного, как вы сами понимаете, с жесткими сроками выхода в свет, дело обстоит так, что мы испытывали весьма значительные трудности. Мы сразу же убедились в том, что здесь никак не можем ориентироваться только лишь на услуги опытных переводчиков из центра. Во-первых, до Москвы как-никак далековато, да же при современных средствах передвижения. Во-вторых, для перевода прозы все-таки нужны люди, хорошо знающие данный край, со всеми этому краю принадлежащими атрибутами. До перевода «На утренней заре» Хоца Намсараева Авдеев и Ферен-

чук, вероятно, не имели случая видеть хотя бы одного живого бурята. Этот печальный урок не мог не стоять перед нашими глазами, когда мы определяли политику журнала в отношении организации переводов прозы.

Здесь нам сильно помог пример многолетней и успешной работы над переводами произведений бурятских авторов Михаила Степанова. Как я уже говорил выше, к нему обратились за помощью, когда стала очевидной досадная неудача перевода романа Хоца Намсараева «На утренней заре». Согласитесь, товарищи, что положение Михаила Степанова в данном случае было отнюдь не из приятных. И если он смеялся переводить заново этот роман, то здесь имела место не самоуверенность, а нечто совсем другое. Речь идет о том, что этот опытный литератор живет в нашей республике вот уже тридцать лет. Он отлично изучил наш край, исхоженный и изнеможенный им из конца в конец. Он пытливым взглядывался в окружающую его жизнь, самотытную, интересную, накопил огромный запас наблюдений. Вот почему он справился с переводами романов и повестей Чимита Цыдендамбаева, рассказов Хоца Намсараева «Так было» и сборника «Новый дом» того же Чимита Цыдендамбаева. И вот поэтому-то Михаил Степанов взялся за роман «На утренней заре». Взаялся и успешно справился. Пример этой наиполезнейшей деятельности Михаила Степанова натолкнул редакцию журнала на то, чтобы поискать кадры переводчиков прозы вокруг себя, у нас в республике, поискать среди журналистов, прежде всего, среди предстателей этого хорошего племени беспокойных людей, чья профессия уже сама по себе заставляет пристально изучать, взглядываться, искать.

До сих пор у меня в памяти стоит изумленное лицо Никифора Рыбко, первого редактора нашего журнала, когда я, в то время ответственный секретарь редакции, неожиданно предложил ему взяться за перевод первой книги Даширабдана Батожаба «Похищенное счастье».

— Ну, какой из меня переводчик! — смеясь отмахнулся он.

Но отмахнуться мы ему не дали. И что же? Ныне Никифор Рыбко — член Союза писателей СССР, ему принадлежит перевод всей трилогии Батожаба, он автор симпатичной повести «Барабан зовет» и вообще человек с явными перспективами в литературе.

Точно таким же образом редакцией журнала был привлечен к переводу романа Барадия Мунгонова «Хилок наш бурятский» журналист Виктор Сергеев. Проживая в Бурятии с юных лет, он прекрасно изучил республику, хорошо знает быт и нравы народа, его историю. Перевод романа, конечно, не сразу ему удался. Редакция не отступилась от него, когда осунувшийся им первый вариант перевода был что называется разгромлен. Ему действительно активно помогли, а сам переводчик проявил громадное упорство и терпение. На примере работы Виктора Сергеева и

переводом романа Мунгонова, можно сказать: хорошо помогать тому коню, который сам тянет! И вытянул Сергей роман: «Хиллок наш бурливый» пошел бурлить не только по Бурятии, но своим родным берегам, он пошел по всей России, по всему Союзу. Вслед за романом Барзана Мунгонова Виктор Сергеев удачно перевел ряд повестей Цырена Галанова, этого тонкого лирика в прозе. Отличительной чертой работы Виктора Сергеева является то, что он активно помогает автору при переводе. Он хорошо усвоил непреложную истину: нельзя переводить фразу, надо переводить, пользуясь всем арсеналом авторских изобразительных средств, целую картину, целое событие. Нам приятно, что мы не ошиблись в Викторе Сергееве: это мускулистый и умный переводчик, надежный переводчик, на которого можно положиться. Ему очень много дала работа над переводом. И не случайно, что он пришел в литературу с собственным произведением — в третьем номере нашего журнала за этот год закончена публикация романа Виктора Сергеева «Жарский день».

Мы считаем, что этот наш курс, направленный на выращивание собственных кадров переводчиков прозы, будет и впредь приносить хорошие плоды. И мы намерены неуклонно идти этим курсом, пополняя кадры переводчиков все новыми и новыми именами.

Как было сказано, профиль нашего журнала уже сам по себе неотвязно привлекает наше внимание к практике переводческого дела, а раз так, заставляет нас глубже интересоваться вопросами теории перевода. Нам в высшей степени интересно в этом смысле участие в работе издательского выездного Секретариата такого выдающегося переводчика и теоретика перевода, как Николай Михайлович Любимов.

Наша страна многонациональная. И естественно, что в такой стране ежедневно и даже ежечасно происходит огромнейшая работа по переводу с русского на языки народов СССР, а также с этих языков на русский. Когда представишь себе масштабы грандиозные масштабы этой работы, когда задумаешься над всей ее непереносимой важностью, то приходится удивляться тому, что вся эта работа по сути дела предоставлена самотеку. Кадры переводчиков растут сами по себе. Лишь в нынешнем году мы посылаем в институт имени Горького пятерых молодых людей учиться на переводчиков. Если искусство выращивания табака привлекает к себе внимание большого числа ученых в научно-исследовательских институтах, то искусство перевода с языка на другой такого научного центра не имеет. Я курильщик, и с большим уважением отношусь к табак-возам. Но я не могу понять, почему дело взаимного обогащения культур в нашей стране, дело практического воплощения интернационализма — дело перевода должно меньше цениться, чем выращивание табака.

Мы нуждаемся в повышении теоретического уровня наших переводчиков. Как было бы хорошо, если бы мы имели воз-

можность, допустим, в течение пяти лет пропустить через кафедру перевода литературного института имени Горького в порядке стажировки на месяцы-три четверти наших штатных работников, перепроучив их в тесном контакте с переводчиками. Как было бы хорошо, если бы, допустим, институт мировой литературы имени Горького, где в изумительных условиях зреют гениальные труды, если бы этот институт занялся вопросами теории и практики переводческой работы в республиках Советского Союза! Полагаю, что пора поставить вопрос об организации обмена информацией между республиками о том, где и как поставлено дело перевода, где и какие возникают проблемы, где и как думают эти проблемы решать.

В республиках, конечно, растут из года в год кадры таких переводчиков, которые способны переводить непосредственно с языка на язык без помощи подстрочника. Это очень хорошее дело и к этому надо всячески стремиться. Но при всем моем самом нежном отношении к этому отчасти являющемуся, я бы предпочел отнестись осторожно к вопросу о немедленном устранении подстрочников и «подстрочничества», как назвал людей, осуществляющих переводы по подстрочникам, один из участников дискуссии в нашем журнале. На мой взгляд, дело не только в том, что перевод непосредственно с языка на язык пока невозможен из-за отсутствия соответствующим образом подготовленных и одаренных людей. Дело даже не в том, что эти люди должны помимо специальной подготовки иметь еще такую малость, как талант писателя. Я намерен ставить здесь вопрос, возможно, с несколько неожиданной для иных точки зрения.

Пусть будут переводчики двуязычные и пусть их будет побольше. Дело подготовки таких кадров — дело государственной важности и надо всеми силами содействовать их подбору и воспитанию. Но я полагаю, что даже при самом большом множестве таких кадров, даже если среди подобных переводчиков возникнет угроза безработицы, нам нужно будет продолжать привлекать к переводу произведений опытных русских писателей, привлекать их к переводу по подстрочникам. Почему? Потому, что переведенное на русский язык произведение, оставшееся произведением бурлата Чимита Цыдендамбаева, входит как составная часть в русскую литературу, становится достоянием русского читателя, и законы русского литературного языка, законы стили в этом языке совершенно обязательны для данного произведения. Эффенди Капиных и Чингис Айтматовых — единицы, и это счастливые единицы, которым фантастически повезло: они не только двуязычные писатели, но они еще и талантливы на двух языках. Быть талантливым на ином языке, подобно Рабиндранату Тагору, который мог писать свои романы на английском, а песни на бенгали, — это счастливая редкость, товарищи! Вот почему мне кажется, что мы слишком торопимся, с

одной стороны, когда начинаем предавать анафеме переводы по подстрочникам, награждая подзагыльниками даже ни в чем неповинных авторов подстрочных переводов, а с другой стороны мы допускаем при этом принципиальную ошибку, объясняемую недостаточной теоретической разработанностью этого вопроса.

По нашему глубокому убеждению надо обратить самое пристальное внимание на этого пасынка литературы — на подстрочники. Поскольку ему суждено жить многие лета даже в прозе, а в поэзии вообще он вечен, постольку он заслуживает, чтобы мы его усыновили по-настоящему. Нельзя допускать, чтобы к подстрочному переводу привлекались кто попало. Наш Чинит Цыдендамбаев делает подстрочники сам. И правильно поступает! Мы имеем такой факт, когда подстрочный перевод романа Жамсо Тумунова был осуществлен географом. Я очень ценю и уважаю этого географа, хорошего специалиста в своем деле. Но при всем желании я в нем не вижу таланта писателя, а подстрочный перевод должен делать только писатель. И вот почему. Неудача перевода «Золото дождя» получилась потому главным образом, что в распоряжение Иннокентия Луговского предоставили подстрочник, в котором были убраны все так называемые «мелкие детали», то есть вещицы, которые переводчику — не писателю ни о чем не

говорили. Если бы этот автор умел бы ценить эти «мелкие детали» и видеть в них нечто большее, то он был бы уже не географ, а настоящий писатель.

Проведенная в нашем журнале дискуссия была полезной. Редакция журнала, организуя эту дискуссию, исходила из принципа: надо предоставить полную возможность ее участникам высказаться без каких-либо ограничений. Дискуссия только тогда может оказаться полезной, если на нее не оказывается давление. Поэтому, естественно, что редакция имеет свое отношение к каждому опубликованному выступлению участников дискуссии. Так, например, придавая важное значение многим положениям, высказанным Сергеем Чатдуровым, мы не имеем возможности поддержать его упреки относительно совершенно справедливых высказываний литературоведа Андрея Белоусова. Мы не согласны с теми, кто начисто отвергает саму мысль о возможности перевода на подстрочниках.

Проблема художественного перевода — это живая проблема, вытекающая из особенностей нашей живой действительности. Нельзя думать, что дискуссией в нашем журнале эта проблема исчерпана. Редакция намерена и впредь публиковать работы, посвященные тем или иным сторонам этой большой и архиважной проблемы.



Техн. редактор И. Нечаев.

Корректор З. Александрова

Формат бумаги 70×108, п. л. 10 (13,7). Н-00040. Подписано к печати 15/IX-67 г.  
Тираж 11441 экз. + 1 вкладыш. Заказ 1768.

Адрес редакции: Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 20, Тел. 28-82, 26-91, 23-35.  
Типография Управления по печати при Совете Министров БурАССР





На первой-четвертой страницах обложки мы публикуем репродукцию с картины улан-удэнца Геннадия Купцова «Год двадцатый», которая была представлена на зональной выставке «Советский Дальний Восток». Вот что пишет о ней московский искусствовед Ольга Воронова:

«Художники вновь и вновь возвращаются к теме Великой Отечественной войны и Октябрьской революции. То не просто история. То годы, сформировавшие наше время, нас самих... Огромной страстью, стремлением понять настоящее через прошедшее исполнена картина молодого художника Г. Купцова (Улан-Удэ) «Год двадцатый». Грохочет несется поезд с теплушками — символ грозного, трудного времени. И в ряд, прямо перед зрителем с четкостью и убедительностью плаката — бойцы-красногвардейцы. Серые шинели, развевающиеся кулаки, сжимающие их, глаза, выразительно выглядывающие из-под козырьков буденовок. Решительные, властные — и добрые, человеческие, потому что ради доброго дела взялись за оружие эти вчерашние крестьяне и рабочие, олицетворяющие революцию. Они как бы вырастают из ритма винтовок и штыков — лавина, которую нельзя удержать ничем. И рождается ощущение, своеобразия картины, как сплава непосредственности и выразительной обдуманности художественного строя произведения».

Не случайно картина Геннадия Купцова получила «высокую» оценку жюри и послана в Москву на юбилейную выставку «Советская Россия». Мы горячо поздравляем нашего молодого художника с большим успехом.

На второй странице обложки — линогравюра Сергея Бобылева «Подружки»; на третьей — репродукция картины Льва Лабока «Дорога».